

# АРТИКЛЫ

Израильский литературный журнал

# АРТИКЛЪ



## № 10

Общественный фонд культурных связей  
“Израиль - Россия”

Тель-Авив  
2019

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

София Синицкая. Остап.....	3
Рина Гонсалес Гальего. Когда отнимут все остальное.....	31
Лариса Ратич. Между прошлым и прошлым.....	39
Давид Маркиш. Я и Савик Шустер.....	61
Мордехай Файнберштейн. Маяк, которого не было.....	81
Денис Соболев. Пробуждение.....	94
Яков Шехтер. По направлению взгляда.....	131

### ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Узи Вайль. Человек, который перенес Стену плача (перевод Александра Крюкова).....	165
--	-----

### ПОЭЗИЯ

Лия Киргетова. Стук падающей юлы.....	179
Екатерина Полянская. В закоморочке сердца.....	184
Ирина Маулер. Не время стихов.....	190
Наталия Елизарова. Прогулка в средней полосе.....	196
Татьяна Литвинова. Печаль-утеха.....	199
Галина Ицкович. В чужом доме.....	202
Елена Тверская. В Парке Дружбы на Речном вокзале.....	205
Григорий Марговский. Видение.....	208
Валентина Бендерская. Масада.....	210
Леонид Колганов. Царица и плющ.....	216
Игорь Губерман. Иерусалимский дневник.....	226
Илья Корман. Мои стихи.....	240
Владимир Рудерман. Стихи.....	241

### НОН-ФИКШН

Анна Файн. О русском языке.....	247
Александр Мелихов. “Тут у тебя – литература!”.....	251
Ольга Ксендзюк. Итальянские рефлексии Иосифа Бродского.....	258
Елена Гершанова. Говорящие статуи Рима.....	269
Эдуард Бормашенко. Музыка на шпильках.....	274
Виктор Бен-Ари. Записки тюремного эскулапа.....	283
Роза Ляст. Наставления по соисканию консулата.....	318

### ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман. Неуловимая реальность.....	321
Михаил Юдсон. Получение лучей.....	326

### СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская. О песнях Александра Дова.....	329
--	-----

*На первой странице* – Ирина Маулер получает приз на выставке картин в Барселоне. *На стр. 133* – картина Александра Канчика “Стригущие козла”.

# ПРОЗА

**София Синицкая**

## **ОСТАП**

*Моему крестнику Джозефу Праеру  
и блистательной памяти Остапа*

### 1

Остап родился и прожил всю свою жизнь на окраине поселка Кулотино. Его дом стоял неподалеку от развалин стекольного завода, который принадлежал до революции промышленнику Воронину. Остап был известной и уважаемой личностью. Все, кого судьба сводила с Остапом, восхищались его умом, красотой и невероятной физической силой. По поселку ходили легенды о его мужестве, бесстрашии и благородстве. Величественный облик Остапа надолго оставался в памяти. Высокий лоб, пронзительный взгляд, длинная борода делали его похожим на ветхозаветного патриарха. Если бы в Кулотино провозгласили монархию, то царем, несомненно, выбрали бы Остапа.

Остап стоял во главе большого семейства. Родня была за ним как за каменной стеной: все знали, что по первому зову он придет на помощь, – наведет порядок, сокрушит любого врага. Когда незаметно подкралась к Остапу старость – злая ведьма с букетом болезней, он изменился: стал раздражительным, нетерпимым, недобрый. Он не выносил, когда ему перечили и чуть что – бросался в драку. Остап не хотел смотреть правде в глаза, не хотел признать себя немощным старцем, которому пора убраться на покой и не командовать в большой семье, где взрослые сыновья давно желают жить своим умом.

Однажды у Остапа разболелся бок – он вздулся и причинял ему сильную боль, увеличивая злобу на весь свет. Старик не хотел, чтобы его лечили, не хотел, чтобы видели, как он унижен недомоганием. Ранним утром, после бессонной ночи он тихо вышел из дома, дав себе клятву больше туда не возвращаться.

Был июнь, солнце поднималось над Кулотино, обливая потоками золота руины красного кирпича. Некоторые строения стекольного завода еще не рухнули. На фасаде главного здания с полукруглыми окнами были видны фрагменты орнамента, похожего на масонские знаки. Остап задумчиво смотрел на чугунный балкончик, с которого заводские начальники, а порой и сам Воронин обращались к рабочему люду. Старик осторожно пробрался внутрь здания и лег под оконным проемом на каменный пол, согретый солнцем. Так он стал бомжом.

Остапа искали, Остапа нашли и просили, умоляли вернуться домой. Но он – ни в какую. Тогда его оставили в покое, дав ему волю бродяжничать сколько душе угодно, надеясь, что с первыми осенними холодами он все-таки придет обратно.

После недели голодания Остапов бок опал и уже не так болел, как раньше. Старик выбрался из своего романтического убежища и первым делом направился к ларьку, в котором торговала его знакомая, Нина. Нина ахнула, увидев Остапа, – до того он плохо выглядел, и дала ему буханку хлеба. Не испытывая к Нине ни малейшего чувства благодарности, Остап грозно качнул башкой и медленно двинулся дальше, злобно глядя по сторонам. С тех пор он каждый день приходил к ларьку и требовал у Нины хлеба, а подкрепившись, шел бродить по кулотинским улицам, задирая прохожих и ввязываясь в драки с незнакомцами.

Больше всего Остапа раздражали автомобили и те, кто в них ездил. Причем на грязные «Жигули» он почти не обращал внимания, а вот при виде чистой дорогой машинки приходил в настоящее бешенство. Старик бил и царапал автомобили, пугая мирных кулотинцев. Он вел себя так агрессивно, что один владелец «Мерседеса», загнанный Остапом на высокую поленницу, пригрозил застрелить безумца, если его не уберут с улиц. Милиции с трудом удалось отогнать Остапа, который, войдя в раж, начал кидаться и на людей в форме. Кулотинская обще-

ственность решила, что настало время отправить бедного старика «куда надо», он же, осознав, что зашел слишком далеко, спрятался на стеклозаводе и некоторое время на людях не появлялся. А потом снова вышел на пыльные щербатые улицы Кулотино – но дружелюбный, умиротворенный. Его решили оставить в покое, и все в поселке было тихо и спокойно до тех пор, пока в гости к Анне Ивановне не приехали петербургские интеллигенты.

## 2

Свой красно-кирпичный замок промышленник Воронин строил в готическом стиле – с восьмигранной башней, витыми лестницами и множеством извилистых коридоров. В нем были большие залы и потайные комнаты. Вокруг замка раскинулся чудесный парк, по его липовым аллеям бегали дети в матросках и гуляли дамы в шляпах, а в заводях тихо плавали лебеди и распускались синие ирисы. С трех сторон парк окружали журчащие воды Перетны. За сотню лет бесхозного существования Воронинский парк превратился в заросшую лесную чащу, а загаженная, запруженная речка разлилась гнилым болотом. Замок же сохранился, потому что после революции в нем разместили больницу, которая, просуществовав десятилетия, уступила место богадельне, устроенной одним сердобольным батюшкой на собственные средства. Потом богадельню перевели в монастырь, а в поместье расположился краеведческий музей, директором которого стала замечательная женщина по имени Анна Ивановна.

Анна Ивановна приехала в Кулотино из Петербурга, своего родного города. Она училась в университете – занималась устным народным творчеством. Однажды летом, во время экспедиции по новгородским деревням, она встретила Сережу – кулотинского парня, который прочесывал с металлоискателем лес, обочины дорог и заброшенные избы. Он подарил ей старинные ржавые коньки, а она прочитала ему несколько местных заговоров от пьянства. Это была любовь с первого взгляда. Анна Ивановна, закончив учиться, вышла замуж за Сережу и поехала жить в Кулотино.

Анну Ивановну позвали работать в краеведческий музей. Она согласилась, и тогда Сережа нанялся туда сторожем и завхозом, как он говорил, «дворецким». Ребята поселились в бывшем кухонном флигеле замка, который соединялся с главным зданием красивыми коваными воротами. Окна выходили в сад, где росли старые яблони, жасмин, сирень и шиповник. Они покрасили стены белым, соскоблили несколько слоев больничной масляной краски со старых дверей. На подоконниках стояли цветы, в шкафах – книги, на столе шумел электрический чайник. Это было самое уютное гнездышко на свете. Вскоре у них родился Петя. Петино детство было очень счастливым. Его родители всегда были ровными и спокойными с ним и друг с другом, он был их товарищем, а не каким-то отдельным «ребенком». Они к нему прислушивались, они ему доверяли и делали вид, что почти не беспокоятся, когда он в шесть лет, как следопыт, начал бродить по закоулкам замка и окружающей его таинственной чаще.

Сережина должность обеспечивала молодую семью прекрасным жильем, а металлоискатель – пропитанием. Они, конечно же, не ели старые монеты, пуговицы, кресты, кокарды и прочие металлические ценности, а отвозили их в Петербург, в «Русскую старину» на улице Некрасова, и получали немного денег. Потом случилось несчастье – Сережа утонул во Мсте, и Анна Ивановна с Петей остались одни.

### 3

В то лето, когда Остап ушел из дома, Анне Ивановне исполнилось тридцать пять лет, а Пете – одиннадцать. Это были единственные люди, к которым старый мизантроп в эпоху своего бомжевания испытывал искреннюю симпатию. Они его совершенно не боялись. Анну Ивановну не смущала его всклокоченная борода, жуткая вонь и развязная манера тихой сапой подкрадываться к распахнутым окнам и бесцеремонно заглядывать в комнаты. Она кормила его бубликами и разрешала валяться на солнце под окном. Петя вынимал из его бороды колючки и рассказывал без утайки обо всем, что происходит в их жизни. Так Остап узнал, что в пятницу в замок приезжают в гости Хомяковы – мамина дальняя родственница со своим мужем и сыном, шестиклассником Владей, который был старше Пети на год.

Петя никогда не встречался с этими людьми, но он слышал о них от мамы и видел их фотографии в мамином фейсбуке. Петя должен был провести три недели в обществе нового товарища, и поэтому с интересом разглядывал его роскошные фотографические портреты. Владик Хомяков был представлен в полном параде – во фраке, на фоне какой-то золотой стены. У него было красивое, серьезное личико с тонкой улыбочкой. Он выглядел очень важно, и Петя смутился и забеспокоился – подружатся ли они?

Остапа тоже охватило беспокойство. В день, когда ждали гостей, он бродил у дороги, недружелюбно поглядывая на проезжающие машины. Вдруг он увидел, как остановилось такси и из него вылезли люди с чемоданами. Они громко галдели и ругались между собой. Заметив приближающихся Петю и Анну Ивановну, они тут же замолчали и бросились к ним целоваться. «Такой маленький! – воскликнула мамина родственница, с изумлением глядя на Петю. – Владислав, вот, это твой брат Петя!» Высокий Владик, весело улыбаясь, подскочил к Пете и пошел рядом. В руке он нес скрипичный футляр. Компания двинулась по тропинке в сторону замка. Хмурый Остап плелся в хвосте.

Гости были в восторге от замка. Они были большими знатоками и любителями старины.

– Я чувствую себя, как в Ясной Поляне! – восклицала тетя Ася.

– Владя, здесь бывал твой прадед! – кричал дядя Юра. Юрий Юрьевич был видным специалистом по генеалогии, всегдаем петербургского дворянского собрания. Он утверждал, что его предки, столбовые дворяне, были связаны дружескими узами с семьей промышленника Воронина. С величайшим умилением, театрально приложив руку к груди, Юрий Юрьевич смотрел на замок.

Гостей поселили в Петинной комнате. Накануне мама попросила мальчика привести ее в порядок, что он и сделал с помощью тряпки и веника. Когда гости переоделись и вышли к столу – обедать, Петя поразился, увидев, какой хаос устроили они за десять минут. Хомяковы чинно уселись за круглым столом. Мама разливала суп, Петя раздавал тарелки, с любопытством глядя на гостей.



Владик казался ему пришельцем с далекой звезды. Петя никогда не видел, чтобы мальчик вел себя так странно. При встрече он вслед за папой бросился целовать ручку Анны Ивановны. Когда Анна Ивановна обращалась к нему с каким-либо вопросом, например, спрашивала, где он хочет есть и любит ли он черный хлеб, Владик всегда добавлял к своему ответу заученные от папаши фразы: «Вы сама любезность!», или «Тетя Аня, вы сама добродетель!», или «Вы верх совершенства!» Родители ему не аплодировали, но было видно, что им очень по душе эффект, который Владик производит на Анну Ивановну, – ее тревожное удивление они наивно принимали за онемение от восхищения.

Тетя Ася была высокой дамой с прямой, как палка, спиной, круглым лицом со вздернутым носом и огромными, неопределенного цвета холодными глазами. С высоко поднятым подбородком она внимательно осматривалась, ощупывая взглядом каждый предмет и каждого человека.

Дядя Юра был ростом ниже ее, толстенький, с благородными чертами лица, сочными губами, красными щечками и реденькой бородкой клинышком. Судя по всему, он очень любил жену, потому что, время от времени, поймав ее взгляд, целовал свое золотое кольцо на пухлом пальце и шептал ей что-то нежное. Когда дымящиеся тарелки оказались на столе, Юрий Юрьевич, громко вздохнув, сказал: «Помолимся!» Все встали, и он с большим чувством прочитал молитву.

Во время обеда Хомякова рассказывала о роскошной петербургской жизни, о том, как они ходят в театры и на концерты и общаются со знаменитостями, которые наперебой зовут их в свои «лучшие» дома. Потом она заговорила о головокружительных успехах Владика в его престижной гимназии, «лучшей в городе» музыкальной школе и «лучшем» художественном кружке. «Мой сын – круглый отличник. По нему плачет консерватория!» Владик светился от похвал. Закончив долгую эклогу, тетя Ася сказала сыну: «Владислав, все это не для твоих ушей. Марш на улицу».

Веселый Владя рванул из-за стола. «Пойдем гулять!» – позвал он Петю. Оробевший Петя посмотрел в мамины глаза. Они говорили: «Да все хорошо, иди – играй, не бойся». «Спасибо,

мама», – сказал Петя и направился к двери. Тетя Ася тут же подскочила к открытому окну и заорала, вспугнув прикорнувшего Остапа: «Владислав, а ты сказал спасибо за обед?»

#### 4

«Пойдем к реке», – предложил Владу Петя. Мальчики углубились в тенистую чащу, пронизанную яркими лучами солнца, в которых черными точками вились мушки да мошки. Они шли молча. Владя поглядывал на Петю, а Петя не знал, с чего начать разговор. «А ты читал Толкина?» – спросил вдруг Владик. «Читал!» – сказал Петя. Он очень обрадовался, что нашлась, наконец, тема для беседы с этим необычным мальчиком. Он открыл было рот, чтобы обсудить, кто хуже – люди, гномы или эльфы, и как следует все-таки относиться к Горлуму (хороший ведь, правда?), как Владя снова спросил: «А ты читал Диккенса?» «Я читал “Оливера Твиста”», – ответил Петя и приготовился поговорить о жизни нищих английских мальчиков, но Владя, не дав ему сказать и слова, поспешно вновь спросил: «А “Трех мушкетеров?”» «“Трех мушкетеров” я прочел не до конца», – признался Петя. Он хотел поговорить с Владей о мушкетерах, но тот ему сказал: «Эх, ты! А “Человек, который смеется?”» – «“Человек, который смеется” я не читал, но мама мне читала “Отверженных”». «Тебе читает мама?» – воскликнул Владя и с улюлюканьем побежал вперед: там уже мелькнула вода. Ему удалось таки посрамить Петю. Доказав свое бесспорное превосходство и начитанность, Владя вдруг подобрел, успокоился и оставшуюся часть прогулки уже не нападал на Петю. Ребята прыгали по кочкам, со смехом валили подточенные бобрами деревья, вспугивая болотных птиц и пригревшихся на солнышке змей. Владя, забыв обо всем на свете, носился за лягушками, хватал их, разглядывал, а потом подбрасывал и смотрел, как они шлепаются в воду.

Петя показал Владу секретное место, о котором знали только он сам, Семен Иванович и мама. Это был старый Воронинский пруд, почти весь заросший. По неприметной тропинке мальчики добрались до крошечного озера, в котором отражалось синее небо и тонкие, дрожащие на теплом ветру березки. «Вот все, что осталось от старого пруда. Раньше он был очень

большой, в музее есть его фотографии, я тебе покажу. Мы нашли это озеро с Семеном Ивановичем прошлым летом. Здесь много карасей, мы их ловим. Вот моя удочка, вот мамина. Скоро приедет Семен Иванович, будем ловить рыбу с Семеном Ивановичем».

Когда мальчики вернулись домой, разговор за столом еще не закончился. Хомякова что-то бурно объясняла Анне Ивановне, но, увидев детей, умолкла. Петя заметил, что маме немного грустно и скучно. Он понял, что гости ее утомили. Подслушивавший под окнами Остап был скорее разозлен. Тетя Ася битых два часа толковала о том, что ее исключительному Владу все завидуют и поэтому у него мало друзей. Тупые сверстники его не понимают, он не может найти себе товарища «своего уровня» и порой страдает от одиночества. Правда, у него есть один друг – чемпион по шахматам. И еще ему тяжело приходится от внимания девочек. Даже старшие девочки все влюблены во Владика.

Очень часто Хомякова произносила самое ненавистное слово Остапа – «интеллигентный». Тогда он вскакивал и делал судорожные движения головой. «Я – мать красивого мальчика!», «Я – мать интеллигентного мальчика!» – настойчиво твердила эта странная женщина.

Анна Ивановна сказала, что для любого мальчика главное – хорошие друзья, и с некоторой, правда, неуверенностью в голосе предположила, что, может быть, Владик найдет себе товарищей среди ребят, с которыми дружит Петя. «А кто у них родители?» – спросила тетя Ася. Юрий Юрьевич хохотнул, Анна Ивановна пожала плечами и с раздражением отвернулась, будто отвлеченная чем-то. Тетя Ася сказала, что в августе они званы в один шведский дом, к шведским дворянам, которые однажды видели Владика и были поражены его познаниями. Теперь шведские дворяне очень просят Хомяковых пожаловать к ним в гости, чтобы их дети смогли пообщаться с интеллигентным мальчиком. «Ой, кто это там за окном?»

Владя попросил чаю с бутербродиком, Анна Ивановна поставила чайник. Хомяковы снова подкрепились, затем решили прогуляться по поселку. Пока мама убирала со стола, гости во-зились в комнате, потом вышли – Юрий Юрьевич с Владиком в

полосатых брючках и канотье, а тетя Ася в длинном белом платье, удивительной белой шляпе и с большим фотоаппаратом на тощей шее.

## 5

Прошло несколько дней – теплых и солнечных. Анна Ивановна готовила выставку для «Маклайских чтений», дядя Юра делал вид, что ей помогает, а сам, как раскормленная, но сильная охотничья собака, рыскал по замку и делал ценные находки: бронзовые дверные ручки тонкой работы, кованые детали старинных печей. В музейном архиве, где ему как видному историку Анна Ивановна позволила порыться, он обнаружил дорогостоящие книги из Воронинской библиотеки, заводские бумаги, столетние фотографические снимки. В башне, усевшись толстым задом на ступеньку витой чугунной лестницы – легкой, ажурной, воздушной, – он вздыхал, представляя, как летней ночью здесь объяснялись в любви молодые аристократы и аристократки, кости которых давно превратились в пыль. В залах дядя Юра обнюхивал витрины с предметами старого быта – письменными принадлежностями, остатками барского сервиса, ружьями, картами местности. Остап, с первого взгляда невзлюбивший Хомякова, интеллигентский облик которого совершенно не внушал ему доверия, с подозрением следил за ним, таясь за дверями и окнами. «Как бы чего к рукам не прибрал», – с беспокойством думал старик.

Вокруг замка зацвел жасмин, ветер раскачивал розовые кущи иван-чая. Петя играл с друзьями и поджидал своего любимого Семена Ивановича, гости кушали, ездили на озеро и воспитывали Владю, которого не пускали играть с мальчиками под предлогом занятий. Вскоре Петя понял, что Владик очень несчастен. Каждый день из комнаты гостей раздавались унылые звуки скрипки, прерываемые воплями тети Аси и рыданиями Владика. По три часа в день Владик должен был проводить за учебниками английского и немецкого. Однажды родители побили его ремнем за нерадение, мать держала, а отец бил. Владик выскочил из дома с криком: «Гады! Вы гады!» – и бросился в чащу. Юрий Юрьевич не смог его догнать, он вернулся в дом и с виноватой физиономией стал утешать ры-

дающую в истерике жену. Сквозь слезы тетя Ася шептала ему с ненавистью: «Все ты! Это все ты!»

Анна Ивановна была в залах, Остап где-то гулял, и единственным свидетелем ужасной сцены стал Петя, на которого взрослые Хомяковы совершенно не обращали внимания. Удрученный Петя отправился искать Владика. Он нашел его в тайном месте, у озера. Владик плакал, сидя на скамеечке. Петя достал из кармана кусок булки, скатал шарик и, насадив его на крючок, предложил Владе порыбачить. Рыба не клевала на такую скромную наживку, но Владя несколько утешился и согласился вернуться. Когда они подходили к дому, стало темнеть. Воронинский замок был похож на волшебный фонарь. В высоких полукруглых окнах горел оранжевый свет, виден был черный, как будто вырезанный из бумаги, силуэт Анны Ивановны, готовившей ужин, раздавался резкий хохот тети Аси, которая, надо сказать, успокаивалась так же быстро, как и заводилась.

К обитателям замка зашла на чашку чая Марина Борисовна, влиятельная дама из районной администрации, деловая богатая женщина. Она построила превосходную гостиницу недалеко от Иверского монастыря и мечтала превратить убогие селения – Окулровку и Кулотино – в международный центр туризма и культурных связей. На «Маклайские чтения» ожидался большой съезд ученого народа, должны были приехать потомки Маклая из Австралии, и Марина Борисовна хотела поселить некоторых гостей в здании краеведческого музея.

Супругов Хомяковых сильно взбудоражила эта уверенная в себе, интересная женщина. Они оба вдруг напомнили охотничьих собак, вставших в стойку. Не сговариваясь, они бросились ее очаровывать, хотя никакой практической пользы от Марины Борисовны получить, казалось бы, не могли. Но так уж было заведено в этой семье – знакомства со значительными лицами являлись одним из смыслов Хомяковского существования.

Когда дети зашли в дом, тетя Ася, как ни в чем не бывало, подбежала к сыну, чмокнула его в щеку и сказала: «А это Владислав!» Марина Борисовна с любопытством посмотрела на Владика. Было видно, что Хомяковы уже успели подготовить ее к встрече с необыкновенным ребенком. Марина Борисовна при-

везла с собой двух сыновей – близнецов тринадцати лет. Мальчики пошли играть на улицу.

Хомяковы из всех сил старались произвести впечатление на Марину Борисовну и непомерно хвастались. О самой себе тетя Ася ничего не говорила, она воспевала мужа – «лучшего специалиста по генеалогии», который преподает в университете и работает в какой-то комиссии «при президенте». За вечер она раз двадцать повторила «при президенте», совершенно не замечая, что от этого ее заклинания собеседниц уже тошнит, а за окном кто-то шумно вздыхает и фыркает. Юрий Юрьевич очень увлекательно рассказывал о дворянском собрании, где он со всеми на короткой ноге, а потом сообщил, что его генеалогическое древо восходит к Палеологам. Наступила неловкая пауза. Анна Ивановна немного покраснела. Марина Борисовна, чтобы прервать молчание, сказала, что ее прадед был священником дворянского рода. Тут Хомяков принялся расспрашивать, как его звали, где он жил, когда и при каких обстоятельствах умер. Марина Борисовна кое-что рассказала Хомякову, и это была невеселая история – деда расстреляли, церковь сожгли. Он слушал, украдкой строча в блокноте, потом стал умолять, чтобы она позволила составить ее древо. Она громко смеялась и, шутя, обещала подумать над этим лестным предложением.

Пока супруги Хомяковы водили хороводы вокруг Марины Борисовны, Владик из кожи вон лез, чтобы произвести впечатление на старших мальчиков. Узнав, что они тоже занимаются музыкой, он устроил им проверку на знание музыкальной грамоты. Оказалось, что близнецы разбираются в предмете гораздо лучше его самого. Тогда он принялся экзаменовать Петю, что было нечестно, потому что Пете медведь на ухо наступил и на музыкальные темы он рассуждать никак не мог. Но Владiku хотелось унижить Петю перед его приятелями. Нельзя сказать, что он сам придумал такой способ добиваться дружбы, он действовал скорее бессознательно. Бедняге казалось, что старшие мальчики его полюбят, увидев, что он умнее Пети. Так он общался со всеми детьми. А Петя не мог понять, почему Владик хочет над ним посмеяться, ведь он так переживал сегодня за него и так старался утешить...

Марине Борисовне не удалось поговорить с Анной Ивановной, гости душили их светской беседой. «Мы мечтали, чтобы он поступил в Петербургскую консерваторию. Но оказалось, что Владька подумывает о Базеле!»

Марина Борисовна засобиралась домой. Было поздно, стемнело, небо превратилось в дрожащий черничный кисель, засыпанный звездным сахаром. Петя с близнецами валялись в сухой траве, полной ночного стрекотания. У крыльца Марина Борисовна столкнулась с несущимся Владиком, который сиял от восторженного изумления. «А вы знаете, что Петя не знает, кто такой Вивальди?» – закричал он ей. «Владислав, не надо показывать своего интеллектуального превосходства, это невежливо!» – отвечивал ему голос из окна. «Детка, думай о Базеле!» – сказала Марина Борисовна и пошла к своим близнецам.

На ужин в замке были вареники с творогом.

## 6

Купаться с гостями Петя не ездил. Однажды он поехал с ними на Окуловское озеро, но гости вели себя так ужасно, что он расстроился до слез. Петя отвел Хомяковых в свое любимое место, где среди высоких камышей узенький песчаный пляж спускался к тихой воде, в которой метались мальки и росли желтые кувшинки. На берегу было кострище, обложено камнями, – здесь Петя с мамой жарили хлеб и ветчину. В кустах у Пети был склад больших пластиковых бутылей, из которых он строил плот. Оказавшись на пляжике, Петя тут же побежал в воду. Владик ринулся за ним, но его остановил строгий окрик матери: сначала он должен был прогреться на солнце и прочитать главу какого-то романа. Тетя Ася принялась раскладывать плед. Дядя Юра, не любивший жару, уселся под деревом, с тоской отгоняя комаров. Довольная тетя Ася улеглась, закрыла глаза, но через минуту вскочила – где-то недалеко заиграла музыка. Высокий голос пел: «Белая стрекоза любви, стрекоза лети!» Пете нравилась эта песня, которая в то лето летела из всех кулотинских ларьков и автомобилей. Ему она совершенно не мешала. Хомяков был делегирован к возмутителям тишины, чтобы навести порядок. Он ушел, потом вернулся с виноватым видом и развел

руками. Музыка продолжала играть. Тогда тетя Ася сама кинулась на врага. Она выглядела устрашающе – ее тонкие, как у скелета, ноги, сходящиеся в коленях, запинаясь о корни сосен, а руки-плети с перстнями на длинных пальцах нелепо болтались. Дядя Юра побрел за ней. Раздались вопли. Музыка сделала громче. Хомяковы вернулись. Тетя Ася с оскорбленным видом стала собирать вещи. Все оделись, чтобы уходить. Владик, которому хотелось купаться, плакал. Только двинулись в обратный путь – затарахтели мопеды, и белая стрекоза любви унеслась в мерцающую лучами и тенями лесную даль. Тетя Ася вернулась на прежнее место и снова разложила плед, но тише не стало. Теперь она сама орала, отдавая указания Владику, которому, наконец-то разрешила войти в воду. Ему нельзя было брызгаться с Петей и залезать на плот, потому что он мог замерзнуть и заболеть. Он должен был проплыть двадцать метров туда – двадцать метров обратно, выйти на берег, обсушиться и читать следующую главу романа.

Вечером Владик – с насморком, в колючих шерстяных носках – дочитывал толстую книгу.

Было поздно. Через полуоткрытую дверь он видел, как Анна Ивановна, обняв привалившегося к ней полусонного Петю, читает ему «Муми-троллей». Взрослые Хомяковы, наблюдая эту картину, презрительно хихикали. Владик тоже презрительно хихикал. Но он лукавил – ему было грустно и завидно. Однажды он слышал, как мать говорила отцу, что тетя Аня вырастит гопника, который будет пить пиво и валяться под забором. Владику нравилось слушать, как мать говорит гадости о других. Мысленно он пытался представить себе Петю под забором, но у него не получалось. Почему-то он видел его капитаном, обнимающим мать на пристани.

## 7

Приближался Петин день рождения. Должен был приехать Семен Иванович – мамин знакомый, который занимался историей старинных русских усадеб. Летом он путешествовал в поисках «обломков старого мира», делал подкопы на руинах церквей и особняков. В комнате Анны Ивановны в углу храни-



лись его вещи: фанерный чемодан, клюка, стопки книг, валенки, ушанка, а в ней – мутные очки на веревочке. Тетя Ася брезгливо косилась на угол Семена Ивановича. Она его представляла себе полоумным бедным мужичонкой, прибившимся к ее глуповатой добросердечной сестре.

В день своего рождения Петя проснулся от счастья, которое теплой волной хлынуло откуда-то в комнату, разлилось по замку, саду и заполнило весь сияющий и чирикающий мир за окном. Петя тихонько лежал, глядя в потолок с остатками старой лепнины, и глубоко дышал. Ему казалось, что в его груди надули крепкий воздушный шар, который вот-вот поднимет его над кроватью. На полу стояло несколько коробок, перевязанных ленточками. Окно было распахнуто. Сквозь синие выцветшие занавески пробивались лимонные лучи солнца, в которых плясали пыльные галактики. Пахло сладким шиповником, терпкой гвоздикой и гнилым рокфором: верно, где-то неподалеку Остап бродил с адресом, терпеливо дожидаясь часа, когда ему позволят поздравить именинника.

Гости – мальчики и девочки – были званы к двенадцати часам. Обычно в свой день рождения Петя пировал с друзьями под старой яблоней, за большим деревянным столом, который мама с чьей-либо помощью вытаскивала в сад. Петя отодвинул занавеску и выглянул в окно. Под яблоней стоял стол, покрытый красной скатертью, и на нем было еще несколько коробок с ленточками. Из комнаты Хомяковых доносился визгливый плач, к которому в замке уже привыкли. Там тетя Ася заставляла сына придумывать поздравления для Пети на немецком и английском, чтобы поразить гостей.

К замку подошел высокий человек с большим горбатым носом, черноглазый и черноволосый. Он нес рюкзак. Остап удивленно хмыкнул и стал медленно приближаться к незнакомцу. Человек, свысока посмотрев на бродягу, надменно и строго сказал: «Пошоль вон, стари козель!» «Семен Иванович!» – закричал Петя и, выскочив в окно, в пижаме побежал навстречу другу.

Когда Хомякова вышла из своей комнаты, она почувствовала ужасный, отвратительный запах, проникший, казалось, во

все закоулки замка. «Семен Иванович приехал, – сказал ей радостный Петя, – он с мамой в саду разговаривает». Тетя Ася не захотела знакомиться с Семеном Ивановичем. Запах шел от огромного рюкзака, прикорнувшего после долгой дороги в углу рядом с фанерным чемоданом.

Анна Ивановна сидела на крыльце. Она надела длинное, из синего в лиловый полинявшее платье и завязала свои медные волосы узлом на затылке. Петя считал маму самой красивой девушкой на свете. Видимо, такого же мнения придерживался и Семен Иванович, который смотрел на нее во все глаза и, размахивая руками, что-то увлеченно рассказывал. Потом он вдруг заплакал. Встревоженный Петя подошел к крыльцу. Мама погладила Семена Ивановича по плечу и пошла месить тесто, а Семен Иванович показал Пете фотографию, где на фоне кирпичной осыпающейся стены лежали в траве черепа с зияющими глазницами и груда костей. Один из этих черепов был маленьким, в нем была небольшая круглая дыра. Семен Иванович рассказал Пете, что черепа и кости он случайно нашел, копая рядом с полуразрушенной церковью святого Михаила в деревне Бородино, недалеко от города Суздаль. Когда-то в этой деревне, среди лесов и полей, стоял прекрасный белый дом, в котором жил князь со своей женой и детьми. В революцию его семью расстреляли и зарыли у стен высокой церкви. Семену Ивановичу удалось подняться на изборожденную глубокими трещинами ветхую колокольню, которая, казалось, готова была развалиться от первого порыва сильного ветра. Глядя на бескрайние лесные дали, он представлял себе, как сто лет назад колокольный звон летел над землей, и бородинским колоколам отвечали давыдовские и никольские. На колокольне жили птицы. Со звонким чириканьем они метались большими черными стаями. Старинная лестница со сбитыми ступеньками была покрыта слоем скользкого птичьего помета. Спускаясь вниз, Семен Иванович упал и проехал несколько метров на спине – он показал Пете синяк на боку и ссадину на локте. Семен Иванович пообещал Пете, что возьмет его с собой в Бородино, чтобы поставить крест на том месте, где покоятся бедные кости.

Вскоре Семен Иванович развеселился и тоже стал готовиться к празднику. Он достал из рюкзака бутылки с вином и вонючий кусок сыра, который нарезал на доске квадратными кусками. Когда Хомяковы вышли в сад, они увидели горбоногого красавца. С бокальчиком вина в руке он давал советы Пете – забравшись на старую яблоню, мальчик обматывал ветки электрическим проводом с лампочками. Неподалеку стоял Остап. «Не бойся, Семен Иванович! Он дерется только с теми, у кого дорогие машины», – говорил Петя. «Moi, j' ai un magnifique "Porche" en France. A votre sant?!»<sup>1</sup> – сказал на это гость Остапу, поболтал вино в бокале, понюхал, посмаковал и выпил до дна. Остап, видимо, знал по-французски: он топнул ногой и наклонил голову, но, не желая портить праздник, сдержал свой гнев и пошел от замка прочь.

Семен Иванович угостил вином и сыром Хомяковых. Тетя Ася, попробовав синий, тающий на солнце кусочек, сказала, что такой прекрасный сыр ей подавали только в лучших домах Парижа. Она никак не хотела называть Семена Ивановича на русский манер и обращалась к нему «Симон», старательно следя за проносом.

## 8

Семен Иванович жил в Бретани и преподавал археологию в Реннском университете. Он был в некотором роде потомком Воронина: сто лет назад племянник стеклозаводчика, молодой белогвардейский офицер, женился на его прабабке-француженке. Семену Ивановичу достались некоторые письма и фотографии Ворониных. Ему захотелось увидеть края, где жил его предок, и он поехал в Россию. К своему удивлению и радости он нашел в Кулотино родовое гнездо в целостности и сохранности, таким, как оно выглядело на старых семейных фотографиях, а в придачу – прекрасную даму и мальчика, которые стали его друзьями.

Для Семена Ивановича во флигеле места уже не нашлось, поэтому с полосатым матрасом под мышкой он пошел жить в замок – на чердак. Там было сухо и тихо. Он развернул матрас, накрыл его свежей простыней в голубенький цветочек и лег под-

<sup>1</sup> У меня великолепный «Порше» во Франции. Ваше здоровье!

ремать. Чердачные оконца были распахнуты, ветерок нежно обдувал археолога, его тонкий горбатый нос чуял приятные запахи горячих пирогов, цветущих растений, сухих досок и пыли. Засыпая, он слышал, как стали собираться дети, как они загалдели, закричали, забегали вокруг замка. Они устроили какую-то веселую игру. Один мальчик иногда выкрикивал неприличные слова. Семен Иванович учил русский язык и был рад, что все понимает.

Семен Иванович проснулся оттого, что солнце, постепенно клонясь к закату, защекотало ему глаза, а на улице раздались совершенно не праздничные вопли. Выглянув из окна, он увидел, как в чашу от замка несется высокий мальчик, его пытается догнать толстяк-отец, мать ковыляет сзади и машет руками. Все трое голосили.

Петин праздник удался. Дети набегались, накричались, проголодались, потом наелись. Вечером на старой яблоне зажгли разноцветные лампочки. Семен Иванович запустил в темнеющее небо фейерверк. Петины гости постепенно разошлись. Мальчика, который ругался матом, пришел забирать пьяный отец. Мальчик уже давно ушел, а отец все еще ходил в темноте вокруг замка с песнями и разговорами. К нему присоединился Остап. Мужик что-то рассказывал Остапу, тот совершенно с ним соглашался и качал головой. Потом оба завалились в кусты, захрапели. Их никто не гнал.

Анна Ивановна поставила на стол под яблоней маленький телескоп. Луна взошла, в телескоп были видны ее таинственные кратеры и серебряные поля. Владик с заплаканными глазами заворуженно высматривал лунные тайны. Семен Иванович мыл посуду. Из комнаты Хомяковых доносились всхлипы и шепот. Днем тетя Ася хотела, или делала вид, что хотела, уехать из замка и навсегда порвать с сестрой, которая нагрубила ей, наговорила несправедливостей, обвинив ее в том, что она, самоотверженная мать, калечит Владика. Благоразумный дядя Юра уговорил жену остаться, напомнив, что в жарком пыльном городе им делать совершенно нечего и пирогов там никто не печет.

Анна Ивановна сидела за столом рядом с Владиком. В ее памяти всплывала унылая квартира на Пушкинской улице, где

Ася жила вдвоем с матерью – красивой и нервной женщиной, которая частенько колотила дочь. Мать требовала, чтобы Ася хорошо училась и дружила только с интеллигентными мальчиками из хороших семей. Когда нарисовался толстенький румяный Юра, Ася уехала от матери, та вскоре по какому-то поводу прокляла молодых и умерла от рака, «так и не простив». «Все возвращается, все возвращается», – думала Анна Ивановна. Ей было жаль Владика. Она видела, как днем он пытался общаться с детьми. Когда мать выпустила его к Петиним гостям, он тут же прервал их игру, заявив, что она «тупая», и предложил инсценировать «Песню о Роланде». Оказалось, что кулотинские мальчики плохо знакомы с французским эпосом, и он стал их высмеивать. Тогда близнецы Марины Борисовны согласились поиграть с Владиком. Они сбегали во флигель, взяли золы из печки, напали на Владика и вымазали ему лицо, сказав, что он будет мавром. Они-то читали «Песню о Роланде». Но играть хотели в биороботов.

Расстроенный Владик заперся с книжкой в отхожем месте. К нему в дверь барабанила мать – она всегда следила за тем, сколько времени сын проводит в туалете, боясь, что он будет предаваться там «нехорошим вещам». «Не выношу детский онанизм!» – злобно сказала она прибежавшей на стуки сестре. Тут-то и произошел скандал. Анна Ивановна, дрожа от волнения, потащила ее в комнату и зашептала со слезами на глазах: «Нельзя унижать, нельзя давить, нельзя уничтожать, нельзя корежить... Человек, который смеется... Посадили ребенка в причудливой формы кувшин и растят несчастного уродца!» Что еще говорила Анна Ивановна – неизвестно, потому что ее слова потонули в возмущенном вопле сестры.

Через пару дней тетя Ася совершенно успокоилась. Она тешила свое тщеславие, предвкушая, как расскажет знакомым, что летом ее сына воспитывал мусью: Владик не отходил ни на шаг от Пети и Семена Ивановича, который с утра до вечера с педагогическим пылом Понократа развлекал детей. Они точили ножи, строгали палки, косили траву, прыгали через канавы, лазали по деревьям, рассматривали лишайники, слушали птиц, ловили рыбу. Когда тетя Ася попыталась загнать Владика в дом для урока музыки, Семен Иванович довольно резко ей возра-

зил. Он сказал, что мальчики заняты: они чертили план усадьбы. Тетя Ася заговорила про музыкальное будущее Владика в Швейцарии. Семен Иванович сказал, что у Влади живой ум естествоиспытателя, что он не рвется музицировать, что он не создан для скрипки, и ей, пожалуй, не стоит «*p?ter plus haut que son cul*». Хомякова попросила перевести это выражение. Француз заглянул в компьютерный словарь, потом встал в почтительную позу и сказал: «Мадам, не надо старайтесь пернуть више ваша задница». Возмущенная Хомякова залепетала: «Да как вы можете так со мной разговаривать! Я – интеллигентная женщина!» «А я – барин, Симон Воронин, хозяин этот шато!» – раздраженно сказал француз. «Барин» посоветовал обомлевшей тете Асе развеяться – погулять, почитать или заняться полезным делом, например, приготовить обед. Со смиренным видом Хомякова пошла в свою комнату будить мужа. Он лежал на кровати и мирно сопел, на его вздымающемся брюхе покоился молитвослов. Она растолкала его и злобно прошипела: «Хватит дрыхнуть! Нужно почистить картошку!» А потом прошептала с отчаянием: «У нее все будет лучше, чем у меня!» Дядя Юра захлопал глазами, подхватился и побежал на кухню.

## 9

Анна Ивановна отправила француза в местную командировку – добывать старые фотографии. По установленным ею правилам вторгаться можно было только в те заброшенные избы, где крыша начинала обваливаться, – это означало, что дому скоро придет конец. Заходить в дома позволялось лишь Семену Ивановичу, мальчики ждали снаружи: прогнившие балки и половицы могли рухнуть в любую минуту. Почти в каждом доме археолога встречали скромные свидетели старого быта: покрытые слоем грязи графины, рюмки прессованного стекла, чашки и чайники в горошек, осклизлые комья кружев, старушечьи очки, пожелтевшие газеты, бумажные иконки, покaleченная мебель деревенской работы. Обычно фотографии валялись прямо на полу – черно-белые и выразительные. Семена Ивановича удивляло, что на карточках пятидесятих годов советские граждане выглядели так же, как люди на снимках, сделанных в послевоенной Италии или Франции. Подростки с

вопрошающими взглядами катились на одинаковых велосипедах в одинаковых кепках, коротких брючках и пальто. Их отцы с худыми лицами стояли в одинаковых шляпах и пиджаках. Одинаково причесанные матери одинаково улыбались и были похожи на кинозвезд. Старухи корсиканских и новгородских деревень носили платки, кофты и прямые черные юбки, пошитые, видимо, на одной фабрике.

Почти в каждом заброшенном доме успели похозяйничать бомжи. В некоторых избах не было пола и мебели – ими топили печки. Там все было загажено, царил нищий беспорядок, на который с грустью взирал Боженька из облезлого и черного красного угла. Семен Иванович был очень брезгливым. Он расшвыривал ногами вонючие тряпки и аккуратно собирал в мешок слипшиеся карточки. Только любовь к Петинной маме могла подвигнуть его на такую грязную работу.

И только любовь к Петинной маме смиряла Остапа, который мечтал «обломать рога наглому французу». Не раз во сне он бежал за ним по пыльным улицам Кулотино, загонял на поленницы и заставлял униженно просить прощения за вторжение в замок. Когда Семен Иванович был дома, Остап с мрачным видом бродил в лесочке, выросшем на месте Воронинского парка. Как только враг отлучался куда-нибудь с мальчиками или шел спать к себе на чердак, Остап подбирался к флигелю и тихо ждал, когда из окна протянется к нему лилейная рука с бубликом и нежный голос ласково попросит отойти, «чтобы не пахло».

## 10

Так уж получилось, что козлом отпущения в замке стал бедный дядя Юра. Именно на него обратились неудовольствие тети Аси, лишенной возможности воспитывать Владика, и неутолимая злоба Остапа, который, видя, как ценят в замке его врага-француза, никак не мог себе позволить учинить расправу.

Тетя Ася несколько влюбилась в Семена Ивановича и наивно пыталась завоевать его расположение. Она подсаживалась к нему с чашечкой кофе и заводила разговор на исторические темы: «Симон, мне как этнографу интересно...» или «Симон, я как этнограф считаю...» В юности тетя Ася оказалась неспособной к учебе, ее отчислили из университета, что стало

страшным потрясением для ее матери. Бедная тетя Ася тщательно скрывала этот, как ей казалось, постыдный эпизод биографии, который на самом-то деле никого не интересовал – ну кого только из университетов не выгоняли! – и, мучимая чувством собственной неполноценности, при каждом удобном случае старалась блеснуть познаниями, что ей, женщине хоть и не умной, но информированной, иногда удавалось. Она читала книжки, которые ей подсовывал муж, и в разговоре с людьми не очень образованными производила впечатление ученой дамы. Обычно она перебивала собеседников и слова сказать никому не давала – все должны были слушать только ее. Она полагала, что прекрасно разбирается в вопросах истории, театра и литературы. Любимым писателем Хомяковой был Чехов. Она любила поговорить о «гении Чехова». «Чехов лечил людей, пока ваш Гоголь макароны жрал!» – шипела она, раскачиваясь в ярости, как кобра. Любую свою точку зрения она была готова отстаивать до конца. С Семеном Ивановичем дело обстояло иначе. Раскрутив француза на ученый разговор, она внимала ему с видом очарованной прилежной ученицы.

Стройный Семен Иванович был одного возраста с расплывшимся дядей Юрой, но казался моложе его лет на десять. Любуясь бодрым французом, который с утра выгонял мальчиков бегать с ним по лесу и купаться в Коровьем ручье, она проникалась отвращением к лености и толщине своего Хомякова. Она вдруг почувствовала, что не может спокойно на него смотреть, что ее мутит от жирной шеи и пухлых пальцев. Однажды за обедом она, окаменев, наблюдала, как муж с аппетитом кушает щи, потом подскочила, будто ужаленная, и выбежала на улицу. Ее тошнило на куст сирени. Анна Ивановна отпаивала сестру пустырником.

Тетя Ася посадила мужа на строгую диету и постоянно следила, чтобы он не съел лишнего. Она принималась орать на него прямо за столом. «Хватит жрать!» – злобно вопила она, совершенно не обращая внимания на окружающих, у которых портилось обеденное настроение. Семен Иванович уходил есть на улицу, опасаясь, что не выдержит, бросится на нее и задушит. Он считал дни до отъезда Хомяковых. Он боялся превратить свое родовое гнездо в место кровавой драмы. Иногда он за-



крывал глаза и представлял себе, как его слуги-карлы замуровывают визжащую тетю Асю в мрачном подземелье. Вспоминал, что в средние века истеричек сжигали вместе с ведьмами. И немного успокаивался.

Дядя Юра, не склонный по жадности своей покупать продукты в замок, вдруг повадился ходить в «Магнит» и «Эконом». Там он покупал сыр, булку, молоко и что-нибудь недорогое для отвода глаз – морковку или свеклу – к общему столу. Расположившись на трухлявом бревне за поленницей возле «Эконома», генеалог сжирал батон с сыром, выпивал литр молока и затем, рукавом утерев бороденку, шел к замку со своим скромным овощным мешочком. Кроме «Магнита» и «Эконома» дядю Юру притягивал ларек Нины, где всегда продавалась свежая выпечка – ромовые бабы, пироги с творогом и ягодами. Дядя Юра был большим любителем женских форм. У ларька он запикивал себе в рот куски теплого пирога и любезничал с красавицей Ниной, не сводя глаз с ее пышной груди. Все, кроме тети Аси, знали, куда и зачем ходит дядя Юра, было очевидно, что не тарелка гречки без масла и не капуста салат из рук жены поддерживают в нем бодрость духа. Сверхподозрительная Хомякова трогательно доверяла своему супругу. Да, она сторожила буфет с запасом пряников и печенья, и если муж выходил на кухню попить водички, тут же высовывалась из комнаты, чтобы предотвратить преступление. Но представить себе, что он, интеллигентный мужчина, будет поедать сдобу у ларька, она никак не могла. Поэтому дядя Юра, не опасаясь слежки, спокойно ходил есть. Последний его поход в «Эконом», случившийся накануне отъезда Хомяковых, едва не закончился трагедией.

## 11

Остап ненавидел Хомякова. Его ненависть невозможно было объяснить логически – это было стихийное, животное, космическое чувство. Из-за неправильного питания у Остапа снова разболелся бок. Бродяга ходил по помойкам и ел отбросы. Иногда ему случалось зажевать полиэтиленовый пакет. Пакеты не переваривались. Скопившись в рубце безобразным комом, они распирали бок и причиняли сильную боль Остапу, который

при каждом взгляде на Хомякова каким-то иррациональным путем приходил к убеждению, что именно этот неприятный толстяк является истинной причиной его страданий.

Однажды, увидев, как интеллигент вышел из замка с хозяйственной сумкой, Остап тихо покрался за ним. Он проводил его до «Эконома», остановился в сторонке и замер, весь обратившись во внимание. Валера и Анатолий, знакомые алкаши у магазина, его приветствовали, но он к ним не шел, он ждал. Вскоре дядя Юра покинул «Эконом» и воровато направился за поленницу. Остап осторожно двинулся за Хомяковым. Дядя Юра сел на бревно, разложил на толстых бедрах клетчатый носовой платок и с довольным видом достал из мешка что-то длинное, завернутое в «Окуловские ведомости». Притаившийся в траве Остап вздрогнул от страшного подозрения: уж не является ли спрятанный в «Ведомости» длинный предмет бронзовой ручкой от дверей парадного зала – то есть антикварной ценностью, которую ночью, при свете луны подло свинтил негодяй, под маской друга и родственника пробравшийся в замок, чтобы ограбить его простодушных обитателей?!

Остап яростно фыркнул. Хомяков в страхе поднял голову. Из высоких зарослей иван-чая к нему вышел старик, заслонивший своей крупной фигурой полуденное солнце Кулотино. Он смотрел презрительно и гордо. Его ноздри раздувались. Большая белая голова, мощная шея, мощный торс, стройные ноги были олимпийской стати. Облик Остапа поразил Хомякова – перед ним стоял не бомж, не бродяга, а величественный муж, античное божество, царь лесов и полей, увенчанный огромными золотыми рогами.

Испуганный дядя Юра что-то промышчал, что-то проблеял невнятное. Остап топнул ногой, наклонил голову, разбежался и с такой силой ударил по поленнице, что она тут же начала осыпаться. Хомяков вскочил. Остап медленно повернул к нему голову. Его глаза метали молнии, из-под копыт вылетали искры. Тряхнув головой, он кинулся на генеалога. В этот страшный момент с дядей Юрой приключилась счастливая метаморфоза – он сбросил свой интеллигентский облик и с рычанием ухватил разгневанного зверя за рога. Остап повалил его спиной на поленницу, которая с грохотом упала, распулав посетителей «Эко-

нома», и поставил копыта на поверженного врага. Он намеревался сейчас же предать его позорной казни, но ему помешали Валера с Анатолием. Они пытались оттолкнуть, оттащить Остапа от Хомякова, но у них ничего не получалось – мужики плохо держались на ногах и спотыкались о рассыпавшиеся поленья. Они кричали: «Ося, не надо, Ося!» Собрав все свои силы, Хомяков вылез из-под копыт и отбежал к магазину. Остап понесся за ним. Дядя Юра снова схватил его за рога и, проявив недюжинную силу, пригнул его голову к асфальту. Остап завалился на бок. Он хрипел и брыкался, пытаясь встать.

В замке была тишина. Семен Иванович дремал на чердаке, мальчишки читали, тетя Ася возилась, как мышь, в своей комнате, Анна Ивановна работала в залах. На следующий день Хомяковы уезжали к себе в Петербург. Тетя Ася решила купить плюшек, чтобы пить чай в поезде, взяла сумку, кошелек и пошла в «Эконом». У магазина она увидела толпу взволнованных людей. Нина подбежала к ней, схватила за локоть и закричала в ухо: «Там ваш муж дерется!» Бедная Хомякова растолкала галдящую публику. С ужасом глядя на сцепившихся в смертельной схватке борцов, она не сразу поняла, кто из них ее муж. Оба были грязные, оба трясли бородами, оба тяжело дышали и смотрели друг на друга выкаченными глазами. «Я не могу его отпустить!» – кричал Хомяков. Из его носа текла кровь.

Привели полковника Алексея Петровича с ружьем. Это был высокий мужчина в майке, трениках, домашних тапочках, с гладко выбритым лицом и аккуратно зачесанными назад волосами. Он приблизился к бьющимся и замер над ними в глубокой задумчивости. «Застрели его, что стоишь, как столб, идиот!» – завопила Хомякова. «Не стреляй, Петрович, не надо!» – прокричали Валера и Анатолий.

Алексей Петрович постоял еще немного, потом повернулся и пошел домой. «Свяжите ему ноги», – молил Хомяков. Кто-то побежал за веревкой. Толпа волновалась и гудела. Тут полковник вернулся – уже без ружья, которое он, видимо, оставил дома. Алексей Петрович наклонился над Остапом и крепко ухватил его за рога. «Вылезай!» – скомандовал он Хомякову. Тот ослабил хватку и, убедившись, что мужчина крепко держит Остапа, поднялся на ноги. Шатаясь, он пошел прочь, за ним по-

ковыляла трясущаяся жена. Ее окликнули Валера с Анатолием. В руках они держали хозяйственную сумку, заполненную всякой снедью: тут были огурчики, хлеб, кефир, коробочка плавяных сырков, икра мойвы в майонезе. Из «Окуловских ведомостей» выглядывала полукопченая колбаса. «Сумочка вашего мужа! Оська, бандит, не дал ему покушать. Какой подлец, тварюга. Ну мы ему покажем!» Кулотинские алкаши восхищались Остапом как никогда.

## 12

Лунной ночью Анна Ивановна сидела на ступенях винтовой лестницы в восьмигранной готической башне. В открытое слуховое окно лился аромат цветущего жасмина. Мерцали звезды. Дул крепкий ветер, и лес вокруг замка таинственно шумел. Из флигеля доносились стоны Хомякова. Анна Ивановна, всхлипывая, утирала слезы. Рядом с ней сидел Семен Иванович. Он нежно обнимал ее, гладил прекрасные рыжие волосы, целовал руки и синий подол, упавший на чугунное кружево. Он ей говорил нараспев:

L'impur et fier epoux que la chevre desire  
Baisse le front, se dresse, et cherche le satyre.  
Le satyre averti de cette inimiti?  
Affermit sur le sol la corne de son pie;  
Et leurs obliques front lances tous deux ensemble  
Se choquent; l'air fremit; le bois s'agite et tremble<sup>2</sup>.

## 13

Машина была подана. Водитель вышел покурить. С наслаждением затягиваясь вонючей сигаретой, он разглядывал здание красного кирпича. Семен Иванович, запихивая чемо-

<sup>2</sup> Влюбленных коз супруг брадатый и зловонный  
Сатира поразить напряг свой лоб наклонный.  
Сатир, предусмотрев миг стычки роковой,  
Стал против, упершись копытною ногой.  
Наметились – и вдруг – лоб в лоб!  
Удар раздался – и воздух застонал и лес заколебался  
Андре Шенье. Пер. В. Бенедиктова

даны в багажник, рассказывал ему вкратце историю музея. Из флигеля медленно, словно под звуки траурного марша, вышли Хомяковы. Тетя Ася вела под руку хромящего мужа. Анна Ивановна несла за ними сумки. Владик сердечно попрощался с Петей. Неожиданно, когда Хомяковы уже уселись в машину и последние слова были сказаны, к замку приблизилась парочка – бородатый мужичок в шляпе и Остап, ведомый им на поводке. Хомяковы с каменными лицами захлопнули дверцы машины и подняли стекла. Они решили, что хозяин пришел просить прощения за Остапа. Но не тут-то было. Мужичок набросился на них с руганью, в его глазах стояли слезы. Он указывал на потертую, в ссадинах морду Остапа, грозил кулаком, кричал про суд и милицию. Таксист сел за руль, повернул ключ, но авто мистически не заводилось. Вдруг Остап наклонил голову и кинулся к машине. Хозяин еле его удержал. Хомяковы заорали. Таксист из окошка бросил Остапу бутерброд, на который тот, впрочем, не обратил внимания, и, матерясь, снова начал заводить машину. Вскоре она затарахтела и поехала. «Красавец!» – сказал таксист, взглянув в зеркало на удаляющегося Остапа. Посмеиваясь и качая головой, он врубил на полную катушку любимое радио. Такси мчалось по солнечной дороге среди вековых елей. «Белая стрекоза любви, стрекоза в пути...»

#### 14

Как только Хомяковы скрылись с глаз долой, Семен Иванович побежал в дом, Остап тихо подошел к своему излюбленному месту под окном Анны Ивановны и лег в кущи незабудок, а его хозяин примостился рядом. Зазвенел хрусталь. Воронин вышел, сияя, с бутылкой шампанского, Петя нес бокалы. Раздался хлопок, полился пенный поток. Все стали чокаться. Петя впервые пробовал шипучее вино с обильной пеной. Мужичок пригубил, но пить не стал. «Не для православных», – подумал он, но вслух ничего не сказал. Анна Ивановна побежала за водочкой, принесла ему полную стопку и нарезанную колбасу. «А вот у меня есть закуска!» – сказал мужичок, вытаскивая из кармана бутерброд таксиста. Увидев, что Остап нюхает бокал с шампанским, мужичок вылил ароматное вино в морщинистую черную ладонь. «Пей, Ося. Зачем ушел из дома? Зачем бросил

стадо? Соперников не любишь? Так ведь старый ты уже, Ося. Видишь, потеряли тебя мордой об асфальт».

### Эпилог

Зимой Марина Борисовна получила письмо от Юрия Хомякова. Он с радостью сообщал, что ценой кропотливого труда и бессонных ночей завершил, наконец, ее летний заказ. Далее была выставлена кругленькая сумма и приведены банковские реквизиты, на которые следовало перевести деньги, для того чтобы он, Хомяков, смог ей выслать работу. Сначала Марина Борисовна растерялась, она не могла взять в толк, о каком заказе пишет этот человек. А потом принялась хохотать.

Семен Иванович женился на Анне Ивановне. Они обвенчались в кулотинской церкви. На свадьбе гуляло много народа. Марина Борисовна подарила Анне Ивановне старинные серьги с аквамаринами. Старушка Ксения Павловна Ландграф, внучка австрийского подданного стекольного мастера Генриха Ландграфа, вручила Ворониным расписную керосиновую лампу и корзину, полную стеклянных пасхальных яиц. Яйца были гладкие и граненые: синие, красные, зеленые, белые, чайные, фиолетовые. Они волшебным образом сияли и лучились изнутри. Казалось, что в каждом столетнем яйце живет Огненный Саламандр.

Воронин увез семью в Бретань. Там Петя пошел в школу, встретил новых друзей и незаметно выучил французский. У Пети очень интересная жизнь. Он много путешествует со своим любимым Семеном Ивановичем, помогает ему на раскопках, таскает огромный рюкзак и, конечно же, станет со временем хорошим археологом. Анна Ивановна родила рыжую дочку Машу. Маша Воронина любит повеселиться, пляшет по-бретонски и учится играть на арфе.

Остап прожил долгую жизнь. Семен Иванович назначил ему пенсию, которая исправно выплачивалась каждый месяц. Вместе с хозяином Остап приходил за деньгами на почту – в деревянный синий дом со скрипучим полом и железными круглыми печками. В очереди хозяин всем рассказывал, что раньше Остап работал охранником в клубе, осуществляя фейс-контроль, а теперь на старости лет получает от благодарного хо-

зяина содержание. Остап терпеливо ждал его снаружи, слоняясь вокруг почты и заглядывая в окна с цветущей геранью.

Старику сделали руменотомию, достали ком полиэтилена из рубца. Остап стал спокойнее. Он не кидался больше на людей и машины. Он устрашал другим способом – просто вставал посреди дороги и стоял часами, как каменное изваяние. Прохожие его обходили, чуть не падая в канаву. Машины объезжали. Когда Остап приказал долго жить, хозяин сообщил Воронину, что «осень его жизни была теплой».

Дом Ворониных стоит на пустынном берегу. Холодное бурное море бьется о серые скалы. Кабинет Семена Ивановича завален стопками книг и мешками, в которых хранятся железяки, камни, осколки керамики. На широком письменном столе возвышается великолепный, до блеска отполированный череп с грозными рогами. Это Остап. Когда окна открыты, духи моря влетают с ветром в пустые глазницы и резвятся в гулком костяном алькове.

**Рина Гонсалес Гальего**

## **КОГДА ОТНИМУТ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ**

“Революционерка должна быть образованной. Нет никакой причины прекращать учиться. Знания тебе что, карман тянут? Это то, что останется у тебя, когда отнимут всё остальное.”

Так говорила мне моя сокамерница по Тюремному замку. За те несколько месяцев, что мы ждали приговора и этапа, она стала мне куда больше, чем просто сокамерницей. Но об этом дальше.

Откуда мне было привыкнуть читать? Отец мой был биндюжником, мать торговала всем понемножку. Я выросла на улице, бегала с ватагой мальчишек, научилась сразу давать сдачи и не лезть за словом в карман – не только на идиш, но и по-русски, и по-румынски. Лет с восьми мать начала брать меня с собой на базар, там я выучила цифры. Дома тоже не было особых политесов, рука у отца была тяжелая, но мать ему спуску не давала, могла и сковородой огреть. Братьев отец порол, в меня мог швырнуть что-нибудь, просто за то, что мусор не вынесен или печку нечем топить.

Когда у меня начались первые месячные, мать ударила меня, а потом приласкала и объяснила, что это такое поверье – быть женщиной больно и дай Бог мне не узнать боли сильнее, чем подзатыльник. Быть женщиной больно, запомнила я. Я выглядела не по возрасту высокой и крупной, отец каждый день пророчил, что я принесу в подоле. Мать бросалась защищать меня с криками “Если ты, неудачник, не заработал девочке на приданое, кому интересны твои майсы?” Соседки ехидничали, что свататься ко мне стоит очередь вокруг квартала и сплошь сыновья богачей и великих раввинов. Мне это надоело, и я стала искать работу. Вариант идти в прислуги отпал сразу. Не



для моего это характера. Моя работа в услужении окончится не успев начаться и вслед мне с проклятьями полетят сахарница или кофейник.

Удалось устроиться на табачную фабрику, набивать гильзы. Грамоты там не требовалось, разве что в ведомости расписаться. Это я умела – Не-ха-ма-Па-рип-ски. Жила в общежитии, уходила домой только на субботу – владельцы фабрики были евреи. Почти всю получку отдавала матери, даже как-то сводила ее в кафе на Ланжероне – там была пара кафе, куда пускали не только “чистую публику”. Она впервые в жизни попробовала мороженое, обильно поливая его слезами. Я гладила ее по седой голове и думала – ну почему всё так несправедливо.

Я посещала вечернюю школу для рабочих. Вот где было интересно. Больше всего я любила уроки Серафимы Николаевны. Про нее говорили, что она “из дворян” и “пошла в народ”. Я сидела на ее уроках едва дыша, боясь пропустить хоть слово, запоминала русский язык, такой непохожий на всё слышанное раньше. Копировала жесты, походку, манеру держаться. С вопросами после уроков подходить стеснялась – где она, и где я? Она сама попросила меня остаться после уроков и дала тоненькую книжечку стихов. После первых нескольких страниц обнаружили другие, отпечатанные на гектографе листки с параллельным текстом по-русски и по-немецки. Proletarier aller Lander, vereinigt Euch! – прочла я. “Нехама, ты знаешь и эти буквы?” – удивилась Серафима Николаевна. “Мне брат показал. Он наборщик” – выложила я всё как на духу.

Весной объявили всеобщую стачку, причем конкретно на нашей фабрике не было комитета и у владельцев никто ничего не требовал. Про себя я могу сказать, что я была на этой фабрике всем довольна. Но стачка есть стачка, и я осталась без работы и без заработка. Домой идти не хотелось, и я попросилась жить к брату Мееру, тому самому, который показал мне немецкие буквы. Я знала, что лишним ртом мне там быть не придется, потому что его жена Алта брала на дом всякое шитье и заказов у нее всегда было больше, чем она могла выполнить. Жили они на Молдаванке. Дома у них постоянно толпился народ, Алта была гостеприимной хохотушкой и в ее компании

хорошо шел даже пустой чай. Там я впервые услышала, что будет погром. Меер вступил в отряд самообороны.

Больше суток пьяная толпа с дрекольем и дубинами штурмовала квартал и наталкивалась на баррикаду из бочек, ящиков, телег и фонарных столбов. При их приближении каждая щель в баррикаде начинала плеваться револьверным и ружейным огнем, а поверх летели десятки булыжников. Мы с Алтой носили туда воду и еду, пока Меер не цыкнул на беременную Алту сидеть дома. Как потом оказалось, очень вовремя и очень правильно. Еще через сутки против еврейской самообороны двинули регулярные войска. Пара пушечных выстрелов разнесла баррикаду в щепки и в квартал хлынула толпа погромщиков – те, кто еще не опух с перепоя и держался на ногах. Как мы потом узнали, их поили водкой за счет государственной казны.

Меер и тут не остался в стороне, сцепился с каким-то бугаем, вооруженным нагайкой. Они катались по булыжной мостовой, а я подскочила и всадила погромщику под лопатку кусок доски с зазубренным краем. Всадила неглубоко, потому что он слез с Меера и повернулся ко мне. Я подхватила булыжник и припечтала ему по вывеске. С близкого расстояния было совсем несложно.

После того, как всё закончилось, начались аресты. В вечерней школе была облава и меня в числе других увели. Три дня я терялась в догадках, за что. В кабинете околоточного надзирателя, куда меня вызвали на очную ставку, всё стало на свои места. Там сидел городской в полной форме с роскошным фиолетовым синяком на поллица.

– Ну-с, Никифор Антоныч, опознаете? – спросил околоточный тоном, не предвещавшим мне ничего хорошего.

– Как не опознать, – всхлипнул Никифор Антоныч почему-то женским голосом. – Она, стерва жидовская.

– Так и запишем, – резюмировал околоточный, улыбаясь в прокуренные усы. – Нападение на представителя власти.

То, что в день погрома Никифор Антоныч не носил формы и занимался совсем не полицейскими обязанностями, я даже говорить не стала. Всё равно не поможет. И еще большой вопрос, обязана ли я чтить власть, у которой такие вот “представители”.

Так я оказалась в Тюремном замке. На свидания заключенных выводили в зарешеченное пространство, родственников запускали в такое же зарешеченное пространство напротив, а между был коридорчик, где прогуливался надзиратель. На единственное свидание ко мне пустили Меера и Алту. Меер хромал, но он был свободен, а это главное. Алта держала на руках сверток с младенцем. Она улыбнулась мне, показала глазами на сверток и крикнула “Нехама-Хая!” Нехама-Хая. Жива Нехама. Они не забывали меня, хотели, чтобы я жила. Узелок с передачей они мне тоже не забыли принести.

Первые пару недель меня продержали в большой камере на несколько десятков коек. Там моими соседками были карманницы, контрабандистки, сутенерши и торговки краденым товаром. Потом, когда из меня решили сделать опасную политическую преступницу, я оказалась в другом крыле Тюремного замка. В маленькой камере с одной-единственной сокамерницей. Звали ее Ида Штернгаст.

Ида напоминала мне Серафиму Николаевну – строгим черным платьем, часами на цепочке, которые у нее почему-то не забрали, волосами, уложенными в высокую корону, напевной размеренной речью. Только часто, слишком часто эта напевная речь прерывалась длинным, мучительным кашлем. Чахотка. Я знала, что такое чахотка, там, где я выросла, кто-нибудь ей болел постоянно. В тюрьме принято рассказывать друг другу свою историю, надо же знать, с кем судьба тебя свела. У меня заняло не более получаса, чтобы всё рассказать – про родителей, про фабрику, про школу, про Меера с Алтой, про погром. С тех пор я молчала и слушала Иду. Слушала, затаив дыхание.

Ида была дочерью богатого человека. Братьев у нее не было, только сестры – две старших и две младших. В их семье никто никого не бил, у каждой из девочек было по несколько платьев, кофе ежедневно пили со сливками и сахаром, а в гостиной стоял рояль. Я видела рояль один раз в жизни – на веранде ресторана летом в городском саду. Я недоумевала – зачем ей понадобилось убежать из такого дома, глодать черствую корку, скитаться по чужим углам и зарабатывать уроками. Зачем?

– Тебя хотели выдать замуж за постылого?

– Меня вообще хотели выдать замуж. Неважно за кого, лишь бы его и мои родители обо всем договорились.

– А ты?

– А я хотела учиться.

– Но ты же говорила, что к вам с сестрами ходили учителя.

Того, чему учили учителя – языкам и бухгалтерскому делу – Иде было мало. Она хотела сдать экзамен экстерном за курс гимназии – даже не женской, а мужской. Мало того, стала таскать книги из библиотеки отца – те самые, которые он изучал в синагоге в свободное от купеческих дел время. Вот этого уже не стерпели. Ида мало того что отпугнула всех свах от себя, так еще и портила шансы младшим сестрам. Кому нужна заумная гордячка, не желающая понимать, в чем женское счастье. Ида ушла из дома зимой, ушла в чем была, без пальто. Чахотка прицепилась к ней, уже слабой от недоедания и бесконечных простуд. Она не привыкла мерзнуть и голодать, но за возможность учиться и читать была готова отдать всё, вплоть до собственной жизни. В эсеры вообще идут люди, у которых есть вещи важнее собственной жизни. Для Иды это был уже третий арест, и светил ей уже второй срок.

Я и мечтать не смела о такой удаче – получить учительницу себе одной на целый день. Я была готова слушать Иду на любую тему, а она готова была отвечать мне на любой вопрос. Книги у нее были, сестры ее все-таки не забывали. Спали мы на одной койке, одетые – в камере было очень холодно. На тюремной подушке лежали рядом ее волосы – черные, с проседью в 25 лет – и мои, рыжие. Чахотки я не испугалась.

Ида получила восемь лет каторги, я – два с половиной и два с половиной ссылки. Я должна была отбывать наказание в Тобольском центральном и остаться в ссылке в Тобольске же. Ида должна была ехать дальше, в Акатуйскую тюрьму, в восточную Сибирь. По крайней мере на части этапа мы будем вместе.

Этапа пришлось ждать долго и тут к Иде зачастили визитеры, которых она совсем не ждала. Уже приговоренным свиданий не полагалось, но взятки решают всё в нашем богоспасаемом отечестве. У моей семьи не было денег на взятки, поэтому я получила только узел с теплыми вещами и записку от Меера «Все здоровы, мать молится о тебе, плачет»

«Здравствуй, отец», – спокойно сказала Ида, когда в нашу камеру вошел седой благообразный господин в пенсне. На коленях у нее лежали сразу две книги – одна на древнееврейском, одна на немецком. Я завернулась в одеяло с учебником географии, мне было все-таки интересно, что это за Тобольск такой, где мне предстоит жить пять лет. Но углубиться в текст не получалось, я не хотела подслушивать, но так все равно выходило.

– Нет, я не могу взять у тебя деньги.

– Ты не доедешь до места назначения в арестантской телеге. Ты слаба, ты не выдержишь.

Молчание.

– Отец, в этом твоя ошибка. Ты продолжаешь считать меня слабой. Я не тот человек, от которого угрозами можно чего-то добиться.

– Кто тебе угрожал?

– Ты мне угрожал. Отбирал книги, грозил лишить наследства. Не было этого? Всё, я уже не отравляю вам жизнь дома, уже семь лет, как не отравляю. Зачем ты сюда пришел? Эти мои товарищи. Они первые, кто увидел во мне человека. Что же, они поедут на телеге, а я на поезде?

Раздался какой-то странный хрип. Хуже нет, чем когда мужчина плачет.

– Если хочешь что-то для меня сделать, то одна просьба к тебе у меня есть. Вон у девочки семья на воле, а письмо передать некому. Нехама, садись, пиши.

Я написала. И сверху по русски: «получить Мееру Парипскому, типография Гальперина, улица Старопортофранковская».

Господин Штернгаст ушел, а я сидела, парализованная страхом, более ледяным, чем сибирская вечная мерзлота. Ведь до Акатуйской тюрьмы Ида с ее чахоткой действительно может не доехать.

За несколько дней до отправки на этап Иде объявили, что к ней придет раввин. Мы испуганно переглянулись. Неужели ее решили повесить, а ей забыли об этом сообщить? Несколько лет назад к стрелявшему в виленского губернатора Гиршу Лекерту пригласили раввина, хотя ни о чем таком Гирш не просил.

Я опять завернулась в одеяло, чтобы не подслушивать. Нудный мужской голос доказывал, требовал, настаивал, обвинял. Ида угробит родителей, она должна раскаяться, еще есть шанс, что ей заменят Акатуйскую тюрьму на ссылку в уездной город. Своей гордыней, своим никому не нужным умничаньем она причиняет боль самым близким людям. Раз уж не может выйти замуж и родить детей, как все нормальные женщины, могла бы остаться дома и заботиться о родителях в старости, вместо того чтобы связаться с политическими преступниками и стать каторжанкой. Мама, бедная моя мама... Этот человек даже не понимал, куда он наступил и как это больно.

– Ты почему улыбаешься?

– Улыбаюсь, потому что мне смешно. Единственное место, где я могу без помех изучать Тору, эта русская тюрьма. Вам разве не смешно?

– Лилит! Иезавель!

Ида засмеялась, смех перешел в кашель. Я отбросила одеяло и увидела, что она стоит лицом к стене, держась за нее, увидела красные брызги на ржавых кирпичках.

– Убирайтесь! – закричала я. – Убирайтесь вон! Вам больше ничего не удастся у нее отнять!

Правая рука, словно отдельно от всего остального, мельтешила в воздухе в поисках несуществующей доски с зазубренным краем.

\* \* \*

Ида действительно умерла на этапе, еще до Тобольска. Стогнала от чахотки. Нас, этапников, набили десять человек в крестьянскую избу. Я выцарапала ей место на лавке, сама легла рядом на пол, на рогожу. Она свесила руку с лавки и погладила меня по голове. А утром не проснулась. Поднесенное к губам зеркальце осталось чистым.

На погосте рыли могилы заранее, еще летом. Снегом их, конечно, присыпало, но снег хотя бы можно было копать. Я стояла около засыпанной могилы одна, слушала метель. У ограды погоста топтался караульный солдат, даже не смотрел в мою сторону, куда я денусь в такую непогоду. Я видела только сосульки на собственных ресницах, на прядях волос, выбившихся из-под

платка. Волосы по-прежнему были рыжие, как язычки пламени. Сибирская метель его еще не погасила.

Я всегда буду помнить Иду Штернгаст. Я буду помнить и тех, кто сжил ее со свету. Я никогда не забуду сотворенного ими зла. Как сказано в одной из ее книжек – если я нарушу эту клятву, пусть отсохнет правая рука моя.

**Лариса Ратич**

## **МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И ПРОШЛЫМ**

повесть  
(в сокращении)

Мою первую жену звали Светлана, вторую – величают точно так же.

Знаете, что самое интересное? Мои жёны – это двоюродные сёстры, в прошлом – нежные подруги, любившие повить дуэтом про «говорят, что женской дружбы не бывает». Да и не бывает, однозначно! И мужская-то дружба – на самом деле и не дружба вовсе, а что-то другое; у каждого – своё. Что же про бабулю «не разлей – вода» воздух сотрясать? Этого природа вообще не задумывала.

Свою первую жену я называл «Света-котлета», вторую кличу «Света-ракета». По-домашнему. Шучу, значит.

А они обе, не сговариваясь, изобрели для меня постоянное – «Карлуша». А как по-другому, ну не карлик же!! Я Карл Карлович, вот такое карканье; спасибо маме. Видите ли, в честь своего любимого обозвала меня так же. Карл у Клары украл кораллы.

В школе меня вообще Буратино дразнили, потому что я однажды ляпнул, что у меня папа – Карло. Да у любого язык закрутит, если отец – Карл Орестович!!! Я ведь, честно говоря, долго думал, что он – Карло Рестович...

А этот «Рестович» – такой неповторимый! – сделал меня да и смылся в свою Германию и адреса не оставил. Мама всю жизнь твердила, что «с ним что-то случилось, не иначе». Ах-ох!!! Потому что якобы не мог он так поступить. Блажен, кто верует!



Одна всю жизнь прокуковала, всё ждала. Кого, смешно же!!! Так и умерла, не дождавшись; так и не очнулась от «большой любви». А вот я – уже в пять лет понял, что Карлуша пропал навсегда.

Проще надо на людей смотреть, жизнь есть жизнь. Ну, отдыхал молодой интурист в нашей широкой стране; хорошо провёл время с наивной лимитчицей, недели три-четыре. Кажется, это была служебная командировка; а мама перепутала с медовым месяцем... Отдохнул товарищ – и большой привет!

А в результате родился я, обречённый бесконечно слушать, какой замечательный у меня был папаша, господин Альтман. У немцев вроде отчество не признают? Но какая разница: да здравствует Карл Орестович, раз уж мама так упёрлась. Но всё же меня записала на свою фамилию – Нестеренко. Вот так смешно! Как, например, Ромео Иванов.

\*\*\*

Я много зарабатываю, обожаю хорошо жить. О, нет-нет, не всякое такое «я люблю тебя, жизнь»! Я – другое: люблю жить в полную силу, то есть получать удовольствие от самого процесса. Очень ценю спокойствие. Поэтому «как я счастлив, что нет мне покоя» – из того же старинного шлягера – не про меня. Песенка-то плакатная, пропагандистская; для дураков. Я же хочу, чтобы мне всегда было легко и удобно. Предпочитаю не нервничать, не суетиться и не распыляться по пустякам. А это нетрудно: делай всегда только так, как лучше для тебя.

Но это к слову.

Я симпатичный, подтянутый. Никто и не скажет, что мне за сорок. Уверен, что и дальше буду такой же молодежавый. Агитировать не стану про не пить – не курить – со спортом дружить; это всё ерунда. Сам я не придерживался и не собираюсь. Повторяю главный секрет: живи в своё удовольствие, и только в своё. Если оно совпадает с чьим-то, то это не моя заслуга. И ни при чём тут любовь! – принципиально не приемлю это слово, туманное и обтекаемое.

Есть же более точные (а, главное, честные!) определения: интерес, тяга... Или, на худой конец, инстинкт или страсть! Вот это и есть самое верное, хоть и быстро проходит: такой себе

скоростной адреналин. И всё!!! Других видов «любви» не бывает. Например, родительская «любовь» – это простой страх остаться без потомства. Что, неправда?!

По профессии я адвокат. От клиентов нет отбоя! Я нашёл свою нишу, плотно её занял и не собираюсь никому уступать. Защищаю тех, кто хорошенько платит, и всегда работаю с гарантией.

В личном – тоже полное равновесие. Неважно, что у меня второй брак; никаких стрессов нет и не было. Вот вкратце: первая Светка – это дочка нашего ректора той самой «альма матер», которую я закончил в своё время. Она не была моей однокурсницей, вообще – училась не в папином вузе. Просто я её вычислил. Познакомился через ребят, которые её знали; закрутил роман с конкретной целью: жениться. Твёрдо и без недомолвок.

И женился! Это вообще как два пальца. Кто смел, тот и съел: только полный кретин не может увлечь девушку, пока она свободна от других симпатий.

Я оперился, набрался опыта. Так пробежало почти семь лет. Жили мы обычно. Правда, Светка иногда пыталась на меня «наехать», что, мол, я невнимательный и эгоист.

Ну, это наглость. Достаток есть? – есть. И рот закрой.

Были у меня и связи на стороне. А как без этого, если ты нормальный и молодой? Детей я не хотел, не хочу и не захочу: сначала, значит, расти их, трясись; потом – чем старше, тем проблемней. Кто же не знает? И неизвестно ещё, с чем к концу жизни окажешься.

Ну вот, прожил я со Светкой «номер один» эти семь лет, а потом папа-ректор взял и умер. А тёща заболела серьёзно.

Светка – давай хлопотать, возить, обследовать. Причём как с ума сошла: деньги пачками улетали. Так толку-то мало! Тёща слегла навсегда. А доколе это продлится – кто ж её знает. Оно мне надо?!

Я сразу съехал оттуда в мамину квартирку (вот как кстати умерла, ничего не скажешь!..), подал на развод и на раздел «совместно нажитого имущества», и пришлось Светке разминивать ректоровы хоромы и отдавать мне всё, что суд назначил. Уж я ли не в курсе, как всё грамотно повернуть? Все лазейки назубок знаю.

Так что я от развода только выиграл. А довольно скоро – ирония судьбы! – взял на работу в свою контору Светку номер два. Причём она сама мне позвонила: спросить, нет ли хорошего местечка «по-родственному». А мне как раз надо было найти замену одному помощнику, неожиданно сменившему город проживания: личное что-то.

Вот тогда-то Светка – номер два как раз и объявилась, как чуяла. Да она головастая, соображает на лету, только вот на старом месте с кем-то не сработалась. А что я – «бывший» её сестрички-подруженьки, так и что? Дружба дружбой, а табачок, как известно, врозь.

Взял я её, конечно. И не пожалел: кадр ценный. Я решил, что можно и жениться.

Поженились мы, и мои Светки сразу же люто возненавидели друг друга. Надо сказать, что Светка-два оказалась намного лучше первой: несравнимо более самостоятельная, а не размазня под папиным прикрытием. Даже новые тёща с тестем её немного побаивались, кажется.

Светку-два я тоже урезонил быстро (не ожидала, видно!), как только она попыталась изобразить из себя главу семьи. Ей тут же пришлось понять, что мы – хорошая преуспевающая пара, делаем общее дело; и это всё, от чего надо отталкиваться, строя наши отношения. Ну, если хочет нормальной семейной жизни.

И как я сказал – так и пошло. Иначе не ужились бы.

\*\*\*

– Где ты таких козлов находишь, Света?! Вечно как вляпаться!..

– Не преувеличивай. Этот – не такой уж и козёл по сравнению с другими. Хотя не лишён, конечно, тех же козлиных примет.

– И чем же он тогда лучше? Шило на мыло.

– Брось, Ирка, не завидуй. У этого денег – хоть отбавляй. И ещё немало заработает, у него на это «пунктик». А я помогу правильно потратить; чем не счастье?

Далее шёл «смайлик». На эту (конечно, взбесившую меня!) переписку своей второй жены я наткнулся совершенно слу-

чайно. Не имею привычки подглядывать-подслушивать, хотя и грехом не считаю; но тут – просто само вышло. А, значит, неспроста!

Был выходной, мы мирно сидели дома, каждый – за своим компьютером; и тут Светке позвонили, она и зависла. Любит перемигать косточки всем знакомым по случаю; было бы с кем потреться. Звонила Марго, самая большая сплетница в мире; и, конечно, менее часа Светке на неё было не потратить.

Жена, не прерывая интересное общение, ускакала на кухню сделать себе заодно кофейку, чтобы удовольствие было полным. А тут я подошёл взять бумагу у неё на столе, скользнул взглядом по экрану – и на первой же строчке присел: ничего себе!.. Подвигал курсор, прочёл и выше. Ух!!! Я, значит, дойная корова. Точнее, бык. И, может, уже с рогами?..

Первым желанием было, конечно, немедленно поставить нахалку на место. Но пока Светка увлечённо беседовала за стенкой, прихлёбывая кофе, я взял себя в руки и решил: подожду. Но какая стерва, а?!! Ведь мне-то вешает лапшу про чувства! Деньги, значит, – мой самый интересный штрих?!! Ах, ты...

Ничего, ничего. Сделаю вид, что и не подходил даже. Бумагу – быстро на место! Но теперь я буду следить за всей её перепиской. Благо, у аккуратной супружницы – всё по полочкам: вот они, пароли доступа, записаны в тетрадошке. Я мгновенно их переписал и похвалил себя. Отныне я буду знать всё, а не жалкие полразговорца.

Через полчаса Светка наболталась, а я – окончательно успокоился, и она вообще ничего не заметила. Уселась и продолжила, как ни в чём не бывало. Отлично!

...Рано утром, около пяти часов (Светку в это время мог разбудить только атомный взрыв) я быстро зашёл в интернет и пролистал всё. Эх, жаль!.. Чисто! И вчерашней переписки – нет и следа. Наверное, всегда удаляет?

Ничего! Я всё равно придумал, хоть и сушил голову целый день. Решение нарыл я гениальное, даже засмеялся от удовольствия! Пришлось, правда, хорошо заплатить, но зато я теперь буду получать на свою почту копии всех её переписок за день! – это я нашёл одного сообразительного парнишку в ком-

пьютерном клубе, дал ему Светкины пароли и посадил на постоянный «оклад». И всё, большой привет! Остальное – дело техники, в которой юноша понимал не хуже, чем я в своём адвокатском деле.

Прокол может быть только в том случае, если Светка меняет пароли. А с чего их менять? Умный я, вот что. Эх, жаль, что телефонные разговоры так не проследишь!

Внешне – между нами ничего не изменилось. И я был даже рад, что подсмотрел. Воистину говорят, что настоящее значение события не всегда понятно сразу: ты думаешь, что это минус, а это плюс. Да ещё какой!

Правда, в её переписке – почти не было ничего интересного, чепуха и шелуха; но сам факт, что всё знаю, доставлял немалое удовольствие.

\*\*\*

Если Светка время от времени писала подругам, что она меня «слепила из того, что было», то и я – мог сказать то же самое.

Жена – это вывеска мужа, и мне пришлось в неё немало вложить. У меня бывали и деловые выезды, и встречи; а Светка (я её сделал теперь своим доверенным лицом) часто сопровождала меня. И тут «работало» всё, что я проплатил: новая улыбка от лучшего стоматолога (ох и дорого!!!); золото в ушах и на руках; хороший деловой прикид; стильная причёска, макияж...

Вот отдельную машину – личную, её заветную мечту – приобретать не стал, это перебор. Ведь по делам нашей конторы мы ездим вместе, а если ей самой куда-то быстро надо, то существует такси. Мы ж не нищие!

И, хотя она пыталась поколебать меня слезами (даже, разозлившись, кричала, что тогда сама, раз я такой скупердяй, накопит на «тачку»), я не отошёл от первоначального решения.

И надо ещё сказать, что я не отбрасывал мысль и о разводе, мало ли! А как тогда будем имущество делить, если машина – «подарок»? Я до копейки прикинул, как будет: какую взял, такую и вернул.

\*\*\*

...Недавно я увидел по ТВ сюжетец – пальчики оближешь! Для сентиментальных баб – подарок на полгода, чтобы слюни со слезами смешивать.

Светка сидела рядом, тоже смотрела. Я хохотал, а она молчала, ни слова. А потом, когда пошли титры, вдруг вижу: носом зашмыгала.

– О! А что так? Птичку жалко? – съязвил я, а она взорвалась:

– Козлы вы все! Козлы, козлы, козлы вонючие!!

Светка разозлилась не на шутку:

– Что ты скалишься, ну вот что?? Весело тебе, да?! Весело?! Женщине в принципе – любой женщине! – ничего не надо, кроме любви! Люби её, она солнце с неба для тебя снимет и на тарелочке подаст! Козлы, козлы бесчувственные!

Короче, одно только на уме: «любовь» и «козлы».

– Хватит, надоело! – скривился я. – Сама-то любить умеешь, праведница? Тебе только деньги мои надо. Думаешь, не знаю?

– Что в тебе страшно, Карл, – вдруг медленно сказала она, – так это то, что ты вообще не ведаешь сомнений. А кто не сомневается, тот мертвец.

И всё. И пошла в ванную. Сейчас выйдет, вся такая за-ткнувшаяся (минимум до утра); мордой – в стенку, и спать. Наказала меня, значит.

Напугала ёжика голым задом!

\*\*\*

Через неделю меня ждал большой сюрприз.

Вечером я прибыл домой уставший, вымотанный, как никогда. Дело попало непростое, пришлось напрячься. Потребовалось максимально включить личные связи, встретиться кое с кем с глазу на глаз; где поднажать, где попросить. Тут помощникам поручать – напрасно.

Но оно того стоило, конечно.

Приехал, значит, я домой в тот вечер измотанный, даже охрипший (провёл четыре встречи!!!), а тут – жёнушка с лицом Джоконды, отравившейся слабительным.

Спасибо хоть, что не с порога начала, а сначала подала ужин. Я немного передохнул; отпустило.

... И вот он, сюрприз. Киндер-сюрприз, гори оно всё! Мол, беременная!! – И что? Проблемы?!! – взорвался я. – Зачем вообще мне это сообщать?! Сходила, сделала, полежала – и всё!

– И других вариантов, я так поняла, ты вообще не рассматриваешь? – глухо спросила Светка.

– Каких других?!! Я тебе раз и навсегда всё давно объяснил!

– Но это же убийство, ты пойми! – она глядела смиренно, почти умоляюще.

– Чего ты добиваешься? – зло выкрикнул я. – Честно и прямо! Ну?!

– Честно и прямо – хочу родить, – потупилась она. – Мне ведь лет уже... Нового шанса не будет, чувствую. Не хочу одна жить...

– Так... Значит, со мной – это одна? Здорово. Распрекрасно просто. Я уже вроде табурета?!

– Нет-нет, – виновато зачастила она. – Понимаешь, я вдруг подумала. Что если... если... Если сделать то самое, это будет тяжкий грех.

– Ну и что, раньше не делала, ты хочешь сказать? Вот только не лепи из меня школьника.

– Делала, не отказываюсь. Но давно, и один раз, и с тех пор была уверена, что неспособна, и вдруг такое!..

– Вот тебе и здарьте! – скривился я. – Назови ещё меня садистом! Хватит ломать комедию на пустом месте. Поняла? Если хочешь оставить ребёнка – так это без меня. Ни копейки не дам!!!! Ты хорошо поняла?!!

– Да уж, – она надула губы, собралась реветь.

Плевать, пусть хоть зальётся.

– Правильно сестра говорила, что ты не человек, а станок для печатания денег.

Ух, наглая. Обе наглые!

– А ты, значит, белая и пушистая, причём регулярно летаешь?!

Но она уже развернулась спиной и выходила из кухни, но по дороге обронила, как припечатала:

– И духовной инфляции тебе не избежать...

– Ой-ой, как страшно!

Я догнал её, резко развернул – а не надо такие коленца выкидывать! Отлично знает, как меня бесит эта её привычка сказать гадость и уходить!!! – и отвесил ей хорошую оплеуху. Она так и влипла в стену, а я проорал прямо в её бесстыжие глаза:

– Запомни! Мне! Диктовать! Нельзя! Нель-зя!!! Ни-ког-да!!! Я сказал – а ты слышала!!! Поступишь по-своему – ты тоже слышала, как будет!!!

...Я вернулся в кухню и проторчал там до глубокой ночи. Выпил от злости немало, но даже не запьянел, а только сильнее разъярился. Потом резко захотел спать, добрёл до кровати и свалился кулём.

\*\*\*

Светка эту тему больше не поднимала. Когда и что она проделала – я не спрашивал. По моим наблюдениям, поступила умно. Денег на аборт не просила, так у неё же и свои средства есть. Уж на это дело хватит, я прекрасно знаю цены. Мои «левые» подруги иногда говорили про свои «залёты», и я им не отказывал, давал сумму. Я мужик или кто?!! Умею отвечать за свои действия. Поэтому и считают порядочным.

Я загрузил Светку работой в конторе, даже пообещал «премиальные» за старание. Она даже вроде обрадовалась.

А потом ещё и сказала, что я, в общем-то, прав. Ну, наконец-то дошло. Заодно и урок хороший получила.

Тут опять подоспело прибыльное дело. Я особенно любил, если работа возникала творческая, если нужны были приличные усилия, чтобы исхитриться и запустить процесс по нужному руслу, пусть и не... как бы это точнее сказать, не очень законному. Но тем интереснее! Любой каприз – за ваши деньги. И чем труднее, тем дороже. Деньги не пахнут. И чем их больше, тем вернее они не пахнут.

Мои цели однозначно оправдывали средства, к тому же вера в свою ловкую и хитрую силу – ощущение непередаваемое.

А это новое дело было о наследстве, что я особенно предпочитаю. Ведь тут ходов и вариантов – как в многоэтажном лабиринте; и столько же выходов, сколько тупиков. Найти надо



самое лучшее для клиента решение, самое выгодное положение. А у меня – говорю объективно – гениальность, а не просто талант. Судя по очередям ко мне и результатам – я верно себя оцениваю.

И это подвалившее дело должно было в итоге привести к тому, чтобы истец получил полдома и смог его продать. Получил бы как наследство после умершего отца, всё логично. Загвоздка заключалась в мамаше заявителя, которая, тоже вполне законно, после смерти супруга стала единовластной хозяйкой этого самого дома. А взрослый сын, давным-давно живущий отдельно, мог наследовать только после неё, так выходило по завещанию.

Но сын ждать не хотел. Мало ли что там по завещанию! Можно понять? – ещё бы. Молодой ведь, планов громадьё.

Я ему сразу объяснил, что в самом лучшем случае он сможет выгрызть себе только половину дома. И это я смогу провернуть. Но сына такое не устраивало, он хотел весь дом, и за это готов был пободаться.

Ну что ж, мамаша пожилая и на подъём тяжёлая; можно просто состряпать нужные бумаги да и подсунуть ей в удобный момент. Она же не ждёт никакого подвоха, это в данном случае – только плюс. Ни сном, ни духом, так сказать. Вот умер муж; она погоревала да и стала доживать себе тихо в родной хате. Всё, мол, своим чередом. Сыну так и говорила:

– Алёшенька, как меня схоронишь – всё твоё будет. Недолго уже, чувствую.

Но сынку не терпелось, видно. Что там у них не клеилось – но моё дело, я особо вникать не стал, но сын решил отжать домик прямо сейчас.

И я рассудил здраво: буду «доить» клиента до последнего. Выгорит – хорошо; а не выгорит – так мне за долгие хлопоты всё равно полагается огромный куш.

Взялся я как следует, старушка сопротивлялась вяло, однако от обиды решила всё-таки не сдаваться; наняла и себе адвоката. Я его как раз неплохо знал, мы встретились и обсудили ситуацию. И, конечно, договорились: он раскручивает мамашу, я – сыночка (до тех пор, пока у них хватит сил и средств). И будем друг друга держать в курсе, ведь обоим выгодно.

Так делают гораздо чаще, чем вы думаете. Ну, а кто виноват?! Пусть сами за свою глупость платят, а нашему брату-адвокату – всё на пользу и на хлеб с маслом.

... Закрутилось, понеслось. Бабке и надо было всего-то перетерпеть четыре заседания, и дело в шляпе. Выходило всё-таки по её! Нервы, конечно, поистрепала бы, не без этого. Но дело обычное!

Конечно, ничего этого я сынку разжёвывать не стал: я работаю – он надеется; я напрягаюсь – он платит. И больше ничего. Всё согласно договору. Я как престижный бренд, беру строго по чину.

Но, видно, сынок был по жизни везучий. То ли его кто недоумил, то ли сам дошёл, но решил он родительницу психологически задавить. Начал он прямо с первого заседания: отвечая на вопросы судьи, ответчицу упорно матерью не называл, а только по имени-отчеству: Любовь Михайловна. Так мало этого, он и к ней самой точно так же адресовался. И на «вы».

Что с бабушкой сделалось, не описать! Я сразу оценил, каков сукин сын. Ловок, психолог! Мамаша тут же скисла, глаза на мокром месте, руки трясутся:

– Алёшенька!.. – залепетала. – Какая я тебе Любовь Михайловна, я же тебя родила, сыночек... За что гнобишь, куда тебе дом?.. Ну, продашь, а я как же буду, подумай?.. Где?..

А он и бровью не ведёт, молодец. Вежливо так, настойчиво, с железными аргументами: «Вы, Любовь Михайловна!»

«Вы» – и точка.

Короче, на третьем заседании – бабка не выдержала: схватилась рукой за грудь, судорожно смяла кофтенку, охнула: «Сыно...» – и рухнула. Обширный инфаркт; похороны-поминки.

Сыну достался весь дом, мне – гонорар. Тут случай дело выиграл, а не я. Но уговор дороже денег, не так ли?

\*\*\*

После такого удачного дела решил я устроить себе отпуск. Светке объявил, она обрадовалась, начала хлопотать насчёт путёвок.

Когда уже с поездкой всё решилось, вещи были собраны, дела распределены, и вообще всё-всё-всё подогнано и приглажено в виду интересного отдыха, мне позвонила «бывшая».

– Что, миленький, тебя можно поздравить с прибавлением?  
– С каким прибавлением? Что, головой ударилась?  
– С каким?! Не знаешь?! Ой, не могу!.. С наследником тебя!  
Светка-то беременная, пятый месяц. Ну, что молчишь?  
Я в ярости бросил трубку. Что такое, откуда?!  
Еле я дождался благоверную. Как только пришла – я сразу  
в лоб:

– Говори, а то придушу!!!

... Вот оно как! Нет, не сделала, а теперь – сроки вышли.

Всё, влип.

Ну, нет. Это она влипла!

Я абсолютно спокойно – сам удивился! – велел ей уматывать.

Пока она бегала по квартире, я позвонил туроператору и отменил одного туриста, то есть супругу. Вернусь – оформлю развод на три щелчка.

На другое утро я уже летел в заветный отпуск один, довольный и свободный. Светку я вычеркнул из своей жизни сразу.

\*\*\*

Отдых задался сразу. Время пролетело незаметно, что и является признаком полного душевного покоя. Я воспринял это как некий момент перехода в новое качество жизни, которую собирался любить и дальше, но уже опять свободный.

Вернулся, значит, я домой, а Светки – как и не было никогда, и это правильно.

Я не хотел Светку больше видеть (мысль о том, что она беременна, вызывала брезгливость), поэтому поручил заняться моим разводом по доверенности одному из коллег. Светка, на удивление, никаких возражений не выдвигала, не звонила, ничего не требовала, и всё прошло гладко: вот оно, свидетельство о разводе.

Интересно, что теперь? Если запишет меня отцом, то по закону будет права. Но я не стал заранее волноваться, а жил как жил.

И вот скажите, что не бывает ясновидения! Мне потом передали, что Светка разродилась неудачно, чудом осталась жива, но ребёнка спасти не удалось. Ну и всё.

У меня же как раз – просто повалило одно выгодное дело за другим; успевай только поворачиваться. В конторе на место Светки быстро нашёл отличную помощницу, Евгению, и мы прекрасно сработались.

Она настолько понравилась мне деловыми качествами, что я взял к себе и её мужа, посадил его разгрести бумажки. Но Евгения была очень благодарна и обещала «не забыть добро». Она так впряглась в работу, что я просто ахнул.

И, что самое ценное, с появлением Евгении – я разгрузился окончательно. Про Светку-номер два время от времени доходили слухи: она с кем-то сошлась. На здоровье.

\*\*\*

Почему возникла в моей жизни Наташа, я и сам не понял. Именно возникла, по-другому и не скажешь.

Было так: однажды моя новая помощница Евгения подошла с просьбой. Я сначала подумал, что снова хочет кого-то из родных пристроить.

Но Евгения просила не это:

– Моя троюродная сестра хотела бы узнать, как лучше поступить.

Она кратко обрисовала ситуацию: сын сестры получил большую травму по недосмотру учительницы. Сделали мальчишке срочную операцию. Не бесплатную, но удачно. Наталья хотела узнать, можно ли вернуть деньги за операцию.

Ха! Не только возможно, но вообще не составит труда. И деньги вернуть, и посадить учительницу вместе с директором.

Выяснилось, что Наталья – рохля...

– Пусть она придёт сюда. Объясню и помогу.

Я пообещал, весьма неожиданно для самого себя:

– Бесплатно.

... Наталья явилась на следующее утро. Как я уже говорил, возникла. И я прилип к стулу. Красавица? – не знаю. Но глаз оторвать я не мог. Передо мной стояла женщина средних лет, невысокая, очень хрупкая, просто фарфоровая. Беленькая, похожая на лилию. Только как будто слегка поникшая от долгого стояния в несвежей воде. Прозрачные озёрные глаза, густой румянец смущения до самой шеи, и голос – редкого тембра и уди-

вительной красоты; неожиданно низковатый, бархатный, богатый такими интонациями, что... Короче, мне чуть худо не стало.

Выслушал, вникая в каждое слово. Она хотела только материальной помощи от школы. Я же развернул перед ней широкий план вполне законной мести. Но она отшатнулась:

– Мне такого не надо; как жить потом с этим, что вы?!! Поймите, ведь у той женщины тоже дети!!! Она же не нарочно, как же можно...

Пришлось ей даже водички налить, уговаривая, что можно и по-другому... Такого «клиента» я видел первый раз в жизни, клянусь. В конце концов, она просто начисто отказалась от каких бы то ни было действий, потому что, видите ли, «пострадают хорошие люди».

Выпроводил я её и задумался.

Очень, очень мне захотелось ей угодить. Я завёлся, всё хорошенько выяснил и передал ей через Евгению, что нашёл выход, при котором никто не пострадает.

Мы вместе с Натальей составили бумагу, по которой вышло, что мальчик сам полез, никто не просил. Ещё я подсуетился через «своих», и вскоре Наталью вызвали получить деньги, все до копейки. Она ко мне прибежала радостная:

– Вы лучше всех!

Что и требовалось доказать.

Через три дня позвонил ей с приглашением в ресторан, и она смущённо спросила:

– А можно, я приду с сыном?

Для первого раза это даже лучше. Я великодушно предложил взять и мужа! Я пошутил, а она обрадовалась:

– Ну, это вообще здорово!

Вот бред. Но сказал «а», говори и «б».

– Да-да, все приходите!

Идиллия, застрелиться можно.

\*\*\*

Но пришла она только с сыном. Торопливо пояснила:

– Извините, Карл Карлович... Муж у меня некомпанейский. Надо же, а мужичок-то непростой.

А мальчишка (его звали Никита) мне ничуть не помешал. Минут через двадцать Никита попросился уйти. И наконец-то мы остались вдвоём, чего я, собственно, и добивался. Наталья немного выпила, расслабилась. Вино оказало благотворное действие, сняв так не идущую ей зажатость, виноватость.

Есть люди, которые всегда чувствуют себя виноватыми. Как правило, такое поведение – результат длительного психологического давления, и я прекрасно понял, что давил на Наталью именно муж.. Супруг Натальи был, как он сам настаивал, «мужик на все сто». Он чётко делил все дела на мужские и бабские, и ехал только по этим рельсам. Твердолобый дядя.

Упускать Наталью я не собирался. Чем, чем она меня взяла?!

То, что она не любит своего благоверного, просматривалось как на ладони. Некого там любить и не за что. А она-то решила, что я такой распрекрасный...

И – верьте иль не верьте! – ни за что не хотелось мне, чтоб она поняла наоборот. Я подумал: пока я по ней сохну, можно и подыграть.

\*\*\*

И мы начали перезваниваться. Как-то в одном разговоре я аккуратно выяснил, не ревнует ли муж к моим звонкам. Она ответила, что он якобы не ревнивый.

Да бросьте, ревнивый наверняка. Просто Наталья настолько не вызывает подозрений, что... Наши беседы становились всё более непринуждёнными, даже с философским уклоном. С ней было интересно поговорить, что нечасто бывает, когда «дружишь» с такими намерениями, как у меня.

Что у меня к Наталье? – страсть, обычная страсть. Правда, очень сильная.

Ведь что теперь мне нужно? – достичь цели, без этого никак.

Я потихоньку подбирался к тому, чтобы опять пригласить Наталью куда-нибудь поужинать. Отбить женщину с такой историей – проще пареной репы. Но только надо очень аккуратно; тут не только каждое слово, но и каждая пауза – в зачёт.

Итак, в семье Наташи – с её стороны – было отношение ровного стола. Так примерно я для себя определил. То есть она

была хорошая жена и рачительная хозяйка, но только потому, что так надо. А раз надо – то соблюдается точно, как прописано, как принято. Но на этом – всё.

Можно наверняка сказать, что Наташа давно решила для себя, что «внутренняя» её жизнь – это только личное, тайное. От неё требовалось лишь внешнее, и тут она была отличница. Видно, на том и остановилась.

\*\*\*

И мы всё-таки стали близки. Это мне стоило почти года усилий, но я своего добился. И понял, что не могу без неё. И, возможно, никогда не смогу. Вот не просто так – довёл до постели и доволен, нет! Я всё-таки, как ни странно, полюбил?..

И был счастлив. Я просто по-другому стал дышать. И получилось это взаимно, иначе у меня ничего бы не вышло.

Но с этим надо было что-то делать. Её муж не знал и не догадывался, но надо было решать, а не просто потихоньку встречаться. Мы теперь хотели быть вместе. И неважно, как дальше сложится. Ведь если с ней – это и есть сама жизнь! Вот в какой переплёт я попал, а радовался, как несмышлёныш.

Я очень осторожно стал вести разговоры-намёки, как трудно жить, скрывая что-то. Дескать, хочется нормальной свободы поступков, а не бесконечной оглядки.

Она сразу – я видел! – обрадовалась:

– Правильно, Карл. Если бы ты не заговорил наконец про это, мы бы не смогли дальше быть вместе. Сил нет врать, до того тошно...

... И всё как-то сразу вдруг решилось: она переехала ко мне, забрав Никиту. Конечно, пережила неприятную сцену, когда мужу сказала. Ведь произошло самое неожиданное: этот пень вдруг воспылал нежными чувствами, плакал, клялся.

Да придурился он, что тут гадать! Зная Наташу, он отлично сообразил, что такая тактика – самая верная.

Но сына почему-то отпустил без эмоций, даже не поговорил с ним. Не спросил пацана ни о чём! Хочет ли тот к новому папе или нет... Что это?! Дешёвый спектакль разыграл, а Наташа – дней десять ходила как в тумане. Я боялся, что заболит. Вот уж вместе мы, живём-поживаем, а она как приговорённая... Однако постепенно начала успокаиваться.

Но с официальным разводом – дело застряло прочно: бывший умолял этого не делать, был согласен на всё. Мол, живи, с кем хочешь, но только не разводись. И было очевидно, что тогда впереди – развод через суд. А пока муж всё оттягивал, так как верил, что Наташа «натешится и вернётся».

... А я не знал, нужен ли мне её официальный развод. Дело разве в этом?! Она со мной, остальное – детали. Но вот Наташа в принципе не выносила, если было что-то «неправильно». Никита – тот на удивление быстро прижился; да и то: папаша ему даже не звонил. Я не удержался, спросил: что, батя такой равнодушный? Сын же всё-таки.

– А он ему не родной, – буднично ответила Наташа.

Я даже присел! Вот это тихий омут...

– Как так?!

– Да вот так. Он меня уже с ребёнком взял.

– Ты что же, была до него замужем?

– Нет.

И Наташа объяснила:

– Понимаешь, Никита – сын моей младшей сестры. Ну, как говорят, ветром надуло... Однако ей не повезло не только с этим, она умерла при родах. Ну и всё. А кроме меня – у новорожденного никого не было, наши родители давно умерли. Могла ли я допустить, чтобы мальчика в детдом забрали?

Теперь хотя бы ясно. Впрочем, это и к лучшему.

– Ну ладно, – спросил я. – А муж твой, если тебя с Никитой взял, любит его, наверное?

– Не знаю, – задумчиво ответила Наташа. – Он к нему всегда ровно относился.

– А Никита? Папой звал?

– Да, – кивнула Наташа. – Мы мама-папа. Но мальчик всегда знал правду, мы так решили. Потому что потом всегда найдутся доброжелатели...

– И что же, по большой любви, значит, поженились? – съязвил я, почему-то разозлившись.

– Нет, не думаю, – не обиделась она. – Правда, он за мной немного поухаживал, но, в общем, всё было неромантично. У нас с сестрой имелась лишь комнатка в коммуналке, крохотная. И соседи-скандалисты! Мы там с рождения жили, вроде и при-



выкли, но... Пока родители были с нами, имелась защита, что ли. А как сами остались, тут и началось; а потом – Никитка. Крошечный, кричит всё время... Я же – после похорон сестры... Вспомнить страшно. Вот тут Коля и появился, когда я с малышом гуляла: помог коляску в подъезд занести, там ступеньки. Слово за слово, познакомились. Я ему взяла да и рассказала, как и что. Видно, уж очень устала чего-то. Вот он и начал заходить, предлагал помощь; потом позвал замуж – я и пошла. Ни чего интересного.

– А комната? – не унимался я.

– Продала, куда ж её... Тем же соседям и продала, они спали и видели! Да и то, их же пятеро во второй комнате. Тут взвоешь!

Поговорили, в общем.

\*\*\*

... Месяца через два Наташа меня спросила:

– Карл, а ты почему про развод больше не спрашиваешь? Что, совсем не интересуется?

К тому времени мы уже, как говорят, притёрлись, и я был доволен и спокоен. Трудился с интересом и большой отдачей, денежные дела так и плыли сами ко мне в руки. Наталья по-прежнему работала в своей аптеке, Никита – ездил всё в ту же школу, не захотел переходить поближе. Идиллия, да и только. Так мне казалось. А развод?... Да меня и так всё устраивало, зачем брать в голову лишнее.

Ясно, что упрямый Николай по-хорошему развод не даст. Конечно, можно обойтись и без его согласия, но это – немалая возня. Может, сам передумает, наконец? Лучше всего было подождать, не тратя напрасно нервы. Наташа молчала на этот счёт; так мне-то чего суетиться?!

И вот теперь – спросила... Ну, раз так, – давай обсудим! И я откровенно сказал, что думал:

– Слушай, ну не хочет он по-хорошему, так и плевать. Живём и живём; не в бумажке же дело. Главное, что вместе.

– Но ведь... – она растерянно теребила край скатерти. – Ведь мы же хотели... настоящую семью. Или я не так поняла?..

Вот, приехали. Баба есть баба. И что надо? Живут у меня, как сыр в масле катаются. Я в ней души не чаю. Что ещё не так?!!

– Наташа! – повёл я решительно. – Давай, в самом деле, окончательно решим. Нам же с тобой, в принципе, так даже лучше и максимально выгодно! Не хочет твой благоверный – и не надо, прекрасно! Сама посуди: если с ним что-нибудь случится, то ты – законная наследница квартиры и всего остального, что в ней есть. Законная!! Улавливаешь? Это я тебе говорю как адвокат. Будешь в порядке! А разводная – ты никто и звать никак. Ведь его квартира была приватизирована до тебя, поняла? До вашей женитьбы.

... Она смотрела на меня так, как если я был не я, а скажем, дракон, изрыгающий пламя.

– А почему, Карл, – спросила она дрожащим голосом, – с ним должно что-то случиться? Да и вообще, мне и в голову не приходило...

Тут я взбеленился:

– Ну, что вообще?!! Да хватит, наконец, жить в выдуманном мире! Жизнь – она намного проще, чем ты воображаешь; уж я-то точно знаю!

– И предлагаешь поверить тебе на слово, как хорошему специалисту? – перебила она, странно блестя глазами.

– Да, и это тоже! Что не так? Бумажки с печатью не хватает тебе, я так понимаю?! И вообще, я смотрю, ты что-то не собираешься хотя бы имущество с ним поделить для начала, такая вся потусторонняя и отрешённая! Знаешь, всему есть предел; мы живём вместе, но я же не благотворительная организация!!

... Зачем я это орал, – вот не знаю... А она выслушала и вообще ничего не сказала.

А дело, наверное, было в том, что Наташа с Никитой стали меня раздражать. И я уже невольно думал: всё-таки хорошо, что мы не в официальном браке. Любовь-то, может, и есть; но наверняка не бывает, чтоб она не кончалась. Наташа по-прежнему меня волновала, но... Мне, честно говоря, гораздо легче и проще было со своими Светками. С ними – я оставался какой есть, а с Наташей – всё время приходилось сверяться, так ли я говорю, да в каких выражениях, да не веду ли я себя недостойно. И прочая чепуха!

Так ведь я, значит, опять оказался абсолютно прав: то, что меня «накрыло», – это просто страсть. Да, сильная. И да, раньше такого никогда не было. Ну и что? Что?!! Мало ли как в жизни случается. Я заметил, что начал буквально вслушиваться в каждое её слово. И всякий раз невольно отмечал: она не от мира сего. Что есть, то есть. И Никита – такой же, один в один. Хоть я с ним практически не разговаривал (а зачем?), но понял прекрасно, что никаких отличий. Он тоже – как глянет, так сразу неуютно становится. Неприятно, что говорить. Однажды ни с того ни с сего он спросил меня:

– Скажите, а вы маму на самом деле любите?

Я прямо оторопел. Во-первых, не его, сопляка, дело. А, во-вторых, я вообще не собирался ему это объяснять. Даже Наташа никогда не спрашивала. Или спрашивала?.. Не помню.

И я ответил, что ТАКОЕ – сразу видно, а спрашивать – лишнее, чего зря языком молоть.

– Человек должен знать, что его любят. Знать, а не догадываться! – строго заключил Никита.

Смотрите-ка, он ещё меня поучать взялся?! Я отшутился, хотя внутри всё заклокотало. Что за намёки?! Такие личности, как он и Наташа, ничего просто так не произносят. И это тоже бесит, бесит, бесит!!!

Вот и тот мутный разговор, когда я вопил про её наследство, тоже словесного продолжения не имел, но он стал началом конца. А я ведь почти сразу пожалел о своих словах, но что толку? А, может, и хорошо?.. Рано или поздно, а прорвалось бы, раз уж я начал ловить себя на таких мыслях. И чего тянуть, какой смысл? Ведь по-старому всё равно уже не будет.

\*\*\*

Я угадал: по-прежнему уже не могло быть однозначно. Наташа – в своей отрешённой манере – через два дня, помыв посуду после ужина, сказала почти спокойно:

– Карл, спасибо за приют и заботу; а теперь мы с Никитой уезжаем.

Я, признаться, ждал чего-то подобного; но так буднично, почти без эмоций... Да и куда? Неужели Николай всё-таки дождался?

– А!! – вспыхнул я. – К папе Коле, да?!

– Нет, – она медленно вытирала руки. – Николай – это прошлое.

– И я прошлое? – передёрнуло меня.

– Да. И ты. Я сейчас между прошлым и прошлым, и это надо менять. Хотя бы ради сына: ему нужно настоящее и будущее.

– Слушай! – возмутился я. – Но ты можешь хотя бы уходить как-то более естественно, что ли?! Что ты строишь из себя Деву Марию во плоти? Самой-то хоть не противно? Ты же обычная! Была бы красавица неземная, так хоть понять можно эти выверты... Ну, зацепила меня, ну, было у нас нечто! Так теперь-то что?! Что ты с подиума никак не сойдёшь?! Чего ты виноватого из меня лепишь, чуть ли не подлеца?! Дескать, ты уходишь в никуда, а я... В степь, что ли, собралась?

Всё это я орал ей в затылок, потому что она, почти не обращая внимания (но волновалась, я же чувствовал!), быстро собирала вещи. Ей помогал Никита. Тоже без единого звука. Ну, семейка!..

Как пришли – так и ушли: два чемодана и сумка. Лишь в коридоре на столике остались ключи.

\*\*\*

Что теперь сказать, не знаю. Прошло уже три года, а я до сих пор не могу точно обозначить словами: а что это было? И, главное, зачем?!

Куда они уехали, я не знаю. Один раз только Евгения обмолвилась, что, мол, «Наташка, дура набитая, начала новую жизнь». А я ничего не спросил, и правильно: дела давно минувших дней.

Я вернулся на круги своя и опять чувствую себя прекрасно. Я преуспевающий и востребованный. Мне нравится ощущение собственной силы, и женщины у меня есть. А как же! Но страсть больше не случается, да и не хочу ни за что. Такой глупости больше не допущу.

Насчёт новой женитьбы – мысли посещают, но с чисто деловой точки зрения. В общем, живу опять только по своим правилам, и отлично. Никто мне не указ, тем более какая-то женщина.

И знаю главное, что надо запомнить каждому мужику. Это простая аксиома: ни одной бабе нельзя говорить, что она не красавица, будь это хоть трижды правда.

## **БРИНС АРНАТ**

Новый исторический роман  
Марии Шенбрунн-Амор,  
автора бестселлера «Железные франки»,  
лауреата золотой премии Terra Incognita,  
посвященный борьбе Иерусалимского королевства  
с исламским миром  
в продаже в бумажном и электронном виде  
На сайте книги  
[ridero.ru/books/brins\\_arnat/](http://ridero.ru/books/brins_arnat/)  
отзывы,  
видеотрейлер,  
сведения об авторе,  
о героях, их исторических прототипах  
и многое другое



**Давид Маркиш**

## **Я И САВИК ШУСТЕР**

заключительные новеллы  
из повести, опубликованной в № 8 журнала "Артикль".

8

Нужно ли посылать на Марс робота размером с телегу и вы-яснять, жили там когда-то инфузории-туфельки или нет? Этот вопрос был для Савика Кричера не праздным. Он желал в нём разобраться, дойти до сути и получить ответ. И получил: не посылать! Не дай Бог!

Мы с ним горячо обсуждали эту тему в Столешниковом пе-реулке, близ Кремля, в пивной «Яма», где многие светлые го-ловы провели лучшие часы своей жизни. «Есть ли жизнь на Марсе?» – эта проблема почему-то очень волновала советских людей, всецело занятых строительством коммунизма и обгоном Америки по надюю молока. Что им далась эта заоблачная жизнь? Может, они предполагали, без излишней огласки, что марсианские инфузории уже достигли коммунистического об-раза жизни и живут себе припеваючи.

Савик, склонный к фантазиям, такого поворота событий не исключал, хотя и не увлекался ими чрезмерно: к марсианским коммунистам он предвзято относился, и поездку к ним считал дохлым делом. Зачем это? Обмениваться, что ли, с ними опы-том по строительству светлого будущего? Смех один, если вду-маться. А деньжищи эти, которые уйдут на поездку, лучше употребить полезно здесь, внизу: вон сколько людей тут неу-строенных, а африканские дети от голода пухнут и мрут. Инте-ресно разобраться с этим Марсом? Для Савика, любопытного, как ворона, и на Земле было полно интересных вещей, в кото-рых хотелось разобраться, не откладывая на потом. Еврейский

вопрос, например, о котором советская власть говорила, что — да, евреи-то есть, а еврейского вопроса, дескать, нет в помине.

За пивом с подозрительными осклизлыми креветками, размером чуть крупней семечек подсолнуха, разговоры плыли раскованно, почти как в лондонском Гайд-парке. Пивной зал до низкого потолка был наполнен невнятным гулом речи; подслушивающим лубянским жучкам, расставленным где надо, трудно было его расщепить на отдельные голоса для определения политического настроения общества.

Много чего интересного можно было узнать, сидя в «Яме»: и про нашу жизнь, и про политику, и про «кто есть кто» на самом верху и посерединке. И еврейский вопрос, которого нет, занимал, вместе с поездкой на Марс, не последнее место в ряду.

Этот как бы неразличимый вопрос присутствовал повсеместно: собеседники, так или иначе, его не обходили стороной, и сотрапезники затрагивали, и собутыльники, и безысходно выстаивающие очередь за растворимым кофе или итальянскими полуботинками обсуждали рьяно, иногда с пеною у рта. И получалось неопровержимо, что евреи во всём виноваты — и в бесконечной очереди (они весь дефицит расхватывали по блату, а другим одни крохи достались), и в ценах на водку (в продмаге дешёвым кубинским ромом торгуют и алжирской кислятиной — а кто эту бурду будет пить!), и в кухонных разговорах вполголоса, за которые могут посадить годков на пять-шесть. Во всём евреи виноваты со своим Израилем, они воду мутят и смущают советский народ.

Ни с еврейской, ни с какой другой стороны Савик Кричер не причислял себя к идейным противникам советской власти — а иначе он пошёл бы в диссиденты и бился за советизм с человеческим лицом. Софья Власьева с её свекольными щеками для него как бы и не существовала, он испытывал к власти брезгливое презрение и, по возможности, держался от неё подальше. А такие возможности в шестидесятые годы, не без камуфляжа, но существовали для державных подданных.

Вот и Савик Кричер был из таких. Свою мечту уехать в Израиль он никак не утаивал и не скрывал, а душевная тяга очутиться среди холмов Иудеи и Самарии, где во времена оны наши предки гоняли баранов и козлов, превозмогала в нём все

прочие намерения. Только это хрустальное влечение было сурово отсечено стальной стеной от всего прочего на свете. Женщины, деньги или их отсутствие, сама бегущая по сторонам жизнь – всё это было трин-трава, пустяки придорожные по сравнению с главным: возвращением с чужбины в отчизну.

Он и сам не знал, как всё это у него сложилось и сплелось; может, нрав ему такой выпал – игровой и рисковый. Не умея сформулировать неодолимую тягу к свободе ног, он нацелил и перенёс на медовую землю исторической родины требовательную мечту о свободе вообще и еврейской свободе в частности, подал просьбу о выездной визе – и получил отказ. Кремлёвское государство распорядилось «не пущать», и этот фельдфебельский произвол ожесточил Савика Кричера против власти. Он готов был на необдуманные поступки, вплоть до стрельбы из старинного дуэльного револьвера, купленного в антикварной лавке.

Сидя в отказе, он растерял почти всех своих старых друзей. Круг его сузился, в него теперь входили лишь такие, как он сам, отказники и те, кто уже стояли на пороге ОВИРа с толстой пачкой выездных документов в руках. Почти все прочие стали ему неинтересны, а отчасти и враждебны, а он для этих прочих был теперь окружён аурой опасной неблагонадёжности; ну его, лучше держаться от него на расстоянии! И в такой расстановке фигур просвечивало рациональное зерно: еврейский отказник считался открытым врагом, пошедшим против советской власти, и предателем социалистической родины. За связь с таким врагом можно и по шапке получить... Таким образом, Савик Кричер оказался в положении изгоя, при случайной встрече с которым бывшие знакомцы спешили перейти на другую сторону улицы.

Телефонный звонок Вити Лосева, знаменитого музыкального ударника, приятно удивил Савика, уже свыкшегося со своим новым, поганым местом в советском обществе победившего социализма. Этот Витя, по прозвищу, само собою, Лось, барабанил с большим успехом и был признанным мастером своего дела. Ломая голову над тем, что понадобилось знаменитому Лосю от отказника, Савик поджидал музыканта во дворе магазина «Мясо». Там, в «Мясе», Савик работал грузчиком; это



спасало его от обвинения в тунеядстве и высылки на 101-й километр, в ссылочный город Александров, куда неблагоприятный ветер волок и тащил немало бедолаг.

Унылый вид мусорного двора, где грузчики разгружали фургоны с мясным товаром, ничуть не смутил ударника Лось: не затем он сюда явился, чтоб любоваться городской архитектурой. Выудив из кожаного портфеля бутылку армянского коньяка «Двин», Лось прошёл в угол двора, уверенным движением поставил бутылку на утлый столик и пригласил Савика присаживаться на кривую лавочку у этого столика. Грузчика уговаривать не пришлось.

– Давай за встречу! – предложил Лось, наливая коньяк в гранёные стаканы, извлечённые из того же портфеля. – Давненько не видались... Я вот яблочко тоже захватил.

– Год почти, – сказал Савик, поднимая стакан. – А тебе кто про меня сказал?

– Вражеские голоса всё время передают, – охотно объяснил Лось. – «Свобода», «Голос Америки». Я сам слышал. Так, мол, и так.

«Значит, слушает, – отметил про себя Савик Кричер. – Молодец!».

– Ну и вот, – продолжал Лось, наливая по новой. – Я и подумал: надо зайти, проведать.

Это было приятно, но Савик не поверил музыканту: что-то другое, потаённое привело сюда Лосю с коньяком. Что?

– Я вот что, Савик... – не стал тянуть время ударник. – Я тоже уезжать решил.

– Как?! – удивился Савик Кричер. – Ты еврей?

– Да в том-то и дело! – подсадовал Лось. – Я со всех сторон русак чистокровный, у меня корни деревенские, из Владимирской области.

Савик смотрел вопросительно. Лось долил в стаканы до капли и порожнюю бутылку поставил под стол.

– Ты яблоко-то бери, – сказал Лось. – Жениться надо срочно, вот что я тебе скажу! На какой-нибудь из ваших. И сразу же выезжать по семейным причинам.

– Влюбился, что ли? – спросил Савик. – Или как?

– Да нет! – отмахнулся Лось. – Что я – дурак? Тут надо валить как можно скорей, а ты говоришь «влюбился».

– Что за спешка? – хмуро поинтересовался Савик.

– Вот припёрло! – Лось, для наглядности, полоснул, как ножом, ребром ладони по шее. – Представляешь? Джаз играть не дают, за это обещают выслать куда подальше или даже посадить. Сам знаешь... А я без джаза не могу, это не советское, а моё личное.

– И? – направлял Савик разговор. – Дальше что?

– Дальше то, – продолжал Лось, – что найди ты мне девушку, у которой денег на выезд нет. Я за неё заплачу: отказ от гражданства, билет, проводы, то да сё... Тыщи полторы набей, и тебе полтыщи за помощь. У меня деньги есть, ты не думай.

– Я и не думаю, – сказал Савик и желваками заиграл. – Ты в еврейство, что ли, хочешь перейти в Израиле?

– Да ты что! – руками замахал Лось. – Мы до Вены доедем – и всё. И потом кто куда – девушка в Азию, на Историческую, а я в Европу. Мне тоже на свободу надо, хотя я, конечно, по-вашему – гой. А тебе все в ноги упадут за спасение человечка.

– Понятно... – сказал Савик. – Ты, значит, на еврейской жене хочешь до Вены доскакать. На фальшивой еврейской жене.

– Так мы ж заплатим! – с жаром возразил музыкант. – Она ж поймёт! Это ж деловое предложение! И всем будет хорошо!

– Всем хорошо не бывает, – подымаясь с лавочки, сказал Савик Кричер. – Для меня выезд в Израиль – святое дело, святей не бывает... Так что считай, что у нас этого разговора не было.

– Скажи хоть, – попросил Лось, – к кому ещё можно обратиться из ваших?

– Не знаю, – сказал Савик. – А если б и знал – не сказал бы.

Над этим следовало подумать, вот Савик и призадумался. Он от всей души желал джазовому Лосю вырваться из России на Запад, но только не за еврейский счёт. «Счёт» – это слово, строго говоря, тут было не совсем к месту: Савик знал нескольких девушек, которые, при всём желании, не смогли бы наскрести денег на отъезд, и существенный вклад ударника сделал бы доброй реальностью их мечту об исторической ро-

дине. Таким образом, прикидывал Савик, щедрый Витя Лось и нам бы помог, и себя выручил. Дружба народов, одним словом! Что тут плохого? Всё бы хорошо, если б не дурной запах, повеявший от этой сделки. Еврейскую борьбу за свободу, светлую, как кристалл, нельзя затемнять никакими гешефтами: ни лёгкими деньгами, ни фальшивыми жёнами, ни поддельными мужьями. И если Витя подыщет кого-нибудь себе в пару – что ж, скатертью дорога! Барабань на свободе в своё удовольствие! Но он, Савик, не желает иметь к этому делу никакого отношения.

Он искренне посочувствовал бы Лосю, если б тому так и не удалось покинуть пределы любезного отечества. Всем полагается радость, хотя не каждому она достаётся... Савик, однако, ни на гран не почувствовал бы себя виноватым, узнай он, что музыкант транзитом в Вену, в поисках свободы так и не попал. Свобода одна на всех, это верно, но тут надо соблюдать не только порядок, но и порядочность, а не жульничать и не мошенничать, подбираясь к непоколебимым убеждениям Савика Кричера. Приносить их в жертву кому бы то ни было, хоть за деньги, хоть как – это нет!

Мир отказа тесен, как гетто и, как гетто, полон слухов. Савик знал, что приبلудный Витя Лось, после недолгих поисков, нашёл девушку Соню Маргулис, круглую сироту, неимущую студентку-первокурсницу пединститута. Знал, что свадьба и проводы прошли очень хорошо. Молодую пару не стали задерживать и выпустили в Израиль на ПМЖ без проволочек и мучительства, ради мифического воссоединения семей. Да здравствует советская власть, самая гуманная в мире!

Улетали в Вену осенним ненастным днём. Пелена дождя серым покрывалом застлала обзор, и сосны с ёлками по обочинам шоссе на Шереметьево сливались в размытую линию. Под сердитыми порывами ветра деревья отряхивались от воды, как собаки. За горизонтом помещалась в волнах праздничного вальса Вена: замок Шенау, пересадка с самолёта на самолёт и ночной перелёт в Израиль.

А не знал Савик того, что нецелованная Соня Маргулис очертя голову влюбилась в барабанщика Витю Лося. Знаменитый Витя Лось счёл такое развитие событий вполне естествен-

ным; фиктивным браком тут даже и не запахло, и всё сложилось к обоюдному удовольствию. Летели в обнимку, договорились по-доброму, хотя и не без женских слёз: Витя отправится из Вены в Париж для установления деловых музыкальных контактов, а оттуда напрямик прилетит в Израиль, где Соня Маргулис будет его ждать, как верная жена. Разлука продлится недолго: неделю или десять дней. И потом начнётся долгая счастливая жизнь, полная приятных сюрпризов... Действительно, каждый видит мир таким, каким хочет его видеть: белым, чёрным или голубым. И лишь единицы задумываются над тем, что окружающее нас, в какой цвет его ни раскрась, всего лишь вообразённая реальность, не существующая в природе.

Соня прождала Витю неделю, потом две, потом месяц, потом три. От Лося не было ни слуха, ни духа. Пришла весна, деревья в садах поросли белыми и розовыми цветами. Тёплым тель-авивским вечером Соня, на шестом месяце беременности, проглотила горсть снотворных таблеток и свела счёты с жизнью.

Вот уж правда: всем хорошо не бывает.

## 9

Казалось бы, что тут такого – поменять имя: написал заявление, оплатил казённую пошлину, получил справку – и всё!

Нет, не всё.

Над сменой имени Савик задумался ещё в Москве, сидя в отказе и ожидая решения своей судьбы. На исторической родине, он полагал, следует пользоваться библейскими родовыми именами древних предков, а не какими-то галутными эрзац-заменителями: Вова, Саша или, тем паче, Савик. Даже сам Давид Бен-Гурион родился Гринном в Польше, киевлянка Голда Меир была до поры, до времени Голдой Мабович, и это не говоря уже о прославленных генералах: Даян по отцу Китайгородский, Шарон родился Шейнерманом. Достаточно? Более чем! Вот и Савик Кричер решил, если только доберётся до Израиля, стать настоящим библейским человеком. Для начала надобно подобрать подходящее имя – звучное и немного таинственное, как древний артефакт. Например: Акива Бар-Лев. Или Матитьяху

Текоа. Или, скажем, Элиша Кидон. Дырявая оболочка москвича по имени Савелий Кричер останется здесь, в СССР. А по ту сторону границы, вдалеке, в библейской стороне, возникнет новый человек, с новым именем. Был Савик, станет Нимрод. Или Гиора.

За долгие века рассеяния евреи привыкли к тому, что им плюют в бороду; это наследие галута покамест неистребимо, хотя в Израиле и не слишком бросается в глаза. Савик Кричер, будущий Гиора, нацеливался на свободу за один присест порвать с позорным следом прошлого, с этими двумя тысячами лет неприкаянности и пустых надежд. Отказ заточил его национальные устремления до бритвенной остроты. И он был готов, с охотой и преклонением, употребить это лезвие на пользу и во благо еврейской отчизне, сочащейся молоком и мёдом там, за Чопом, за тридевять земель.

Всё приходит, и всё проходит, и нет ничего вечного, кроме самой Вечности. Пришёл час, когда Савик Кричер ступил на финиковую землю своих предков, и пришёл день, когда он явился в присутствие с намерением поменять имя Савелий на имя Гиора. Присутствие помещалось в казённом домке, в глубине двора, заросшего дикими травами и кустами. Обнаружилась тут и очередь часа на три, и это обстоятельство несколько смутило прозрачное настроение Савика. Не то, чтобы перспектива нудного ожидания его расстроила, нет, вовсе не это! Просто процесс перехода из Савика в Гиору, из одного духовного настроя в другой никак не укладывался в затяжное сидение на лавочке во дворе бюро, по-соседству с десятками других просителей. Все они явились сюда не имена менять, а чтобы наилучшим образом устроить свои житейские дела, не складывающиеся, к сожалению, как хотелось бы. Можно было тут и паспорт продлить, и восстановить утраченный документ. Бумажной волокиты — прорва, и каждый посетитель разглядывает лишь своё собственное дело сквозь увеличительное стекло. Каждый, без исключения! И в их числе Савик Кричер, новый израильтянин.

Дела просителей-посетителей отведено было решать четырьём чиновным тёткам, сидевшим за канцелярскими столами, в тесных боксах присутственного бюро. С высоким безразли-

чием поглядывая на очередников, чиновницы прекрасно себя чувствовали за своими столами. Привольно сидя на рабочих местах и прихлёбывая кофеёк из кружек, принесённых из дома, они словно бы витали в иных, высоких сферах, а не в тех приземлённых, где обреталась их озабоченная клиентура, поголовно пронумерованная для строгого соблюдения очередности. Соблюдение можно было смело назвать условным: просители отлучались куда-то неподалёку, а по возвращении в присутственный двор обнаруживали, что очередь их прошла, и никто из ожидающих даже и не думает пропускать опоздавших. Возникал локальный конфликт, иногда и с криками, но бюрократические тётки из своих боксов не вмешивались в происходящее: народ не дурак, сам разберётся.

Впереди Савика очередь занимала девушка в коричневом парике, выше среднего роста, худощавая в меру, но и не тощая и уж не полная через край. Разглядывая, от нечего делать и для уплотнения вялотекущего времени, парик своей соседки, немного сбившийся набок, на ухо, он обнаружил под ним природную растительность, чуть светлее накладной. Может, лишай у неё какой-нибудь на голове, с сочувствием предположил Савик, или от онкологии, говорят, волосы выпадают подчистую... А девушка в парике глядела приветливо, без следа печали в орехового цвета глазах.

Облако очередного конфликта повисло над двором – какой-то опоздавший настойчиво пытался пробиться к входу в бюро сквозь защитный заслон ожидающих. Заглушая гарканье ворон, обсевших забор, публика галдела и выкрикивала нелицеприятные слова в адрес нарушителя.

– Шумят, шумят... – ни к кому не обращаясь, вполголоса произнесла девушка в парике. – А чего шумят?

Ответ был очевиден, и Савик Кричер воспользовался возможностью завести разговор.

– Ждать всем надоело, – объяснил Савик. – Вот и шумят.

– В таком шуме ничего хорошего нет, кроме плохого, – назидательно заметила девушка.

Разговор завязался, запрыгал с кочки на кочку, скрадывая тягучее время. Тут было чему удивляться: девушка в парике явилась в присутствии с просьбой о замене документов, выписанных на старое имя.

– На старое? – разглядев в девушке сподвижницу, почти радостно поинтересовался Савик.

– Да, на старое, – подтвердила девушка. – Теперь у меня новое.

– Теперь новое? – переспросил Савик.

– Да, новое, – подтвердила девушка. – Теперь я Рут Кешет.

– Красиво, – сказал Савик. – Я тоже меняю... А раньше какое у вас было?

– Свистунова Света, вот какое, – сказала девушка в парике. Савик взглянул недоумённо, но вопрос проглотил.

– Это уже не имеет никакого значения, – по собственному желанию дала справку бывшая Света Свистунова. – Я в Святую землю с мужем приехала, он еврей, но совершенный безбожник. Мы развелись, и я из христиан по всем правилам перешла в иудаизм... А вы тоже гой? – с спросила собеседница Савика Кричера.

– Как раз нет... – сказал Савик. – Вы говорите – «христиане»?

– Ну да, – кивнула Рут Кешет. – Язычники. Конечно. Многобожцы! У нас в деревне поп всегда говорил: Бог-отец, Бог-сын, ещё там разные другие. Он меня крестил, этот поп.

– А потом? – подтолкнул увлечённый разговором Савик.

– А что потом! – откликнулась Рут. – У евреев Бог един, и всё по справедливости разложено. Вот я и перешла.

– И довольны? – почему-то усомнился Савик Кричер.

– Очень! – сказала Рут, и видно было, что – от всего сердца.

– Надо только Божьи заветы соблюдать.

– Ну да, – согласился Савик. – С этим у нас строго...

Бог её привёл на еврейскую историческую родину. Чудесны дела твои, Господи! И вот она прилепилась, эта Света Свистунова, к еврейскому корню, как библейская Рут. Надо же! Здесь, у нас, в благоухающей оранжерее, прикрытой железобетонным колпаком, жизнь из праздничного чуда неизбежно превращается в привычку. И ко всему привыкшие евреи проходят мимо чудес жизни, не замедляя шага и не оглядываясь.

– А вас как по имени? – спросила девушка в парике.

– Савелий, – сказал Савик Кричер. – То есть, Гиора.

– А я, – сказала девушка, – если б только не переход, имя-фамилию не стала бы менять ни за что.

– Нет? – спросил Савик. – А почему?

– Мой папа меня любил, – сказала Рут, – хотя алкаш был запойный. Не говоря уже о маме...

– Мама тоже пила? – не удивился Савик.

– Ни капли! – сказала Рут. – Я не про это, я про то, что она меня тоже любила очень. Ведь я у них одна была, братик с грузовика упал и умер.

– Да, грустно... – признал Савик и головой покачал.

– Они меня так называли, – продолжала Рут, – а я вдруг возьму и просто так откажусь не только от имени, но от них самих. А я их до сих пор люблю.

– Они живы? – спросил Савик.

– Папа умер уже, – сказала Рут, – от водки сгорел. Одна мама осталась, в деревне. А я здесь.

Здесь, в присутственном дворе, в очереди. Была Света, стала Рут. Довольна очень. Деревенской маме это трудно было бы объяснить, да и не придётся ничего объяснять, скорей всего: где тут Бог, да что же такое стряслось, да кто эта ветхозаветная Рут, прилепившаяся к чужому корню. Всё переменялось до дна, осталась любовь дочки к отцу – загульному алкоголику Свистуну, и бессловесной деревенской маме с размятыми бесконечной работой руками.

Савик любил отца своего и мать не меньше Светы Свистунной; это несомненно. Папа-инженер, Григорий Самойлович Кричер, более всего на свете боялся сесть в тюрьму – и сел-таки за антисоветский анекдот, в сорок восьмом году, по доносу, по 58-й статье, на восемь лет. Вышел он по реабилитации, после смерти Сталина, не досидев два года до конца срока, за отсутствием состава преступления – знакомая картина для тех, кто в курсе. В лагере, на Колыме, Григорий Самойлович отморозил всё, что только отмораживается в человеческом существе. Такое противоестественное охлаждение организма не прошло для него даром: он занемог, и немочь не отпустила его до конца дней. Григорий Самойлович умер, как и отец Светы в парике, нестарым ещё человеком, но по иной, правда, причине, чем ветреный Свистунов. Каждому своё, и это «своё» каждый получает сполна и без сдачи.



Надо сказать, что страх Кричера-старшего перед советской властью не на пустом месте вырос. Его отец Самуил-Шмуль, дедушка Савика, уроженец местечка Кричево близ Житомира, был запутанный еврей. Всю жизнь, вплоть до расстрельной стенки, его обуревала неизлечимая зараза – тяга к общественной деятельности. Бунд, в общих чертах, отвечал его политическим взглядам – как раз то, что при большевиках прямоком вело за решётку. Нет бы ему увлечься чем-нибудь другим, менее порочным – эмансипацией женщин, например, или разоблачением теории князя Кропоткина, – так нет: Бунд ему понадобился! И это, понятно, бросало чёрную тень на всё потомство местечкового бунтаря-одиночки, начиная с Григория Самойловича.

Нет-нет, под советским солнцем сын за отца не отвечает, с этим положением сам усатый Корифей всех наук ознакомил своих ликующих подданных. Не отвечает – но, всё же, лучше иметь папой не лишенца-бундиста, а кого-нибудь другого, хоть бандита, хоть кого. А Самуил Кричер, бундист с уклоном в меньшевизм, уличённый в преступных связях с левыми эсерами, пошёл кочевать по ссылкам и лагерям, пока, после очередного ареста, не был расстрелян в 37 году по приговору «тройки» как непримиримый враг советской власти... О беспокойном дедушке Савик знал совсем немного, из скупых рассказов отца. И это самое беспокойство, граничившее с антисоветским бунтарством, располагало внука к покойному Самуилу, с которым ему не суждено было встретиться – внук появился на свет уже после гибели деда.

А маму, так и не решившуюся расстаться со слезавшейся московской жизнью, привычными друзьями и тесной «двушкой» на четвёртом этаже, без лифта, Савик любил плавной сыновней любовью.

И вот, переступающий в новую реальность, всё начинающий сызнава, под новым именем, Гиора навсегда рубил уведящую вглубь времён тропку родовой памяти, оставляя в сумерках буйного деда, и робкого отца, и тихую мать. Новая жизнь, новый горизонт, за которым – пропасть, облегчающее жизнь ничего. Света Свистунова, поменявшая Бога, это понемала, а Савик Кричер – нет. Во всяком случае, не совсем.

Тем временем от чиновниц, из присутственного дома, поступила во двор ожидания важная новость: по техническим причинам сегодняшний приём закончен. Желающие подать просьбу могут явиться завтра, к восьми утра, и подать. До свидания!

Рут Свистунова.

Новый Бог. Праздник жизни. Новая воображённая реальность – с отказом от прошлого, застывшего, как комар в капле янтаря.

Явиться завтра утром, подать и отказаться.

А можно и не являться, и не подавать. Остаться Савиком Кричером.

Чахлые заросли двора представились ему сосновым лесом, там жили привольно кабаны с кабанятами, и лисицы с лисенятами, и шакалы, и суслы. Мачтовые сосны того леса прошивали вершинами голубое глубокое небо и исчезали из вида, становясь неразличимы с земли. Песчаная ясная тропа вела в лес и вилась меж стволов. Рут шла по той тропе, попевала за Иегудой, четвёртым сыном праотца нашего Якова.

И лес безмолвствовал, и лес был Бог.

## 10

Старость не вписывается в нашу жизнь, пока она не явится без приглашения, шаркая подошвами и громыхая воображаемой клюкой. Кто думает о старости в молодые годы? Да никто.

Могу засвидетельствовать: не думал о ней и Савик Кричер. Во-первых, по молодости годов и лёгкости нрава, он и не предполагал, что доживёт до старости. Во-вторых, если на то пошло, в глазах Савика вотчина старости располагалась где-то в предельных краях, может, и по ту сторону Леты.

Прошлое громоздилось вокруг него в некотором отдалении, набитое вещами и многоцветное, как переводные картинки. Эти самые картинки, да ещё волшебные узоры калейдоскопа – вот всё, что неизбежно сохраняется в недрах нашей памяти со времён безответного детства, тянущегося ко всякому волшебству.

С тех пор прошла жизнь, и теперь Савик безмятежно коротал время, сидя на лавочке, на травяном газоне, у подъезда своего дома. Коротать время старому Савику было легко, по-

тому что оно вот уже сколько-то лет назад свернулось в сгусток и не двигалось ни вперёд, ни вверх, ни вниз. А поэтому и дурная привычка вести счёт времени отпала сама собою, и цифровое исчисление возраста обернулось нелепостью. Савик Кричер стал стар, и это всё.

Настоящее, состоявшее из разглядывания людей, проходивших мимо него по своим делам, составляло объект интереса Савика Кричера, посиживавшего на лавочке. Когда-то, давно, свободное и ничем не стеснённое движение людей называлось в кинематографе «поток жизни». Вот Савик и вглядывался с симпатией в этот негустой поток-ручеек на фоне красивых подтянутых деревьев и узорчатых цветников – как сторонний наблюдатель, удобно расположившийся перед меняющейся картинкой природы. Молодые независимые евреи, отряхнувшие прах галута, говорили друг с другом во весь голос, как будто выступали с речью перед массовой аудиторией, они были затянуты в драные джинсы и покрыты живописной татуировкой разных частей тела, иногда и без пробелов. Пирсинг в виде колечек, гвоздиков и булавок, припиленных к ноздрям, губам и ушам, вызвал бы у неподготовленного зрителя недоумение с опаскою пополам, но Савик был закалён по этой части: что ж, молодое поколение само выбрало себе путь-дорогу и в советах старших отнюдь не нуждалось. Это ещё при царе Горохе русский писатель Иван Тургенев пронизательно отметил. Увидь Иван Сергеевич наше подрастающее еврейское поколение, он бы, пожалуй, навсегда утратил дар литературной речи.

Пирсинг и художественно драные штаны Савик Кричер оставлял без комментариев; они ему не нравились, и всё тут. С татуировкой было глубже: упругая расписная кожа состарится и одрябнет, и затейная роспись на ней будет выглядеть, как выцветшие разводы на пыльной занавеске. И это будет жутко, это будет уродливо! И сам хозяин – а, хуже того, хозяйка – такой ходячей выставки, прикидывал Савик со своей лавочки, почувствуют себя ужасно среди людей. Для оживления пейзажа Савик пытался поставить себя на место будущего татуированного старика, и это плохо у него получалось: разрисованный вдоль и поперёк, он со стыда держался в стороне от толпы, в теньке.

Впрочем, всё может сложиться иначе, пожимал плечами Савик Кричер. Татуировка, как у людоедов Папуа, повсеместно станет признаком хорошего тона, и не разрисованные евреи в самом скором будущем станут подобны белым воронам на бульварах Тель-Авива. Новая эпоха, новые нравы, новые порядки. Старики исчезают, как мамонты и динозавры, только самые главные из них, оставаясь на денежных купюрах, без усталости переходят из рук в руки.

Не то, чтобы это старческое сидение на лавочке, у подъезда, угнетало Савика или нагоняло на него тоску. Он, напротив, чувствовал себя здесь на своём месте и не уставал благодарно вспоминать того, кто обеспечил ему ежедневный прокорм, дал жильё в этом доме и лавочку для приятного времяпровождения. Да, конечно, Бог ему всё это подарил, действуя, однако, не напрямую, а через дону Мигуэля из Венесуэлы – лесопромышленника и богача, какие только в сказках встречаются, да и то не на каждом шагу. Этот дон Мигуэль, в просторечье Миша, оказался Савику Кричеру дальним родственником – строго говоря, даже не дальним, а дальнейшим. Мама Миши, донья Беатрис, в местечковом девичестве Броха, приходилась дедушке Савика, расстрелянного большевиками, родной сестрой. Эта ветвь семьи Кричеров, спасаясь от погромов, бежала из России без оглядки и остановилась только в Южной Америке, в Каракасе, в гостинице «Попагайо», что в переводе на общедоступный язык, как нетрудно догадаться, означает «Попугай». Проблем с оплатой приличной гостиницы у беженцев не возникло – муж Брохи, по имени Хаим, до бегства за океан торговал лесом и владел двумя лесопильнями. Ни лесопильни, ни лес вывезти из-под Житомира не представилось возможным, но деньги удалось сохранить, и они подсластили горечь от разлуки с насиженными местами. Таким образом, беспокойный дед Шмуль погрузился в российское политическое болото, а бабушка Броха отправилась в Венесуэлу в поисках еврейского счастья.

Надо сказать, она в этом преуспела: муж её, лесовик, взялся за работу, засучив рукава и не щадя живота своего, и дело пошло в гору: в «джунглях», взятых Хаимом в аренду под вырубку, появились лесопильни, за ними последовала картонажная фабрика, а потом и мебельный завод. Во всей Вене-

суэле никому и в голову бы не пришло называть богача-лесопромышленника каким-то Хаимом – дон Хайме, так теперь его именовали. А дон Хаим, заряженный русско-еврейской энергией и предприимчивостью, не вылезал из джунглей, его лесная империя росла не по дням, а по часам, и, в конце концов, достигла умопомрачительных размеров.

Другой дон, Миша, после кончины отца вступивший во владение холдингом, уверял, что площадь его лесных владений не уступает территории нашего Еврейского государства, а то и превосходит её. Савик, тогда ещё далёкий от старости, слышал это утверждение Миши собственными ушами и не усомнился ничуть: дон Мигуэль не шутил. Цепочка событий привела к знакомству родственников – дона Мигуэля и Савика Кричера, и эта цепочка была истинным чудом. И вот я настаиваю на том, что чудеса не перевелись на свете: тому примером встреча Савика с доном Мишей. Обойдённые чудесами люди уверяют нас в том, что чудес вообще не существует в природе – были да сплыли, но это зауженный взгляд, присущий угрюмым неудачникам. Савик Кричер, во всяком случае, воспринимал историю своего неожиданного пересечения с родственным венесуэльским Мишей, повлекшую за собою очень даже приятные финансовые последствия, как совершенное чудо.

А свершилось оно обыденным образом – дон Мигуэль из своей далёкой Венесуэлы регулярно присылал деньги на содержание кричевского землячества, а израильские «земляки» исправно писали ему благодарственные письма и посвящали в ход событий общины: кто родился, кто умер, кто из уроженцев местечка или их потомков перебрался к нам на ПМЖ. Дон Миша едва ли читал эти душевные послания, но однажды на его рабочий стол легла присланная земляками вырезка из тель-авивской русской газеты – заметка, под которой стояла подпись «Савелий Кричер». Автор, новый эмигрант, в увлекательной форме излагал историю своей семьи, начиная с того не очень-то далёкого времени, когда дедушка Шмуль – правдоискатель и бунтарь – покинул местечко Кричев и подался в бундисты, и чем это обернулось для него самого и для всего еврейского народа в целом. Содержание заметки и подпись не оставляли места для сомнений: чудесным образом нашёлся уцелевший род-

ственник! Родная кровь! Боже мой! Нужно как можно скорей установить с ним контакт и подбодрить во всех отношениях.

Слово дон Мигуэля не расходилось с делом; отчасти по этой причине он и стал знаменитым богачом. Прилетев в Тель-Авив, богатый Миша дал указание разыскать автора той заметки Савелия Кричера. Можно не сомневаться, что указание магната из Каракаса было выполнено незамедлительно.

А чудо, между тем, продолжалось. Первая встреча родственников состоялась в лучшей тель-авивской гостинице Дан и произвела на Савика глубокое впечатление. Рассказы Миши о лесной жизни дона Хайме и бабушки Беатрис в дебрях джунглей, в окружении ядовитых комаров, бессовестных дикарей и кровожадных рыб-пираний, не оставили бы равнодушным и каменного истукана с острова Пасхи; Савик слушал, развесив уши. Владевший великим и могучим русским языком лишь поверхностно, дон Мигуэль открыл родственнику секрет сказочного обогащения семьи Кричеров: «Папа и мама с утра до ночи рубали дрова в лесу». Трудолюбие, значит, послужило основой богатства лесных первопроходцев из Кричево. Савик живейшим образом представил себе Хаима и Броху на венесуэльском лесоповале, и картинка эта, в золотой рамке, бережно хранилась в его памяти. «Рубали дрова»! Он и сам с энтузиазмом взялся бы за топор, если б рубка дров принесла ему хоть медный грош. Но в Израиле рубать дрова никому и в голову не приходило, а самодеятельный дровосек, свали он дикорастущее дерево в прогулочном лесу Бейт-Шемен, сел бы за это в тюрьму, на казённые харчи. Так что такой путь к благосостоянию, вопреки семейному опыту, был для Савика перекрыт и заказан.

За обедом в роскошном ресторане отеля, за красным винцом, Савик получил от дона Миши приглашение приехать в Каракас отдохнуть. Отдохнуть в Каракасе! Это ж надо! А за приглашением последовало предложение:

– Ты ведь в газету пишешь, – сказал Миша. – Я статью твою читал, очень интересно... Так вот, я хочу тебе заказать книгу про всю нашу семью – и про советскую Россию, и про Южную Америку. Можешь написать?

– Могу, – сказал Савик.

Если бы дон Мигуэль по-родственному предложил ему проехаться на мотоцикле по вертикальной стене, он бы тоже согласился. Или переписать Библию сонетами. Или покорить Эверест.

– Это большое дело! – продолжал дон Миша. – Великое! Никуда не торопись, пиши медленно: год пиши, два пиши, десять. Каждый месяц, начиная с этого, ты будешь по первым числам получать жалованье. И чтоб ты жил до ста двадцати лет!

Лесопромышленный дон Миша был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Он придумал помочь новоявленному родственнику, неимущему эмигранту, выжить на свете – и сделал это красиво: «Пиши книгу!» И Савик писал, никуда не спеша, писал начерно и перебеливал, сидя за письменным столом в квартире на восьмом этаже, купленной ему в подарок венесуэльским дядей Мишей. И это было чудо.

Наш мир стоит на неравенстве, это и слепому ясно. Савик Кричер принимал такое положение вещей с большим безразличием: возражать и бунтовать против заведённого порядка было делом зажигательным, но обречённым на провал. Не он, Савик, всю эту круговерть запустил, не ему и правила менять. Ну да, неравенство утвердилось под нашим забором, над которым развешаны алмазные звёзды, и только смерть уравнивает всех подряд: богатых и бедных, блондинов и брюнетов, дураков и умных. И никому не дано сойти со своего пути и обогнуть тупик в его конце.

Пришёл срок, и дон Мигуэль, сын Хаима из Кричева, покинул наш круг. А жалованье Савику, составлявшему книгу, продолжало приходиться вовремя, из месяца в месяц. И это тоже было чудо несомненное.

Всякий труд подразумевает вознаграждение, и писательские усилия Савика Кричера не составляли исключения из правил. Проще всего было бы предположить, что Савик тучными годами валял дурака, перекладывая стопку страничек из ящика в ящик, из пустого в порожнее. Но это было не так. Сочинитель усердно корпел над источниками – историей местечка Кричево, лесной житомирщины и всей черты оседлости, учреждённой просвещённой императрицей Екатериной Великой по подсказке стихотворца Гаврилы Державина, который Пушкина, в гроб

сходя, благословил. И «джунгели» Венесуэлы, где сто лет назад неустанно рубали дрова Хаим и Броха, приковывали внимание усердного описателя. Всё он хотел охватить как можно шире и историю семьи изобразить всеобъемлюще и добросовестно.

И вот работа подошла к концу, и была поставлена точка.

Так случилось, что именно в тот день мы сидели с Савиком на той самой лавочке, у подъезда. Круглоголовые деревья на стройных ногах, с тонкими талиями, нас окружали, и распахнутые разноцветные цветы с сахарными язычками – розовые, лиловые и жёлтые – названия которых я никак не могу запомнить, оставляли равнодушными прохожих людей, привыкших к красоте жизни.

– Ну, вот, – сказал мне Савик и немного помолчал. – Я закончил книгу. Всё.

В этом «Всё», как он его произнёс, укрывалось куда больше, чем три буквы алфавита. Конец там угадывался и проглядывал – конец акта, завершение действия, тянущее за собою, как из жилетного кармашка отточенные пальцы фокусника, алую шёлковую ленту или целую гирлянду паутинных цветных платков... Что-то должно было прийти на смену законченной книге о диковинной судьбе местечковой семьи из Кричева, прийти и поднять занавес над новым актом жизни старого Савика. Что там откроется? Новая книга? Запоздалая женитьба на вдове с детьми и внуками? Или пустая сцена с тёмными кулисами, из-за которых вот-вот выпорхнут под музыку балеринки в пачках, появятся кавалеры в шляпах с перьями, и конюший выведет серую лошадь в яблоках, под седлом. Всё могло случиться с Савиком Кричером, закончившим работу над книгой – а что же именно, нам не стоит и гадать: всё равно не отгадаем. Ни с Савиком, ни со мной, ни с вами – ни с кем.

Мы сидели на лавочке, и люди шли мимо нас – наши соседи по земному общежитию, старые и молодые, с детьми в колясках и собачками на поводке. Мы с Савиком разглядывали их со старческим любопытством, а они не обращали на нас никакого внимания. И никто не мог знать, что всех нас ждёт в обозримом будущем.



Назавтра Савик Кричер сел в самолёт и улетел в Париж, там сделал пересадку и наутро приземлился в городе Папезте, на Таити. Из этого Папезте он отправился в джунгли, осыпанные цветами. Слишком далеко уйти в лес он не мог – островок то небольшой... С тех пор я ничего не слышал о моём старом товарище Савике Кричере.

Многие в наших краях посчитали, что у Савика просто поехала крыша, поэтому он ни с того, ни с сего и отправился в Папезте. Сумасшедший человек, что с него взять! Но для того, чтобы в этом утвердиться, надо сначала определить, кто из нас нормальный – хотя бы для сравнения.

**Мордехай Файнберштейн**

## **МАЯК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО**

**Рыбак**

На камнях сидел человек в шляпе и рыбачил. Станный человек. И удочка штука не военная. Из-за налётов англичан люди выходят в море с опаской и только с сетями. Нет, это не местный, решили дети из соседней деревни и побежали купаться к старой таможне. Он и не итальянец, уверяла Клаудиа, но эти девочки всегда думают, что умнее всех.

Солнце уже далеко за спиной, мужчина оглянулся и спустил штанины, подвёрнутые днём, чтобы солнце ласкало костлявые колени. Из-за мыса показалась лодочка, в ней толстый синьор с трубкой в зубах помахал рыбаку и быстро подплыл к берегу.

Добрый вечер, синьор. Надеюсь, не распугал вам рыбу?

Здравствуйте. Я собираюсь уходить.

Толстяк выволок из лодки велосипед, втащил её на берег и перевернул вверх дном.

Вы с того маяка?

Я смотритель. Много наловили?

Разве дело в несчастных рыбаках? Моя жена даже не будет её готовить.

Смотритель подошёл к нему с улыбкой.

Конечно. Кого я мог здесь встретить? Только философа. Человека в особом состоянии души. Буддисты медитируют, а немцы ловят рыбу.

Я философ только когда надеваю вот эту шляпу. А вы философ по профессии.

Вы стали философом, когда решили идти рыбачить.

Я просто ищу покоя.

Философ и есть ищущий покоя человек.

Хозяин тирольской шляпы протянул руку:

Приятно познакомиться, Генрих Шиллинг.

Анджело Карлуччи. Друзья зовут меня Сухарь.

Сухарь?

Смешно? Я располнел после Эфиопской кампании, а до этого был стройным, женщины любовались моими лодыжками. Прибавил 30 килограмм, прозвище стало ещё забавней.

Вы воевали в Африке?

Нет. Тогда я был учителем, но каждое утро спрашивал детей: Дети! Чья теперь Эфиопия? Эфиопия наша, синьор учитель! – кричали малыши. Вот были времена...

Один учитель становится смотрителем маяка, а другой – дуче нации. Вы фашист?

Я не член партии

Ничего не значит. Ваша должность имеет отношение к флоту.

О да, когда я вижу в небе безнаказанных англичан, моё сердце сжимается от боли, но вот на горизонте итальянские крейсера, и в моей душе звучит марш!

Римлян храбростью живую,

Гвельфов верностью святою...

Немец отложил удочку и подхватил:

Данте светлую мечтою

Вновь наполнены сердца!<sup>1</sup>

Браво, синьор! Я уже начал считать итальянцев нытиками. Ваша беда – сантименты с евреями. Этот ваш генерал Роатта нагло отговорил Муссолини выслать евреев из Греции в Польшу. Похоже на предательство.

Сухарь понимающе кивал. Возникла пауза. Вода гладкая-гладкая, поплавок замер, превратившись в маленький маячок, сообщавший рыбам об опасности. Анджело выбил трубку.

Вы ведь в отпуске, герр Шиллинг? И женаты на синьоре Галлизи из нашей деревни.

Какая осведомлённость!

<sup>1</sup> Giovinezza (Юность) – Гимн Национальной Фашистской Партии. Перевод Я. Семченкова

В наших краях новости висят в воздухе.

Интересно. Скажите, Анджело, а нельзя ли взглянуть на ваш маяк?

Вполне. Можем встретиться здесь завтра, в это же время.

Карлуччи взобрался на велосипед и двинулся в гору. Подъём давался тяжело, он взмок и вскоре пошёл пешком. На холме остановился и посмотрел на бухту. У старой таможни ныряли дети. Немца не было видно, но он существовал там, за деревьями. Как она могла выйти замуж за эсэсовца? Он совсем расстроился.

### Инвалид

Кислая физиономия Анджело не радовала прохожих. Лишь одноногий Фелиппе решился окликнуть его.

Эй, Сухарь, стой, ты чего? Есть сигарета? Я видел Софию с дурачком Джулио. Представь, он скандалил с синьорой Джинной из-за молока, там был Энцо и ничего не сказал. Он ходит с ружьём и молчит. Боится открыть рот, потому что пристрелит кого-то, если поссорится. А Джулия отпустила Клаудию с мальчишками купаться, ты видел их?

Да. У меня нет сигарет, хочешь табак?

Ты не покуришь со мной? Признайся, что начал курить трубку, чтобы не угощать меня сигаретами. Одичал на чёртовом маяке со своими книжками. Какие корабли сегодня видел? «Кадорна» проходил?

Давай кисет.

Да что с тобой, остановись! Мне обидно, друг. Ты сам не свой. Идём к Лукко, выпьем, расскажешь, как король подарил тебе часы.

Я пошёл.

Говорят, приехал Луиджи, брат Гвидо. Он держит на ферме двух евреев. Вот же бесплатные батраки. В прошлый раз напился и орал, что ему плевать на лысого дурака, а если кто его сдаст, он отрежет ему яйца.

Анджело засмеялся и пошёл дальше. До бакалеи рукой подать. Только бы никого не встретить.

На обратном пути, уже с полными сумками, он увидел Фелиппе с бутылкой на развалинах усадьбы. Прислонил велосипед к камням, сел рядом. Одноногий протянул бутылку. Долго цедил сладкое вино синьоры Джини, достал сыра, закусили. В клубах пыли промчался чёрный автомобиль. Фелиппе нахмурился:

Знаешь, кто это?

“Адлер” 1939 года.

Это муж Дзеты Галлизи. Важный эсэсовец. Вежливый всегда такой... Давай выпьем.

Бутылка опустела. Карлуччи подбирал камешки и бросал их об стену.

Господь всемогущий! Когда я узнал, что она вышла за фрица, мне показалось, что меня самого поимели. Куда лысый швырнул Италию?! Отвечай! Это ты кричал, что Муссолини – наш шанс! Ты засранец, Анджело.

Ну что ты кричишь? Зря он связался с колбасниками.

Почему англичане бомбят нас, а не Испанию?

Потому что Франко военный и знает цену войнам. Он ни на русских, ни на французов не нападал.

Он генерал! А нами правит капрал. Немцами ефрейтор. Школьный учитель и писака в тухлой газетёнке не сделает Италию великой!

Вино кончилось...

А-а-а, давно не пил со стариком Фелиппе... У меня есть ещё.

Они хлебнули ещё и сидели тихо.

Энцо сказал, что этот нацист, муж Дзеты, ездил в Тибет. Кант и Гегель не снимают похмелья, приятель, им нужны корни, а корней нет. Без войн духа не победить войны тела. А германский дух – в пиве.

А наш в макаронах?

Им не нравятся евреи, потому что евреи это корни. Одни корни, друг. Стволы срубили, но пока корни живы, ни одна свинья не приживётся на земле. Им нужно во что-то верить, кроме дебила-фюрера.

Откуда Энцо знает?

Он дружит с отцом Гвидо, а отец Гвидо знает всё. У фрицев есть контора, где они наделяют смыслом своё существование.

Анненербе...

Вот, да. Хватило ума понять, что пиво и колбаса здесь не годятся. Скоро здесь будут русские и англичане.

Русские зальют пиво водкой и колбасу вставят в пряники. Получится хот-дог, и все призы возьмут американцы.

Кто получится?

Такая сарделька в булке. Все американцы едят сардельки в булках. Ладно, Фелиппе, я пошёл.

Ещё есть вино.

Сварю себе пасты.

Почему не приглашаешь?

Прости... Я оставлю тебе сыру.

Ну и убирайся!

Карлуччи убрал трубку в карман и положил на камни свёрток. Солнце скрылось, тени заполнили развалины.

## Маяк

Когда ему показалось, что он трезвый, Анджело, забрался на велосипед и покатил вниз, но на спуске не удержался и полетел в кусты шиповника. Исцарапанный, с колючками в волосах, выбрался на тропинку, сел по-турецки и засмеялся. Потом заплакал. Жизнь и любовь к солнцу в тирренских волнах, показались ему глупостью. Будто такая ерунда освобождает Б-га от ответственности за всё это дерьмо. Вытащил велосипед, продукты даже не вывалились. Он решил, что Господь всё ещё любит его и поехал дальше.

Маяк мигал зелёным глазом, стояла абсолютная тишина, больше огней в море не было. Живи он на берегу, давно бы спился. Лодка исчезла. Карлуччи походил по песку, и вскоре услышал смех.

Анджело, это ты? – крикнули из мрака. И детский смех. Он опустил на камень. Лодка, полная жизни, причалила прямо перед ним.

Ради Б-га, синьор, просим нас извинить. Дети так хотели покататься... Мы не отходили далеко, чтобы вы не потеряли нас.

Сухарь впервые лет за двадцать увидел Дзету.

Ну что ты, дорогой, Анджело совсем не злится. Он всегда был застенчивый и добрый. Ади! Грета! Скорее сюда, поздоровайтесь с герром Анджи!

Мальчик лет шести и девочка чуть постарше стояли, взявшись за руки и глядели себе под ноги. Носик у девочки усыпан веснушками, она вовсе не похожа на мать.

Ну!

Guten tug.

Они прекрасно понимают итальяниш, но говорить не хотят.

Карлуччи смотрел на неё, на детей, на Шиллинга и улыбался. Стеснялся разглядывать её. Дети раздражали, а нациста он боялся.

Синьор Карлуччи, – немец поставил ногу на камень, – а нельзя ли нам посмотреть маяк прямо сейчас?

Не выдумывай! – Дзета сдвинула шляпу ему на лоб. – Детям скоро спать.

Leuchtturm! Wir wollen einen leuchtturm!<sup>2</sup> – Оживились малыши.

Сейчас?

Да, если можно. – Шиллинг обнял дочь.

Если это не в тягость... – Улыбнулась Дзета.

Анджело полез за трубкой, но её нигде не было. Наверное, вылетела в кустах.

Ч-чёрт... Простите... Я упал с велосипеда и, кажется, потерял трубку. Позвольте сигарету?

Конечно! Вы весь исцарапанный...

Armada. – Прочитал итальянец на белой пачке. – Тут написано: fur den deutschen soldaten...

А вы хотели, чтобы было fur den italianische matrosen? – Засмеялся Шиллинг. Дзета смотрела на него и гладила светлые волосы сына.

Теперь он узнал её и готов был поклясться, что она стала ещё красивее. Взял сигарету и вернул пачку.

Нет, что вы, оставьте себе, до утра вам хватит, а у меня есть ещё.

До утра?

Ну да. У вас есть ещё трубка?

Нет. Спасибо. А в каком вы звании, герр Шиллинг?

Гауптштурмфюрер.

<sup>2</sup> Leuchtturm! Wir wollen einen leuchtturm! – Маяк! Хотим Маяк!

О-о-о! Звучит, как музыка Вагнера. Это капитан?

Премьер-капитан, по-вашему.

Анджело вытянулся и воскликнул:

Экскурсию на маяк в составе семьи гауптштурмфюрера СС герра Шиллинга считаю открытой! В связи с малым тоннажем моего судна транспортировка будет проведена в два рейса. Очередность выбирайте сами.

Дети засмеялись, Дзета захлопала в ладоши. Будь здесь Фелиппе, заподозрил бы неладное. Но так сошло за простую буффонаду.

Кто поплывёт первым?

Сначала мы с вами и Ади, это будет мужской бросок на маяк. Затем я вернусь за женщинами.

У старой пинии дремал чёрный «Адлер», который Карлуччи сразу не заметил. Дзета направилась к машине, а Сухарь и Шиллинг с сыном взяли курс на маяк. Маленькая Грета стояла и глядела им вслед. Отец что-то крикнул ей, она недовольно дёрнула плечиками.

Что такое? – спросил Карлуччи.

Расхотела ехать. Девочки это обычные женщины маленького роста.

Да уж. У моей жены дочь от первого мужа.

Вы женаты?

Не живём вместе.

Развод вам, конечно, не дадут?

Мы и не хотим.

Вот отличие германского пути! Вы, итальянцы, религиозны, а средневековый бред не даёт проявить арийскую мощь.

Разве вы не ищите вдохновения в прошлом?

Здоровая языческая традиция. А у вас – еврейские народные сказки.

Не буду спорить.

Маяк возвышался над ними белым великаном. Анджело перестал грести.

Красиво как... – Сказал немец.

Повезло, что море сегодня спокойное. Зимой я неделями не схожу на берег.

Вы же расскажете нам об устройстве сигнала, интервалах и линзах Френеля?



Карлуччи с улыбкой закивал и налёг на вёсла.

Тут была отмель. Ещё до Гарибальди навезли эти глыбы и построили маяк.

Из огромного камня торчал ржавый кнехт. Анджело закрепил конец и помог мальчику выбраться из лодки.

– Хорошо, – сказал немец, – мы с Дзетой скоро вернёмся.

Он сиял от счастья, будто обрёл смысл жизни на маяке и вскоре скрылся в темноте. Карлуччи стоял и раздумывал.

Знаешь, что, приятель? – сказал он наконец. – Ты подожди здесь, я приготовлю маленький сюрприз и сразу вернусь.

Не дождался ответа и пошёл к двери в каменном строении, из которого торчала башня маяка. Малыш дрожал от холода, но Сухарь вернулся довольно быстро.

Ничего, согреешься. Я уже слышу лодку.

Тишина, воцарившаяся было посреди моря, вскоре была разрушена возвращением немца с семьёй. Анджело взял вёсла и повёл гостей внутрь.

Прошу, синьоры, в уединённое жилище философа.

### **Схватка**

Вот моя вилла, располагайтесь. Для вас я включил генератор. А вас, герр капитан, прошу подняться на смотровую площадку.

Замечательно. Дзета, приготовь нашу маленькую трапезу, дети помогут тебе.

Гауптштурмфюрер устремился вслед за ним по винтовой лестнице. Они остановились перед дверью наверху. Анджело пропустил его вперёд. Немец сделал шаг, толкнул дверь, но тут же получил удар канистрой по голове. Потом ещё и ещё. Обмяк, упал на ступеньки, а итальянец изо всех сил держал его за шиворот, чтобы не скатился вниз. Поставил канистру на полку и втащил гостя в небольшое рабочее помещение.

Мойш! – тихо позвал он. – Иди сюда скорей.

Появился высокий человек в кепке.

Что это, Анджи?

Тс-с-с! Где шнуры? Давай, вяжи его.

Дьявол...

Давай быстрее!

Грузный Сухарь, кряхтя, запихал в рот Шиллингу тряпку и обыскал его.

Вот, держи. – передал высокому небольшой пистолет. Тот взял его и вертел в руках, совершенно растерянный. Но помог перевернуть гостя на живот и связал ему руки. Шиллинг мычал, но в себя ещё не пришёл, на затылок стекала струйка крови.

Готов нацист. Подожди... Двери, чёрт!

Осторожно спустился к нижней двери, прислушался, задвинул засов. Вернулся, сел на стул, закурил. Его приятель с ужасом разглядывал пистолет.

Красивый, – сказал он, – написано: «маузер».

Не будь ребёнком. Всё, слава Богу. Глянь на фрица. Специально для тебя пригласил. Ты же мечтал прикончить какого-нибудь нациста.

Я не понимаю... Зачем ты его приволок? Да ещё не одного...

Семейство случайно прибилось, приятель. Но разве не чудо, что мечты сбываются? Помнишь, ты говорил, что своими руками бы душил и смотрел в выпученные глаза подонка, пока не прекратит дрыгать ногами. А потом заснул бы без снотворного.

Я не знаю... Не так всё как-то... Он беззащитный... А внизу...

Хочешь, я развяжу его, выдам пистолет, и вы устроите дуэль прямо на балконе? Как в Голливуде. Луна, звёзды в сумраке, море шепчет тихо: плачь. Две фигуры на вершине. Один нажимает курок... Осечка! Другой...

Мойше впервые улыбнулся.

Хороший сценарий? Его купил бы Чарли Чаплин.

Анджело потушил сигарету сапогом и вынул нож. Перевернул немца на спину и помахал лезвием перед носом.

Всё, мой фюрер, приплыли! Как вам маяк? Ах, entschuldigung<sup>3</sup>. Сейчас я вытащу кляп, и мы с Мойше с удовольствием послушаем о судьбах Италии. Но рассказывать ты будешь только нам, если нас услышит кто-то ещё, я перережу тебе горло, а потом спущусь вниз и прикончу твоих маленьких поро-

<sup>3</sup> entschuldigung – Извините.

сят. Ты понял? Малейший шум, и сегодня у рыб будет шикарный пир.

Шиллинг перестал мычать и кивнул. Анджело вынул тряпку из его рта.

Вот, познакомься, это мой друг Мойше. Этот еврей давно прячется здесь. Мойше, налей мне, пожалуйста, воды.

Лицо немца сделалось страшным. Мойше отвернулся, налил воды и протянул кружку Анджело.

Что ты задумал? – прохрипел немец.

Я очень хочу пристрелить тебя сам, но мой друг так мечтал избавить мир от какого-нибудь нациста... Из-за дурака Муссолини должен был отправиться в концлагерь, а ему с десятком других евреев предложили укрыться в монастыре. Но наш Мойша слишком религиозен, ему не подошёл монастырь. Один бенедиктинец привёл его ко мне и уговорил спрятать на время. Мне было обидно... Такая еврейская гордыня... Но я согласился. Монах пообещал, что в раю у меня будет такой же маяк. Мы сдружились, ночами слушали англичан. А Мойше мечтал прикончить какого-нибудь эсэсовца. И тут появился ты. Я сомневался, переживал. Но сам Господь захлопнул мышеловку. Никто же не уговаривал тебя.

Что вам нужно? – весь красный, немец смотрел то на одного, то на другого.

Всё случилось, как в пророчестве. А ты ещё с семейкой. С женщиной, которую я любил.

Она говорила, что ты пялился на неё!

Анджело глубоко затаился.

Спасибо за сигареты.

Откуда столько ненависти? Я ничего вам не сделал. Да вы рехнулись на своём маяке! Философы...

О, сколько презрения! Да вы англичан больше уважаете, чем итальянцев.

Карллуччи взял кляп и засунул обратно в рот Шиллингу. Мойше стал ходить туда-сюда, накручивая на палец маленькие пейсы.

На, покури, соберись. В Польше твоих братьев травят газом и сжигают. Детей. Женщин. Всех. Один католик поставлял газ в

лагеря и увидел, что там творится. Дошло до Папы... Тыними куртку. Оберни его башку и выстрели. Ты сможешь.

Анджи, я не могу...

Да это же не человек! Монстр!

Он тихо мяукнул, совсем как Борис Карлофф в фильме про Франкенштейна, но Мойше даже не улыбнулся.

Хочешь, чтобы я убил его, а сам смешишь.

Это и есть плод нацистской евгеники. Давай куртку, просто нажми на курок.

Ты не уважаешь мои чувства...

Какие чувства?! Это слюни труса! Король Давид, думаешь, крутил пейсы и ходил по комнате? Да он мечом шинковал сволочей, как кукурузу. Что с вами случилось? Живя среди нас, приняли близко к сердцу идею всеобщей любви?

До этого тихо лежавший немец перекатился к колонне со световым оборудованием, извиваясь, как кусок разрубленного змея.

Ноги не связали!

Анджело вскочил, но тот уже освободился и кинулся на Мойше. Выбил пистолет, обхватил рукой шею и попятился к двери на площадку. Карлуччи подобрал пистолет и двинулся за ними.

Отпусти его, ублюдок!

Брось пистолет, я сверну ему шею!

Мойше стал вырываться, и они оба грохнулись на пол. Анджело прицелился и выстрелил. Но раздался крик его друга – пуля угодила ему в плечо.

А-а-а-а! Ты попал в меня!

Их отвлек гул пропеллера. Все подняли головы и увидели самолёт. Он летел так низко, что можно было разглядеть силуэт.

Англичане. – Прошептал Мойше.

«Винсент». Чёртовы Королевские ВВС.

Убери пистолет, Карлуччи, – оживился немец, – твой друг ранен. Скоро здесь будут американцы. Отпусти меня, и вы сможете уйти на Сицилию.

Но тот лишь молча водил пистолетом, целясь в голову Шиллигу.

Ты не знаешь, скоро начнётся высадка союзников. Я вообще не понимаю, как уцелел ваш маяк. Почему они бомбили Ватикан, а навигационный объект оставили в покое?

Ватикан бомбили англичане. Рузвельт не допустил бы.

Идиот! Если в «либерейторе» сидит один католик-стрелок, это остановит их?

Хватит вам, – сказал Мойше, – у меня плечо прострелено.

А ты ведь не мог его прикончить. Тебе же никто не предлагал.

А-а-а-а-а! – Мойше вдруг взревел, как дикий зверь, прижал спиной немца к стене и стал подниматься с ним, как со штангой. Карлуччи выстрелил. Будто не замечая этого, Мойше сбросил с себя немца, и тот повис на леерах, как пустой мешок. Сухарь подбежал к нему, приподнял за ноги и сбросил вниз. Гауптштурмфюрер летел, раскинув руки, как огромная подстреленная птица. Какое-то время его страшный крик стоял в ночи.

Мойше сполз на пол, закрыл глаза и тихо стонал. Самолёт сделал круг над маяком и ушёл в ночь. Внизу кто-то кричал и колотил в дверь.

Твою мать. Ты сделал это.

Это ты его уколошил.

Ты сбросил его с себя.

Там стучатся.

Покажи, куда попал.

Ч-чёрт...

Внизу аптечка и морфий.

Кто там?

Жена его.

Зачем притащил?

Их нельзя отпускать.

И что?

Надо закончить.

Ты рехнулся.

Самое трудное мы сделали.

Прекрати.

Дзета... Я любил её... А она вышла замуж за нациста и родила двух арийцев.

Ты же не собираешься...

Хотел попросить тебя. Но ты на ногах не стоишь.

Дай сигарету.

Лови.

Одной рукой не поймаю.

Сухарь подполз к нему, вставил сигарету в рот и поджёг.

Откуда у тебя сигареты? Armada... Для немецких солдат...

Это его? Где твоя трубка?

Потерял. Упал с велосипеда.

Гсподи, у тебя всё лицо исцарапано.

Карлуччи встал, облокотился на перила и смотрел на море.

Анджело.

А?

Почему нас не разбомбили?

Не знаю. Может, нас просто нет. И маяка никакого нет.

Вряд ли. Как ты умудрился... потерять трубку... Эти крики  
внизу.

Я знал, что долго курить её не смогу. В сигаретах есть что-то такое. Оно не отпускает тебя. Держишься, держишься, а потом падаешь с велосипеда и всё.

Что будем делать?

Живыми они не уйдут.

**Денис Соболев**

## **ПРОБУЖДЕНИЕ**

1

Синее, сверкающее, далекое небо опрокинулось на меня, подступая, но не подходя ближе, охватывая своей удивительной волнующей самодостаточностью, полнотой своего приоткрывшегося беззвучного бытия<sup>1</sup>. Его было много, и оно было очень большим. Раньше я видела его только из окна. Но и раньше – это всего несколько дней. А еще стало неожиданно жарко. До последнего момента я думала, что меня встретят; но меня не встретили. За мной оставалось большое людное здание, наверное, построенное еще в семидесятые, стекло и бетон; передо мной – облицованные светящимся на солнце камнем, старые стены монастыря. По правую руку своим неостанавливающимся насекомым движением шевелилась огромная стройка. Выходя, проходя через лобби, я изучила макет того, что уже есть, и того, что еще только будет; здесь будет целый больничный город, подумала я, стекло и бетон, монастырь, стройка, наполненная солнцем площадь. Я постояла на площади, серые отмытые солнцем камни под ногами, передо мной – цепочка такси, позади машины скорой помощи, вдохнула лучи высокого солнца, почувствовала, что и сама быстро нагреваюсь под ними, вдохнула, выдохнула, глубоко вдохнула снова и торопливо пошла в сторону проходной. Меня зовут Надя. Меня никто не преследовал; никто не шел за мной по

<sup>1</sup> © Денис Соболев, 2016. Все права защищены. Запрещается копирование, распространение (в том числе через Интернет) или любое другое использование этого текста (или его частей) без предварительного согласия правообладателя.

пятам; это значило, что мне удалось их обмануть. С самого начала я думала, что мне это удастся. Или все же не обмануть? Я знала, что меня зовут Надей. Я узнала это случайно, подсмотрев в палате, в первый же день. Я тогда подумала, что у меня должно быть замутненное сознание, но сознание было удивительно ясным. Почти прозрачным. Так я и подсмотрела, что меня зовут Надей; так и поняла, что ни в коем случае нельзя, чтобы они узнали, что я этого не знаю. Так мне удалось их обмануть. Теперь я шла по мощеной дорожке в сторону незнакомой улицы, а светящееся каменное здание бывшего монастыря оставалось по левую руку. Навстречу и вслед за мной двигались незнакомые люди, но они не пытались меня догнать, но они меня и не встречали. Никто ни о чем не догадался; я была свободна. Теперь мне оставалось узнать, кто такая Надя.

Надя – это я. Собственно говоря, здесь нечего и узнавать. Нечего и утаивать. У меня были документы на имя Надежды, у меня были ее ключи, за нее, то есть за меня заплатила (или еще заплатит?) больничная касса. Тут не было места для сомнений. Солнце растекалось по всему моему телу, а небо было синим и горящим. Надежда – это была она, а она – это была я. Я – это она. Она – это я. На документах были фотографии. Одна на удостоверении личности, другая на правах, не очень похожие друг на друга. Но разве мы всегда похожи друг на друга, подумала я тогда, всегда похожи на себя? В зеркале в туалете я запомнила, как я выгляжу; потом мысленно сравнила с фотографиями. Не очень похоже, но и фотографии не очень похожи друг на друга; а определенное сходство все же было. Фотографии могли быть старыми; кроме того, со мной же что-то случилось, что-то же со мной случилось? Или нет? Когда мне разрешили ходить самой, я помню, что сразу вернулась в туалет, там было зеркало и сероватый пятнистый искусственный мрамор вокруг раковины, я их очень хорошо помню, в первые два дня они были почти единственным, что я видела кроме палаты и коридора, и сравнила фотографии с зеркалом: определенное сходство несомненно было.

Но не все ли мы похожи друг на друга, или ни на кого? И все же документы были гораздо больше похожи на зеркало, чем на любого из врачей, чем на любую из сестер, наверное, даже чем



на любого из посетителей, хотя я и не была в этом уверена. Дни были долгими; я и забывалась, и смотрела на часы; меня мучили боли и сомнения. А вдруг пробираясь сумерками сознания, сумерками утраты, я их просто подобрала? Подобрала чужие документы или подобрала чужие дни? Тем временем, я научилась откликаться на имя Надя; как кошка, подумала я тогда. Я подслушивала, но врачи и сестры ничего не говорили про Надежду; наверное, они не знали, или им это было неинтересно. Они говорили про мое тело, часто говорили с заботой, но меня мучило еще и зеркало, и фотографии; об этом я не могла им рассказать. Я перебирала свое имя, как ломтик апельсинового солнца на языке. Пока оно и было всем тем, что у меня было. Я это она, она это я. Мы с ней где-то живем. Но где, как, зачем, почему? Меня охватывали любопытство, страх, предчувствия, неизвестность, чувство сопричастности тайне, сопричастности своему молчанию. Меня зовут Надя. Меня зовут Надежда. Я верю.

## 2

Передо мной в сторону неба, своей огромной массой подпирая высокие лучи солнца, поднималась гора; по всем ее склонам, насколько хватало взгляда, погруженные в ее темную зелень, были разбросаны дома, иногда высокие, чаще приземистые. В сторону то ли вершины, то ли просто перегиба горы, ровной широкой полосой, поднимался неизвестный сад. Я все это уже видела, подумала я; видела и глазами, и телом, и дыханием памяти; хотя и не знала, как и когда. Конечно же, видела. Должна была видеть. Вероятно, видела много раз, а, может быть, и много лет. Ведь меня зовут Надей, и где-то в этом городе я живу. Судя по документам, я живу на улице Беньямина из Туделы, дом девять, квартира семь; индекс тоже указан. Интересно, кто такой этот Беньямин? Я помнила, что Тудела находится где-то там в Испании, а ведь это как раз с другой стороны нашего великого моря. Как же он здесь оказался? Неужели в один из своих долгих солнечных испанских дней он вдруг, безо всякой особой причины, просто встал, обулся, собрался и переплыл море, а теперь его именем названа улица? А как я здесь оказалась, мысленно продолжила я, на узкой тро-

пинке между бетонными домами, со светло-серыми каменными плитками под ногами, у подножья этой вечной горы, которая светилась своей зеленой полнотой жизни и наваливалась на меня тяжелой безымянной, хоть и знакомой, хоть и незнакомой, массой города, упирающегося в небо? Неужели и я тоже, как и этот неизвестный мне Беньямин, в один из наших коротких туманных дней, незаметно переходящих в вечер, когда мелкий дождь не бьет в окна, а просто шелестит по стеклам счастливой серой волной, я тоже вот так просто встала, собралась и переплыла море? Но почему? Почему и откуда, почему и куда? Так я перебирала гальку, переворачивая ее на ладонях, всматриваясь в разноцветные пятнышки на ее теле. Я думаю, что мне было восемь, нет, скорее девять. Но я все еще любила, когда мне читают; очень об этом просила; и родители мне читали, а я перебирала в ладонях гальку. Это было на другом море; в нем не было величия, но был уют. Так я вспомнила, что море, к которому спускается эта гора, наделено величием, но наделено и неизбежным отчуждением величия. А тогда мы снимали дачу с высокой верандой недалеко от городка под названием Судак; я ее помню. Там была галька, большая и серая, с разноцветными крапинками, и я переворачивала ее на ладонях. Вода шумела у самых моих ног. Мне читали про великого сыщика Шерлока Холмса.

Сыщик Шерлок Холмс знал, что по капле воды можно узнать о существовании моря. Но можно ли по существованию моря узнать о капле воды? Я была каплей воды в растекающемся море города. Надо мной было сияющее небо, передо мной – уходящая в небо гора, позади великое море; я вышла к вокзалу, перед которым тянулась цепочка автобусных остановок. На вокзале было написано «Дочь волн». Я была каплей воды, которая должна была узнать о своем существовании, вглядываясь в высвечивающееся бытие этого моря; я стала Шерлоком Холмсом, подумала я, ставшим каплей воды, которая не хотела быть частью моря. Но теперь я уже знала, что мне надо делать, теперь у меня был план; я буду наблюдать, вслушиваться, предполагать, проверять и притворяться. Я вернусь в квартиру на улице Беньямина из Туделы, дом девять, квартира семь, и буду жить так, как жила и раньше, с тех пор, как переворачивала на

ладонях гальку на берегу Черного моря, в безымянной деревушке около городка с рыбным названием Судак, где мы летом снимали дачу, и так я узнаю, кто я. Я буду притворяться самой собой, как если бы ничего не случилось (но ведь что-то же все-таки случилось?), я буду осторожно играть саму себя, буду играть так расчетливо и так естественно, что никто ни о чем не догадается. Как великий сыщик Шерлок Холмс, я смогу стать и лондонским бездомным, и викторианской леди с намокшим зонтиком, и торговцем книгами, и лудильщиком по имени Чарли, и девушкой, запирающей на ночь дверь от бродячих по дому гиены и бабуина, и фермером, разводящим пчел, и выпью с девонширских болот, и негодяем из Чикаго, продающим германской разведке чужие секреты. Как гувернантка в «Медных буках», я буду надевать чужой парик; я буду надевать любые парики, потому что Надя могла бы родиться и блондинкой, и брюнеткой, и рыжей; она могла бы побриться наголо, свалить волосы в расты или оставить крашеный ирокез; наверное, могла родиться и мужчиной. Я стану похожей на свои фотографии, которые непохожи друг на друга. Я научусь быть похожей на каждую из них. Так постепенно я узнаю, кто я такая. Пока же я могу быть только сыщиком Шерлоком Холмсом, который не хочет быть каплей воды в этом чужом, прекрасном, пугающем и бессмысленном море, мире. Постепенно я научу себя дедуктивному методу.

И все же, подумала я чуть позже, сидя на заднем сиденье неизвестного мне автобуса, почти пустого, свесив ноги, вдумываясь в легкость моих стоп, неожиданно оказавшихся в воздухе, ощущая всем телом как упруго подскакивает высокое сиденье, и все же историю моих поисков будет некому записать – потому что у светящихся стен бывшего монастыря, отливающих золотом высокого солнца, меня никто не встретил. Непреложная логика дедуктивного метода, следовать которой я только что решила, решила обдуманно, но и почти бездумно, как будто, задержав на секунду дыхание, нырнула в прорубь, эта логика заставляла меня заключить, что у моих поисков нет доктора Ватсона. Или точнее: доктор Ватсон – это тоже я. В этом мире я одна. Одна в этом городе под горой, и в этом городе на горе. Одна в мире под счастливым синим сверкающим небом.

Так что мне придется писать и за доктора Ватсона тоже. Я еще не знаю, что значит жить за себя, жить собой, но писать за себя, писать из пустоты, писать из неизвестности себя, из обманчивой явленности существующего и безымянности утраченного, это уже значит жить. Я приду в свою, еще неизвестную мне квартиру на улице Бенъямина из Туделы, дом девять, и начну писать. Мысленно я уже пишу, уже рассказываю свою историю, которая никому неинтересна, потому что мой единственный читатель, мой единственный искренний слушатель – это тоже я. Но снова – не все ли мы так? Но что я знаю обо всех?

Автобус медленно проплывал, подпрыгивал по узким улицам, через густые автомобильные пробки, потом начал карабкаться в гору. Многоквартирные бетонные многоэтажки сменились низкими домами с балконами; многие из них были облицованы желтоватым камнем. Гудели автомобили, уличная толпа пестрела разноцветными одеждами, разноцветными лицами разных рас; она вспыхивала то горькими пятнами бедности, то всполохами юности, еще играющей в свою недолгую гладкую сытость, из-под которой, как из-под чрезмерно облегчающей одежды, как из-под лифчика, намеренно выбранного на размер меньше, просвечивали и голод желаний, и несложный расчет, и равнодушие чувств, – в мире, где для столь многих юность является тем самым ходовым личным товаром, переходящим из рук одних обманщиков в руки других, где нет наивных, но есть и более хитроумные, и более жестокие. Я отвлеклась от улицы и с любопытством, с нарастающим удивлением стала следить за своими мыслями; я еще не знала своих мыслей; подумала, как странно я думаю про неизвестную мне человеческую улицу. Кто же я, почему в моих мыслях оказалось столько горечи; я скользила вдоль этих мыслей назад к залитому солнцем прекрасному миру, еще час назад открывшемуся передо мной на долгие минуты, но потом перед глазами замелькали узкие аляповатые витрины маленьких магазинов, и я снова перевела взгляд. Мимо окна автобуса скользнула витрина с выставленными в ней книгами, я оглянулась и на ближайшей же остановке вышла.

Девушка за прилавком приветливо поздоровалась со мной, в ее голосе прозвучала известная сердечность; и все же было

непонятно, знакомы ли мы. Встречает ли она так всех входящих? Или только постоянных посетителей? Или мы знакомы с ней совсем не по магазину; она рада меня видеть, но ей немного неловко, что на этот раз мы встречаемся в ролях покупателя и продавца? Наверное, для нее это временная работа, и она немного стесняется и ее тоже. На ее левом предплечье, открытом коротким рукавом блузки, я увидела небольшую татуировку с изображением горы, которая показалась мне знакомой. Я ответила ей с тем же сдержанным теплом, но без панибратства; мой ответ можно было истолковать, как ответ, уместный для любой из ее гипотетических ролей, для любого уровня нашего гипотетического знакомства. Да и часто ли мы действительно знаем, в какой степени мы, на самом деле, знакомы с окружающими нас людьми, подумала я. Так я начала учиться притворяться выпью с девонширских болот; так я начала учиться находить этому причины и оправдания.

«Мне нужна карта города», постаралась сказать я как можно проще; с тех пор как я себя помнила, я не так много говорила с другими, и добавила, «Пожалуйста». «Какого города?», спросила девушка чуть удивленно, «Нашего, конечно же», ответила я, «Я его люблю, мне нравится по нему бродить». Девушка снова взглянула на меня с тем двусмысленным выражением, которое показалось мне взглядом удивления. Может быть, она знала, что я не люблю бродить по городу? А что же я люблю? Может, я люблю оставаться дома, смотреть фильмы про захватывающие дыхание дальние страны и мечтать о них? Или, наоборот, днем я обычно сплю, а вот по вечерам, с трудом проснувшись после полудня, люблю ходить на вечеринки или в клубы? И что вообще значит для меня слово «люблю»? Что еще я люблю? Кого я люблю, кого я любила, люблю ли я себя? Она кивнула, достала карту, положила ее в пакет и протянула его мне; я расплатилась. «Увидимся», сказала она неопределенно. Сказала, как подруге? Как давней, но поверхностной знакомой? Как еще одной праздной посетительнице магазина, чрезмерно внимательно в нее всматривавшейся?

Придерживая дыхание, чтобы не показать накатывающее, бьющее волной нетерпение, я отошла от книжного магазина на пару десятков метров и достала карту из пакета. На ней было

написано «Хайфа». «Так значит я в Хайфе», подумала я. «Так значит я живу в Хайфе, повторила я сама себе. Так значит этот зеленый город на горе и под горой – это и есть Хайфа?» добавила я наполовину утвердительно, наполовину вопросительно. Интересно, как я здесь оказалась? Я устроилась на широком каменном парапете, огораживающем дерево, развернула карту. Эта гора называлась Кармель. Я вспомнила, что это знаю. В Хайфе есть гора Кармель. Или иначе – на горе Кармель стоит Хайфа. К карте прилагался индекс, и я нашла улицу Беньямина из Туделы. Здесь я живу. Дом семь, квартира девять. Это мой дом. Но мне это ничего не говорило. Дом и все это, и адрес, и карта, никак не связывались друг с другом в моем сознании. Ничто, совершенно ничто, не воскресало в моей памяти. Может быть, все это иллюзия, и у меня нет дома? А откуда же тогда ключи? Может быть, это ключи от квартиры знакомых или соседей, потому что я кормлю их рыбок, пока они в отпуске? Но тогда где же я живу? Где-то же я живу? Это почти точно. Я не похожа на бездомную. Впрочем, возможно, что у меня есть квартира, но у меня нет дома. Я снова взглянула на карту, повторила адрес, еще раз сделала это вслух, тихо, чтобы не привлекать к себе внимание, пошевелила губами, попробовала слова адреса на вкус, но снова ничего не почувствовала. Мне вдруг стало казаться, что я перестала чувствовать и саму себя. Кем же был этот Беньямин из Туделы, спросила я себя, как будто этот вопрос мог помочь мне понять, кто же такая я; но на него моя карта не могла дать ответа.

Дом семь, квартира девять, повторила я как мантру, и мне неожиданно пришло в голову, то я могла бы найти свой адрес и без всякой карты, просто по мобильному телефону. Но у меня не было мобильного телефона. Где же он, подумала я с удивлением, почему его у меня нет? Телефоны, электронные адреса, частые звонки, недавние звонки, длинные разговоры, если бы я все это знала. Как бы все это могло мне помочь! Хотя разве я могла бы позвонить по последнему набранному номеру и спросить, скажи, кто я, скажи, как меня зовут? Меня зовут Надя. Это я знала. И все же, почему у меня нет телефона? Пропал? Украли в больнице какие-нибудь посетители? Забыли вернуть вместе с другими вещами? Или я прячусь? Скрываюсь? В

бегах? Почему? От кого? Вот еще одна загадка. Но теперь я знала, куда мне надо добраться, и остановила такси. А почему я не сделала этого раньше? Я вспомнила странный взгляд девушки в книжном магазине. Может быть, она тоже подумала о мобильном телефоне. Почему же его у меня нет? Такси рывками поднималось куда-то в гору, забирая то вправо, то влево, меня начало укачивать прозрачным полусном; я вытянула ноги. Снова вспомнила ее взгляд. Что же он значил? Знала ли она меня? Пыталась ли обратить на себя внимание? А потом, уже в светлом полумраке расплывающихся мыслей, я стала думать обо всем сразу: о себе, о ней, о витрине с книгами, о чужом взгляде. «Интересно, люблю ли я читать?» вдруг спросила я себя. Или, может быть, люблю просто покупать книги, чтобы чувствовать себя частью большой жизни, полной смысла и глубоких переживаний, жизни где-то там, чтобы чувствовать себя живой; или, может быть, книги вызывают у меня скуку, и я всем отвечаю, что не держу их дома, потому что теперь – и я обычно подчеркиваю «теперь» – читаю все с компьютера? Или при слове книга я уже не чувствую потребности лицемерить и вполне искренне морщусь? Карта – это тоже книга, добавила я в полусне, все крепче сжимая мою карту в руке. Город – это тоже книга. Пространство – это тоже книга. А книга – это тоже город. Я – это тоже город. Но и город – это я. И гора. И великое море под горой. Такси притормозило; как-то незаметно остановилось. Я была дома.

### 3

На двери не было имени, только номер квартиры; ключ подошел. Я повернула его два раза. Вошла. Заперлась изнутри. На всякий случай, оставила ключ в замке. Закрыла и задвижку тоже. Положила карту на тумбочку перед входом. Я была дома. Потом испугалась, открыла замок на тот случай, если придется бежать, оставила дверь запертой только на задвижку. Но в квартире никого не было. Я проверила в комнатах, в ванной, в шкафах, даже заглянула под кровать; балкона в квартире не было. Тогда я вернулась к входной двери и уже спокойно ее заперла. Вне всякого сомнения, в квартире я была одна. Здесь была одна. Наконец-то. Впервые. Точнее: впервые на моей памяти.

За исключением, разумеется, туалета в больнице с зеркалом, отражавшим мое лицо, над пятнисто-серым мраморным прилавком; но и туда всегда могли зайти. Кроме кабинки с унитазом, но там не было зеркала. А здесь у меня было три комнаты, почти пустых. В салоне стояли диван и большой синий пуф, на полу лежало несколько подушек. Кровать была двуспальной, но с одной подушкой. Я была дома. Я была дома. Но это ничего не проясняло. Тогда я вспомнила, что пока добиралась до дому, я стала сыщиком Шерлоком Холмсом. Сквозь просветы в тумане представила себя с большим увеличительным стеклом. Возможно, даже в кепке. В кепке с двумя козырьками. Но у меня не было ни стекла, ни кепки. И это не имело значения.

Было немного душно, и я открыла окно. Я должна была осмотреть квартиру. Осмотреть каждую мелочь. Вещи могут гораздо больше рассказать о людях, чем люди о вещах, говорил Холмс. Надо осмотреть каждую мелочь моего дома – и эти мелочи расскажут мне обо мне. Они часть тела моего бытия. Осмотреть это тело – мое тело. Пространство – это книга; книга – это пространство, это тоже тело. Я должна была осмотреть каждую мелочь тела моего пространства, пространства моего тела – этой капли моря, где кусочками отражается моя душа. Но я очень устала. Очень, очень устала. Почему же я так ужасно невыносимо устала? Когда я успела? Сначала надо было осмотреть постель; судя по всему, я довольно давно ее не меняла. Это значит, что в ней оставалось много памяти. Как в надписях, вытесанных на камнях. Память – это хорошо. Это то, чего мне не хватает, то, чего не хватает нам всем. Мы все почему-то лишились памяти. В постели я даже смогу вспомнить свой запах. У меня тоже есть запах, как у всех. У меня тоже есть тело, тоже есть душа; я просто их потеряла – как и все. Я разделась, легла под простыню и почти мгновенно уснула. Сначала мне не снилось ничего, совсем ничего; наверное, я очень устала. Но потом приснился книжный магазин, где девушка за прилавком разделась, чтобы показать черно-белую карту города Хайфа, нанесенную на все ее тело. «Тело – это карта», говорила она, «Тебе завернуть?». Этой девушкой была я.

Проснулась уже в сумерках, посмотрела на белый потолок, перевела взгляд на серый расплывающийся прямоугольник



окна, почти встала, решила еще немного полежать и уснула снова. Во второй раз я проснулась ночью; где-то вдалеке над-равно выли шакалы, я знала, что так воют шакалы; неожиданно поняла, что проснулась от голода. Холодильник работал, хотя я помнила, что его не включала; часть продуктов была испорчена: гнилые огурцы и подгнившие помидоры, хлеб с плесенью, прокисшее молоко, просроченные йогурты. Я поняла, что меня давно здесь не было. Но морозилка была почти полной, да и в холодильнике я нашла сыр, яйца, еще кучу всякой всячины, разборку которой я оставила на утро; потом уже в шкафу – корнфлекс, рисовые крекеры и крупы, рыбные консервы и консервированные ананасы; если бы оказалось, что мне нельзя выходить из дома, я бы могла питаться всем этим целый месяц; может быть, даже дольше. Я понемногу попробовала почти все найденное; из горлышка отхлебнула из открытой бутылки вина, но поленилась открывать консервы. У меня было много тарелок, самых разных, как будто я их собирала; зачем мне одной столько тарелок, подумала я, разве я люблю гостей? Или мне их отдали заботливые родственники, поленившиеся дойти до мусорного ящика? Поставила в раковину грязную тарелку, на секунду сверкнувшую своим белым боком. Надо ее вымыть, подумала я, не сейчас. Эта мысль навела меня и на другие мысли. Надо вымыться, продолжила я. Дошла до ванной, открыла воду в душе и с минуту смотрела на ее неустойчивый блеск в приглушенном свете бра; почему же этой первой ночью дома все так странно отсвечивает, потолок, тарелки, вода, неужели так выглядит отсвет дома; потом включила и верхний свет тоже. Мерцание воды сохранилось, но вся его таинственность исчезла. Не сейчас, подумала я, и закрыла воду. Вернулась в постель и уснула. Думаю, что вдалеке еще продолжали выть шакалы, но я их уже не слышала.

На этот раз я проснулась ранним утром, полная неожиданных сил и той душевной ясности, которую часто приносит долгий сон; будильник показывал без двадцати семь. Из оконного проема на угол кровати падал солнечный свет и, несмотря на ранний час, струилось летнее утреннее тепло. Я опустила жалюзи и дошла до кухни. Какой же страшный беспорядок я вчера оставила, подумала я и попыталась вспом-

нить, во сколько я вернулась: в час, в два, в три? Где же я была? Все было каким-то стертým и неясным. Неужели я так напилась? Вероятно – я видела, что посреди ночи я еще и ужинала, но как-то странно и беспорядочно; потом увидела недопитую бутылку вина; я еще и допивала, с удивлением объяснила самой себе. В последний раз, который я помнила, когда я так напивалась, это было в греческом городке Кавос, где стакан виски стоил дешевле, чем стакан сока, а моя подруга нырнула ласточкой в пустой бассейн. Вчера я была явно расстроена, но чем? Наверное, мы поссорились – пошли туда вместе, а потом поссорились, скорее всего даже разругались, а потом я вернулась домой, в одиночестве доедала холодный ужин и допивала давнее початое вино. В фильмах всегда так бывает. Сначала чужой праздник, потом ссора, потом холодный ужин на ночной кухне. И тут, неожиданно, я поняла, что не помню, с кем же я поссорилась. Из окон лился счастливый утренний свет, а я почти дрожала от страха; не могла сосредоточиться – я напилась, поссорилась и не могу вспомнить с кем. Наверное, я потеряла память, подумала я на секунду; может быть, поскользнулась и упала; может быть, меня ударили. Так тоже бывает в фильмах. И только тогда меня отбросило в полноту воспоминаний, едва ли не спасительных, едва ли не счастливых. Это незнакомая квартира и незнакомый дом, сказала я себе; я проспала полтора дня, а теперь мне предстояло их исследовать. Я ни с кем не ссорилась – по крайней мере, ни с кем, о ком я могла бы вспомнить. Я не была на вечеринке и не напивалась, не скользила и не падала, не прыгала ласточкой в пустой бассейн, меня никто не бил; я не ужинала на одинокой кухне в тусклом желтом ночном свете; я вообще не в фильме. В Кавосе я действительно когда-то была, а моя подруга действительно пыталась нырнуть в пустой бассейн; но это не имело к делу никакого отношения. Я здесь, потому что я стояла на залитой солнцем площади у подножья горы Кармель и потому, что купила карту улицы Беньямина из Туделы в книжном магазине у девушки с черно-белой татуировкой во все тело. Из кухонного окна лился счастливый южный солнечный свет; я вообще не в фильме, сказала я себе. Вздрогнула и окончательно проснулась.

Впрочем, в фильме все было бы просто, а здесь не было просто; оно не было и сложно; пока что оно было просто никак, но это никак начало меня пугать. Станным образом, оно пугало меня больше, чем вчера, когда ликование от того, что я их провела, смешивалось с нетерпением, любопытством, усталостью. Теперь же тонкий, не очень отчетливый страх неизвестности стал меня угнетать. Решив действовать методично и восполнить вчерашнюю ночь, я выбросила испорченную еду, поставила тарелки в раковину и влезла под душ: горячий, теплый, потом холодный. Я видела, как на улице становится все жарче, и в воздух поднимается серая раскаленная пыль. Действуя методично и дедуктивно, исследование квартиры было проще всего начать с ванной. Так я и поступила. Там было довольно много всего. Я нашла три сорта мыла для рук, несколько сортов шампуней и несколько сортов мыла для мытья тела, часть из них со всевозможными очистительными добавками; я нашла ночные и дневные кремы для лица, по несколько сортов, но не очень много, три сорта кремов для глаз, кремы для тела и кремы для рук, крем от загара с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей – я поняла, что легко сгораю на солнце – нашла средство для мытья лица и еще одно с солью Мертвого моря, серум и крем от морщин. Я остановилась, посмотрела в зеркало и увидела у себя на лице несколько тонких морщин, не очень много; я продолжала перебирать банки и тюбики, рассматривать тампоны и пакет с ватой, но уже без особой надежды; мне не удалось ничего узнать о себе. Эти вещи ничего не помнили, ни о чем мне не говорили, не могли или не хотели ничего рассказать; или, может быть, это я, я не была способна их разговорить? В любом случае, даже если моя первая попытка потерпела неудачу, передо мной неизвестной, неизведанной землей еще маячила вся моя квартира. Я еще раз огляделась, и не найдя в ванной больше ничего интересного, повернулась к ней спиной, а лицом к своему незнакомому дому.

Мне не хочется обманывать себя, не хочется обманывать и читающую, не хочется играть с ложными ожиданиями и пустыми надеждами; их слишком много и без наших намеренных усилий. Впрочем, не написать о том, что я была разочарована и обескуражена, тоже было бы ложью. Мой дом оказался столь же ра-

зочаровывающим, как и уже изученная мною ванная. В нем было довольно много разных вещей – от одежды из фирменных магазинов, как мне показалось, не самых дорогих, но и не самых дешевых – до привезенных из-за границы сувениров. Кроме Кавоса, я, вероятно, не так уж мало где побывала; впрочем, во всех этих сувенирах не было единой мысли и вкуса, а страны, которые они представляли, были из какого-то стандартного туристского списка. В Праге я, вероятно, пила пиво – от него осталась сувенирная кружка; в Париже гуляла по набережной Сены, а потом рассуждала про цветущие каштаны, даже если я была там в ноябре, и про музей Сальвадора Дали; в Италии лежала на пляже, иногда заходила в старые церкви и ужинала на узких улочках. Собственно говоря, так можно было оставаться дома, в постели под самым летним окном. Кроме того, ничего из этого я не могла вспомнить; или все это мне просто подарили? Я перебирала одежду, ее было довольно много, и она была мне чуть велика; наверное, в больнице я похудела. Некоторые вещи мне понравились; я нашла несколько вещей «от дизайнеров», но, как мне показалось, в них было больше претензии, чем мысли или вкуса. Так что мой вкус меня озадачил и несколько расстроил. Мне показалось, что эти вещи не стоили того, что я за них, вероятно, заплатила; кроме того, теперь они были мне велики.

Без особой надежды я начала разбирать бумаги и книги. Среди них почти осязаемо не хватало чего-то важного, но я не могла вспомнить чего. Оплаченные счета, несколько открыток из тех же стран из стандартного туристского списка, несколько книг в жанре фэнтези с яркими глянцевыми обложками, книга про девять каких-то принцев, «Код да Винчи», «Девушка с татуировкой дракона», «22 оттенка серого», потрепанный роман про Фандорина, два детектива Донцовой, и еще несколько книг, чьи названия и обложки мне ничего не говорили. Это было странным, и я вспомнила девушку в книжном магазине, вспомнила с недоумением – я явно не была из числа запойных читателей. Или, может быть, я читала только с экрана, а это были случайные подарки от случайных людей на случайные празднования дней рождения? Это можно было проверить, и к тому же мысль о компьютере навела меня на дополнительные де-

дуктивные размышления; я поняла, чего именно так не хватало среди бумаг; там не было фотографий. Они явно тоже были в компьютере. И тут я поняла, что компьютера не было! Был письменный стол, кабель интернета, модем, роутер; все было как полагается; но не было самого компьютера. Вероятно, у меня был ноутбук, который пропал вместе с мобильным телефоном. С помощью него, подумала я с острым чувством разочарования и потерянности, я бы могла прочесть свою переписку, узнать, что я думаю и кто мои друзья, изучить мой профиль на фейсбуке, увидеть и те мои фотографии, которые я стремилась всем показать, и те, которые я стремилась спрятать; возможно, у меня была анкета на каком-нибудь сайте знакомств. В мгновенном приступе растерянности я осознала, что там – где-то вовне меня – пряталась моя личность, но именно это там и отсутствовало. Я была где-то там, и этого где-то там здесь не было; точнее, им, вероятно, завладел кто-то другой; эта мысль была пугающей. Надеюсь, у меня хватило предусмотрительности не записывать мои пароли в том же ноутбуке, подумала я; но уверенности в этом у меня уже не было.

Я вернулась в ванную и стала вглядываться в свое лицо; эйфория ожидания и неизвестности прошла почти без остатка, почти без телесной памяти о том, что она была, раздавленная бременем бесплодности моих розысков и находок. В первые минуты эта новая, не продуманная заранее, встреча с моим лицом оказалась неожиданно наполненной открытиями. Кожа на лице и руках была темнее, чем на всем остальном теле; вероятно, я любила гулять, подумала я, радуясь своей находке. Но почти сразу же мысленно остановилась. Возможно, это просто южное солнце, южное солнце. Наверное, мы все так; но кто они, эти все мы? Рассматривая свои волосы, выкрашенные в два оттенка, я обнаружила еще чуть более темные корни волос; это и есть мой естественный цвет, сказала я себе, но потом вспомнила, что корни волос всегда чуть темнее. Так что, может быть, и нет. Потом внимательно изучила тонкие морщинки, уже обнаруженные мною раньше; их было немного, они были тонкими и не были глубокими, но они были; были ли они отпечатками неотступного гулко-го движения времени, следами мысли или горького разочаровывающего опыта? Ни во мне, ни в моем

доме не было ничего, что могло мне помочь хотя бы попытаться ответить на этот вопрос. И тогда мне стало страшно – страшно, как еще ни разу за эти дни. Я смотрела себе в глаза, в самые зрачки, окруженные белизной глазных яблок, собрав в этом взгляде всю свою волю и весь свой страх, все разочарование и всю надежду, сжав губы, смотрела в самые черные точки, призывая на помощь силу памяти, и солнечный свет у подножья горы Кармель, и сон про девушку с картой на все тело, и синий пуф, стоящий посреди салона, но мне все равно было очень страшно. Это был удушающий, почти непреодолимый приступ паники; мне стало казаться, что меня не существует. Я мысленно хваталась за все доказательства своей реальности и материальности, неслучайности своего присутствия здесь, за свои светлые волосы, водительские права и оплаченные счета, но в эти минуты мне стало казаться, что все говорит об обратном. Мне было очень страшно, что меня просто не существует.

#### 4

Это был приступ паники – наверное, почти что приступ настоящего психоза; но мне удалось его подавить; я существовала. Зеркало еще раз взглянуло на меня; я ответила ему несколькими взглядами – сначала все еще паническими, потом уже более спокойными, а еще чуть позже деланно равнодушными. Оно продолжало смотреть на меня, но теперь в его взгляде уже не было той гипнотической, парализующей власти. Я вспомнила то чужое зеркало в больнице, от него исходила уверенность в том, что я есть, в том, что я есть такая, как я есть; это же зеркало, зеркало в моем доме, было обратным близнецом того давнего, больничного; оно было зеркалом в мир, где меня не существует. Но я была по эту сторону этого зеркала, а значит в этом мире я существовала; я была полна решимости существовать, хотя еще и не знала, как это делают. Я вспомнила, что начинала свои розыски с желания узнать не как это делают вообще, а как это делала я сама. Решила пойти кружным путем. Вернулась к шкафу, выбрала одежду поменьше. Когда-то, наверное, я застегивала эти джинсы, с трудом подтягивая пуговицу к петле и даже чуть-чуть прогибаясь; теперь же они сошлись на мне легко, немного упав на бедра; я открыла

ящик и нашла пояс. Впрочем, еще более странным оказалось то, что джинсы оказались мне чуть длинны; с разумной точки зрения, это казалось вообще необъяснимым, но после недавнего приступа ужаса, испытанного мною перед зеркалом в ванной, я предпочла обо всем этом просто не думать. Перестегнула пояс еще чуть выше и выбрала туфли на небольшом каблучке. Лифчики тоже оказались чуть велики; ага, подумала я еще раз, в больнице я точно похудела; так что вместо лифчика я надела эластичную майку, а блузку – уже поверх нее. Подумала, что более удобные больничные вещи нужно будет постирать сегодня же вечером. Теперь чуть-чуть крема – я растерла его всплывшими из глубин памяти вращающимися движениями пальцев – и была готова, была готова выйти, выйти в тот мир, в котором мне предстояло узнать, каким образом я обычно существовала, каким образом я – это я. В этом и состоял теперь выбранный мною кружной путь – постараться выяснить, каким образом я – это я, для того чтобы узнать, кто я такая. Душа снова наполнилась предчувствием и ожиданием, воздухом и вниманием, начала резко и нетерпеливо пульсировать.

На лестнице мне встретилась соседка с седыми волосами и холодными глазами; она отпирала дверь, поставив на пол пластиковые пакеты. «Добрый день», сказала я; «добрый день», ответила она, чуть приподняв взгляд над ключом, утопающим в замочной скважине; это были первые слова, сказанные и услышанные мною с тех пор, как я рассталась с той девушкой в книжном магазине, у которой не было карты, вытатуированной на всем теле. Эти звуки своей и чужой речи застали меня врасплох; на секунду я остановилась. «Давно вас не видела», добавила я неуверенно; «да», сказала она, «И у вас наверху так тихо, что я уж подумала, что вы за границей». На этом разговор был явно исчерпан; кроме того, было видно, что больше ничего она, скорее всего, не знает; так что я попрощалась. «А что обычно у меня шумно?», вдруг подумала я, продолжая спускаться, «Приходят малознакомые мне люди, лезут в холодильник и оставляют все эти грязные тарелки. Или просто она из тех, кому мешает любой самый дальний шум?». Но спросить ее об этом напрямую было невозможно. Около дома стояли ма-

шины, самые разные; я снова остановилась, попыталась всмотреться и понять, какая из них моя; но ни одна из них не вызвала в памяти никакого эха. Я безрезультатно оглядела их одну за одной. Но потом, почти что усилием воли, чтобы не привлекать к себе внимания, заставила себя перестать изучать машины и пошла в сторону автобусной остановки. Значит ли это, что я обсессивна? Или чрезмерно занята самой собой и своим прошлым? Да и стоят ли они вообще того, чтобы про них думать?

Было очень жарко, воздух казался уже не утренним, а полуденным; желтые камни стен светились солнечной белизной; густая, хотя и обожженная, зелень улицы почти не отбрасывала тени. Меня окликнула девушка с неожиданно заспанным видом и двумя лабрадорами на поводках. «Доброе утро», сказала она приветливо. «Доброе утро», ответила я и продолжила с гораздо большей уверенностью, чем в прошлый раз, «Давно тебя не видела». Моя собеседница засмеялась; «ну не так уж и давно», сказала она, чуть двусмысленно улыбаясь, «Но у тебя, наверное, время идет быстро». Я помню, что немного растерялась. «А ты что-то осунулась», добавила она. «Надо будет увидеться», сказала я, настаивая возможно несколько чрезмерно, но и хватаясь за единственную ниточку, которая показалась мне внушающей надежду. «Завтра я улетаю», ответила она, продолжая улыбаться, как мне показалось, чуть иронично и все так же двусмысленно, «А сегодня, ты же понимаешь, какой бардак накануне полета». «Уже завтра?» воскликнула я удивленно, невольно попадая в тот же самый, совершенно непонятный мне, чуть двусмысленный и чуть ироничный тон. «Я тебе позвоню, как только вернусь. Больше полугода в Индии я не пробуду, мне уже не двадцать», сказала она, снова заулыбавшись, и помахала мне рукой с поводком. «Удачи», ответила я, «Жду рассказов», помахала ей в ответ и продолжила спускаться по улице. Нить оказалась оборванной. «А что же будет с лабрадорами?», удивленно подумала я чуть позже.

Я дошла до угла, повернула налево и почему-то, вместо того, чтобы попытаться дождаться автобуса, продолжила спускаться, а потом медленно подниматься в сторону гребня горы, забирая все правее и стараясь держаться узкой прерывистой



тени на внутренней стороне тротуара. Потом не выдержала и села на случайный автобус; передумала, снова вернулась к пространству города. Улицы немного петляли, но общее направление подъема было понятным и на удивление почти однозначным. Белые стены домов сверкали и переливались под солнцем. Густая и высокая зелень наполняла взгляд. Минут через двадцать я вышла на широкий бульвар, идущий, как мне показалось, прямо по гребню, уходивший в обе стороны; я обнаружила здесь множество кафе, устроилась в одном из них, заказала капучино и ломтик пирога из моркови. Официантка поздоровалась со мной приветливо, но отстраненно, без всякой двусмысленности, как здороваются с привычными, но малознакомыми посетителями; я явно здесь бывала, это был простой, почти очевидный факт, из числа тех, о существовании которых я уже почти что успела забыть, и это меня обнадежило. Солнце было еще сильным, но не полуденным и тяжелым, раскаляющим тело до той потной смеси восторга, полноты и усталости, которую я только начала вспоминать за эти минуты недолгой прогулки, а скорее чуть приглушенным; так что, подумав и взяв свой кофе, я перебралась под открытый навес. Устроившись поудобнее в самом углу террасы, в широком и чуть низком кресле, низком настолько, что когда я откидывалась на спину, крышка стола оказывалась на уровне груди, а чашка и мой морковный пирог почти что перед глазами, я начала изучать посетителей. Среди них могли быть знакомые. Я чувствовала свое дыхание, нетерпеливое и почти счастливое.

За ближайшим ко мне столиком сидели три девушки, по виду студентки; они о чем-то говорили, громко и восторженно, я долго вслушивалась, отчетливо разбирала отдельные слова, но так и не смогла связать их в единое целое. Если сначала их шумный разговор мешал мне сосредоточиться, то сейчас я даже пожалела, что они говорят недостаточно громко. На меня они не обращали решительно никакого внимания. Слева от них, у самой стены, за столиком для убежденных одиночек, сидел какой-то парень и с непрозрачным видом скучно рылся в своем компьютере. За следующим столиком обосновалась целая семья с двумя детьми и еще женщиной постарше с недовольным выражением лица; их разговор не был слышен, да и, как

мне показалось, этот разговор наполовину сводился к попыткам вернуть детей к столу. Дети капризничали, непрестанно требовали внимания и пытались превратить проход между столиками в беговую дорожку. За ними сидела пара, как мне показалась, малознакомых людей, довольно неубедительно изображавших романтическое свидание. Судя по тому, подумала я, что свой дейт они назначили на рабочее время, оба они были женаты. Лучше бы они начали прямо с раздевания, добавила я со скукой; слева от них два очкарика о чем-то спорили над листом бумаги, а за следующим столиком целовались гомосексуалисты. «А вдруг я тоже лесбиянка?» сказала я самой себе, «Это было бы интересно»; но доказательств этому я не находила. И никто, решительно никто из них не обращал на меня внимания; я пожалела, что перебралась на террасу, внутри кафе у меня, наверное, шансов было бы больше. «Ой, привет», сказал скучный тип рядом со мной, быстро и неожиданно поднимая голову над своим безликим черным компьютером, «Когда это ты пришла?»

## 5

На меня опрокинулся радостный и полный густого звука шум внутреннего ликования; мне так захотелось глубоко и бессловесно погрузиться в этот шум, что только с трудом я смогла сосредоточиться и выговорить вслух слова ответа.

– Минут пятнадцать назад, – сказала я, чрезмерно старательно изображая беззаботность, но мой собеседник, как мне показалось, ничего не заметил, – Перебралась изнутри. Они там, кажется, переусердствовали по части кондиционера. Промерзла до костей. А ты давно здесь?

– С утра, – довольно мрачно ответил он, – Сегодня необходимо доделать проект. Для этого мне нужно спокойное место.

Я с удивлением оглянулась на перекрикивающих друг друга студенток и ползущего по проходу ребенка. Собеседник проследил за моим взглядом.

– Вот и я не понимаю, – сказал он, – Что сегодня происходит. Думал, что они куда-нибудь денутся. А их все больше и больше. Где твой компьютер?

– Мне надо было подумать, – объяснила я.

– Без компьютера? – удивился он.

– Ага, – я кивнула, – Иногда он только сбивает с толку. Да и жарко сегодня.

– Это да, – сказал он, – Днем так и вообще. Как-то не по сезону.

– Но бывает, – поправила я саму себя.

– Бывает, – согласился он, – Но все равно странно.

– Хотя к вечеру уже будет прохладнее.

Он помотал головой.

– Ты выйди на улицу, – возразил он, – Там нечем дышать.

На этом месте я замешкалась. Было понятно, что это и есть тот самый удивительный случай, который я так искала, ради которого перерывала всю квартиру и долго шла по жаре, и я совсем-совсем не знаю, как к этому случаю подступиться. От беспомощности все внутри даже как-то сжалось. Моему же собеседнику в нашем разговоре явно что-то мешало, но я все еще не могла понять, что именно.

– А что за проект? – спросила я.

– Разработка, – ответил он, и на всякий случай прикрыл крышку компьютера, – Вообще-то мне в фирме голову оторвут, если узнают, что я ее с собой таскаю.

– Понятно, – сказала я, – Тогда не показывай.

Мы помолчали.

– Все равно, не понимаю, – добавил он, потом остановился.

– Можно я тебя спрошу? – продолжил он, явно преодолевая то самое внутреннее недоумение или непонимание.

– Ага. В смысле конечно, – сказала я и для убедительности даже кивнула.

– Никогда не видел тебя без компьютера. Хотела подумать?

Я снова кивнула.

– Просто подумать?

– Слушай, что мы кричим через проход, как это обезьянье семейство? – продолжила я.

– Ну да, – ответил он. – Мне тоже это пришло в голову.

Я подождала несколько секунд, но ничего не произошло. Тогда я пододвинула стул к его столику и села напротив; мой собеседник заулыбался.

– Тебя как зовут? – спросил он. – Столько времени тебя вижу, а в первый раз говорим по-человечески.

– Меня зовут Надя, – сказала я.

– А меня Ифтах, – ответил он.

– Хорошо, что наконец-то познакомились.

Он закивал и заулыбался.

– Слушай, а сколько сейчас времени? – спросила я. – Я еще и мобильник забыла дома.

– Семнадцать минут шестого.

Я вздрогнула. «Шестого?» – переспросила я, – «Ну я и растяпа. Сегодня».

– Сегодня?

– Сегодня точно растяпа. Как неловко все получилась, – я подозвала официантку и попросила счет. – Мне надо бежать. Прости, пожалуйста. Совсем слетела с катушек.

Он посмотрел на меня подозрительно, потом утвердительно добавил, – «Я тоже подумал, что давно тебя не видел».

– Не в этом смысле, – объяснила я, расплачиваясь. – Просто день такой. Сплошная беготня. А мне еще надо было подумывать. До завтра.

– Завтра меня здесь не будет, – ответил он, как мне показалось, с облегчением. – Завтра мне с этим проектом целый день торчать на работе. Уже не будет выбора.

– Ну тогда увидимся, – сказала я, приподнимая и отодвигая стул.

– Увидимся, – ответил он и, не дожидаясь пока я уйду, окунул себя назад в свой компьютер.

Я вышла на улицу, было все еще жарко, и одиночество давило на меня так осязаемо, так тяжело и душно, как еще ни разу с тех пор, как я обнаружила себя на площади с разлитым до самых ее уголков широким солнечным сиянием и гигантским больничным зданием из стекла и бетона у себя за спиной. Начало быстро и неотвратимо темнеть. Неожиданно мне пришло в голову, что наличные, которые мне вернули в больнице, скоро начнут заканчиваться, а их новую порцию я получить не смогу, потому что секретный код я не знаю. Точнее, не помню – как и все остальное. На секунду перспектива остаться без денег меня испугала. Впрочем, продолжать платить кредиткой я смогу; для этого секретный код не был нужен. А еще, мысленно продолжила я, постепенно успокаиваясь, я смогу заказать в банке

новую кредитку. Скажу, что потеряла, или что украли, или что забыла код; надо будет только найти какую-нибудь бумагу, чтобы узнать, как я расписываюсь; научиться расписываться так, как я расписываюсь. В банке могут обратить на это внимание. Хотя могут и не обратить. Но, в любом случае, пока я этого не сделала, мне следовало начать экономить.

Так что назад я пошла пешком, медленно спускаясь с гребня горы, по петляющим переулкам, в сторону моего дома там внизу, на склоне горы, на улице Бенямина из Туделы. Я шла по темнеющим улицам, которые теперь казались гораздо более узкими и запутанными, ускользающими, петляющими, безликими, уводящими в провалы ночи. Несколько раз я пыталась срезать, следуя рваным контурам дневной памяти, терялась в переулках, но потом все же возвращалась на широкие освещенные улицы, сначала спускающееся, потом поднимающиеся снова. Бездомных кошек стало больше, а в одном из переулков дорогу перешла целая семья гигантских диких кабанов. Я вспомнила, что они опасны и испугалась. Спустилась в долину, перешла широкую реку ярко освещенного проспекта, начала снова подниматься; почти ощупью добралась до домов, которые показались знакомыми. Но потом я их и вправду узнала; они вывели меня на улицу Бенямина из испанского города Тудела. Так выглядела карта моего города, а возможно, и неприцаемая карта моей жизни.

## 6

На следующее утро я снова проснулась менее подавленной, чем ощущала себя, когда ложилась спать, измученная и растерянная, но и того вчерашнего утреннего светлого прилива сил и надежды у меня уже не было. И все же я решилась продолжать – частично потому что три дня поисков казались мне смехотворной причиной для отказа от надежды, частично же потому, что никакого другого плана действий у меня все равно не было. День за днем, вечер за вечером я бродила по городу, поначалу раскаленному, потом постепенно холодеющему, медленно тускнеющему, желтеющему и осенневеющему, надеясь, что меня кто-нибудь узнает; но меня никто не узнавал. Я была одна. Я ходила по улицам и сворачивала в переулки; спуска-

лась по расходящимся по отрогам зеленым ступеням горы и поднималась снова. Днем я сидела в кафе, притворяясь читающей или занятой собственными мыслями, и часто, почти незаметно для себя, действительно погружалась в них до самого вязкого дна своего одиночества и расплывчатых мечтаний о самой себе, о полноте жизни где-то там, в высоких и захватывающих воображение дальних странах, а вечером за стойкой баров пыталась, сквозь блеклый серый шум навязчивых приставаний, уловить эхо какого-нибудь давнего, добытийного здесь знакомства.

После нелепых ошибок того странного первого дня поисков я начала вести себя осторожнее; даже в те моменты, когда временами мне начинало казаться, что между мною и прохожими, между мною и официанткой, банковским клерком, продавщицей, случайным собеседником или соседкой, полуневидимой за стопкой книг в университетской библиотеке, действительно проскальзывала тень узнавания, и они вроде бы тоже узнавали меня, как бы оборачиваясь навстречу, я уже не бросалась к голосам этих теней с тем счастливым порывом слепого ликования, а приближалась медленно, с легкой настороженностью, стараясь не возлагать на них чрезмерных надежд, не достраивать за видимым фасадом случайных лиц скрытых пространств своего собственного бытия. И по крайней мере в этом, раз за разом я оказывалась права; все эти тени были ложными. Обнаружив себя под скорлупой случайных и пустых разговоров, я поняла, что все быстрее устаю от людей; а тем временем продолжала скользить по петляющим улицам своего одинокого городского существования. На моем счету обнаружилось относительно много денег, так что я обзавелась и хорошим компьютером, и мобильным телефоном. Они помогали мне не только всюду казаться своей, не только проводить время, не привлекая к себе внимания, но и записывать мелкие и, на первый взгляд, случайные детали своих бесплодных поисков. Но на поверку все эти детали оказывались действительно случайными и ощутимо бесполезными. Постепенно я начала казаться себе Шерлоком Холмсом, оказавшимся в мире покемонов.

Потом наступили густые и седеющие дни; было душно и становилось все холоднее. Несколько дней небо висело серым

ковром, раскачиваемым ветром; медленно но отчетливо обнаруживалось, что темнеет все раньше. Столь же отчетливо и необоримо темнело в душе. А еще через несколько дней пошел дождь, первый дождь зимы. Он пришел с утра редкими каплями; днем бил всполохами, начиная и прекращаясь, холодея все больше; вечером уже шел густым южным потоком, настойчиво и непрестанно, ударялся в закрытые пластиковые жалюзи, отчетливо шумел за тонкими стенами квартиры. Свет из соседних окон неровными лужами растекался по тротуару. Я сидела перед сереющим окном, за которым медленно пропадал город. В двух свитерах я казалась себе рыбой, плывущей в аквариуме среди водорослей и искусственных подводных башенок, а мир воздуха оставался там за полукруглым обтекающим воду стеклом. Передо мной стояла чашка чая, как тогда, когда-то, кофе на столе в кафе на бульваре, но уже не на уровне груди, а совсем низко, чуть выше колен, на кофейном столике, который я как-то купила, проходя мимо случайной витрины одного из магазинов нижнего города. Я помню, как диктовала продавцу свой адрес, а вокруг шумели и топтались покупатели.

Посмотрев на чашку, я подумала, что поверхность чая должна колебаться в такт ударам воды в темном окне перед моими глазами; но эта поверхность оставалась неподвижной. Рывками свистел ветер и дрожали стекла. Неожиданно оказалось, что и мой приглушенный домашний свет режет глаза; я прикрыла веки рукой, потом все же погасила свет. Темнота опустилась на глаза, и на секунду мне показалось, что эта сумеречная вода отлегла от сердца. Но именно тогда, в этом водном сером движении души на краю ночи, за которой исчезала темнота пустого и так и не открывшегося мне мира, меня затопило тем одиночеством, которое уже не является желанием, даже желанием бежать, но в котором уже не было для меня места. Я чувствовала, как оно обволакивает меня и с силой вжимает в кресло. Я неожиданно поняла, что от одиночества могут болеть мышцы и может выворачивать суставы. Но время сдаваться ему еще не пришло, подумала я. Усилием подняла себя из кресла, оделась, даже надела короткую юбку, и пошла в один из знакомых пабов, в Нижний город, подальше от дома. Впервые пошла не потому, что надеялась узнать, а потому что боялась закричать.

Я рассматривала знакомые блики на толстых стенках стакана, пятна и всполохи света, разбросанные по стойке бара, рваное течение звука, шум музыки, улей голосов по обе стороны от меня и за спиной – уходящие в темноту близких закоулков паба и в дальнюю темноту города. Гитарист склонялся над струнами, потом довольно и чуть кокетливо поднимал голову, а ударник раскачивался всем телом, прижимаясь взглядом к невидимой точке на гулко натянутой поверхности перед его глазами. Неожиданно знакомая музыка наполнила меня и унесла в тот разом наступивший счастливый мир, где я плыла по теплым волнам звука, а музыка была во мне всюду, наполняя и легкие, и мышцы, и сухожилия, и кости. Но потом все это прошло, и я снова осталась наедине с мерцающими стенками стакана. «На что это ты смотришь?» – спросил меня мужской голос, показавшийся неожиданно знакомым. Я подумала, что слышала этот голос в предыдущие дни, оглянулась направо, почти не поворачивая плеча, и поняла, что ошиблась; лицо говорившего было мне незнакомо. Он сидел рядом со мной за стойкой; погрузившись в свои расплывчатые бесцветные мысли и мерцающую поверхность стакана, я даже не заметила, когда он пришел; казалось, он просто продолжает когда-то начатый и прерванный разговор.

– Ты думаешь, что я использую стакан как зеркало? – спросила я заинтересованно, и почувствовала, как эта тяжелая вода давящего опустошенного безмыслия начала отступать.

– Мне так показалась, – ответил он. – А разве это не так?

– Нет, – сказала я, разворачиваясь к нему всем телом для того, чтобы лучше рассмотреть его лицо. – Совсем нет. Я действительно смотрела в стакан.

– Тебе опять грустно? – спросил он с еще более неожиданным участием.

– Да.

Я удивилась своей искренности. Его красивое лицо было лишено тех качеств, которые обычно принято связывать с благородством, но, как мне показалось, было наделено внутренней силой. «Да и могло ли быть иначе», подумала я, «Ведь чем-то же он должен был мне нравиться».

– А когда мне было так грустно в предыдущий раз? – спросила я неуверенно.



– Недели две-три назад. Может быть, чуть раньше.

Я замешкалась; все совпадало.

– А до этого?

– Иногда, – ответил он и положил руку мне на плечо. На секунду я инстинктивно отстранилась, но потом почти сразу же придвинулась поближе, насколько позволяли высокие стулья бара; почти прижалась.

– И что же с этим делать? – спросила я.

– Как обычно, – ответил он. – Пойдем? Там не так душно.

Он расплатился за нас обоих, и мы вышли.

Мы шли среди темных, полуглухих уличных стен Нижнего города, и он обнимал меня умело и твердо, хотя и не сильно; навстречу нам прошла компания пьяных подростков.

– Ты скучал по мне? – спросила я снова, уже почти уверенно.

– Ну да, – сказал это просто, но как-то очень убедительно.

– Так что же ты не позвонил?

– Я звонил. Твой телефон не отвечал. Наверное, ты была вне зоны приема.

– Типа, – ответила я, опомнившись. А еще мне не нравилось, что мне так и не удалось придумать способ узнать, как же его зовут.

– Ты была за границей?

– Разве я тебе говорила, что поеду за границу?

– Нет. Вроде бы, нет.

– Я и не была. У меня просто украли телефон, – соврала я, чувствуя все большую неловкость от своей лжи. – И мне не удалось восстановить номер.

– А, – сказал он то ли грустно, то ли равнодушно.

– Но что же ты не попытался меня разыскать? – спросила я, видимо от той же неловкости почувствовав, что будет проще перейти в наступление, и сделала это, еще не успев отчетливо осознать своих намерений и целей. – А если бы со мной что-нибудь случилось? Тебе до такой степени на меня наплевать?

– Я решил, что тебе надоел, и ты просто не отвечаешь, – ответил он, подумав. – Ты же знаешь, что мы с тобой не очень-то ладили.

Как мне показалось, распогодилось; ночные облака разошлись, обнажив невидимое небо, и среди полутемных улиц ночь горела близкими яркими звездами.

– А теперь будем ладить лучше? – спросила я наконец.

– Это от тебя зависит, нет?

Я замолчала, и через несколько минут мы дошли до автомобильной стоянки.

## 7

– К тебе или ко мне? – спросил он.

– Ко мне, – почему-то ответила я. Тогда мне этот ответ показался абсолютно естественным; но, может быть, я просто, почти до дрожи, испугалась упустить свалившуюся на меня надежду. На следующее утро я подумала, что, наверное, испугалась еще и того, что непонятное для меня пространство увеличится еще больше. Я снова развернулась к нему всем телом. – Ты найдешь дорогу ночью?

– Не думаю, – он посмотрел на меня с каким-то чуть ощутимым лукавством, и я начала показывать ему дорогу. За долгие дни и вечера моих бесцельных городских блужданий я выучила каждую улицу, каждую площадь, каждый разворот, едва ли ни каждую клумбу. «Направо», – говорила я. – «А теперь прямо. Ты видишь тот светофор? Здесь ты уже не можешь ошибиться. Но лучше еще раз направо на следующем перекрестке». Я продолжала говорить, а тем временем меня захлестывало неровными нервными волнами счастья; дойдя почти что до самой глубины падения отчаяния, я неожиданно обрела дно, подводную скалу, нить, которая теперь уже неизбежно выведет меня к моей прошлой, подлинной жизни. Говоря совсем просто, я встретила себя. Мы припарковались, поднялись на третий этаж, и я открыла дверь. Он начал меня целовать, как только мы переступили порог. Ощущения от его поцелуев показались мне совершенно незнакомыми; как это ни странно, оказалось, что мне даже немного неприятно. Как сильно я себя забыла, подумала я тогда, как далеко и беспросветно ушла от самой себя. Слово «просветно» неожиданно навело меня на совсем другие мысли, и я отстранилась.

При обычном верхнем свете салона его было видно гораздо лучше, чем в полутьме паба и уж тем более в темноте машины. С сожалением я отметила, что при ближайшем рассмотрении его лицо не стало казаться мне более благородным; как ни странно, в нем даже проявилось нечто отталкивающее. Жесткие и грубые черты, смуглая кожа, глаза, показавшиеся мне пустыми; или это именно я не смогла в них ничего рассмотреть? «Наверное, это все же я», ответила я себе, «Ведь за что-то же я должна была его любить?». Впрочем, в его глазах пульсировало нетерпеливое и остро ощущаемое желание; оно мне польстило. Его движения были умелыми, заботливыми и почти обходительными; он терпеливо ждал. «С лица воду не пить», мысленно сказала я себе, пытаюсь вспомнить что-нибудь давнее, надежное, вроде того ушедшего теплого моря, безошибочного и верного, как память о гальке на ладонях. Мы сделали еще несколько шагов внутрь квартиры, и я позволила начать себя раздевать. На большее у меня не хватило желаний; это было не совсем то, чего я ожидала. Я чувствовала, как его руки передвигаются по моему телу. Временами это было приятно, хотя особенного возбуждения я так и не почувствовала. Он снимал с меня вещи почти в том же порядке, в котором я надевала их несколько часов назад; я заставила себя открыть глаза, и мы снова начали целоваться. «Это я, это я», мысленно повторяла я, «Это я – такая, какая я есть. Я не могу убежать от себя сейчас, когда наконец-то нашла себя». Я ощупывала его тело, постепенно все увереннее, но так и не могла вспомнить.

Все последующее было обыденным, предсказуемым, почти механическим и, как бы старательно я ни пыталась сейчас об этом вспоминать, рассказывать, собственно, особо не о чем. Станным было только то, что мое тело так и не смогло ничего вспомнить. Мое же настроение колебалось от внутреннего ликования свершившегося узнавания и предчувствия того, сколь многое меня еще только ждет, только откроется мне в будущем, до некоторой неловкости, возникшей от чрезмерного физического контакта с малознакомым и не очень симпатичным мне человеком. Мы перевернулись в позу «женщина сверху», потом перевернулись еще раз. Все это заняло не слишком много времени, но и не произошло разочаровывающе быстро; как мне ка-

жется, оно не только вполне укладывалось в физиологическую норму, но даже ощутимо ее превосходило. Поскольку я все же не знала точно, кто он такой, сколь давние и какие именно отношения нас связывают, я настояла на том, чтобы воспользоваться кондомом, но и он достаточно спокойно с этим согласился. «Ты мне совсем не надоел!», говорила я, с нежностью прижимая его к себе, «Как ты мог такое подумать? Я очень тебя люблю». «Правда?», ответил он, «Ты мне никогда об этом не говорила». «Я была душой», сказала я, продолжая его целовать, «Я должна была тебе это сказать. Я очень очень соскучилась! Ты мне снился. Мне было очень одиноко». «Ты мне тоже снилась», признался он.

Мы еще некоторое время повозились в кровати, и с этой частью программы было покончено; теперь мы наконец-то могли поговорить. Я говорила и спрашивала, спрашивала без усталости, спрашивала его снова и снова; но его ответы становились все более равнодушными, туманными и бессвязными, и я ничего не смогла из них понять. «Любимая, ты хочешь, чтобы я уехал или остался?» неожиданно спросил он, и его речь опять обрела изначальную ясность и убедительность. «Что ты?!», ответила я, «Конечно же, остался. Я так тебе рада». «Спасибо», ответил он, повернулся на бок, и через несколько минут уже крепко спал, тихо посапывая и похрапывая. Я снова осталась одна в темноте. «Уже поздно», объяснила я сама себе, «За ночь он отоспится, и завтра утром все прояснится. И все будет хорошо. Но все-таки как же его зовут?». С легкой гордостью я подумала о том, как осторожно и умело мне удалось скрыть тот факт, что я этого не знаю. Потом я долго лежала в темноте и смотрела в невидимый потолок. Храп, даже легкий, очень мешал; «как же я боролась с этим раньше», подумала я, но потом все же уснула.

Я проснулась от громкого шума воды; мой гость явно принимал душ. Меня несколько покорило от его бесцеремонности, но делать было нечего; и, не вставая с постели, я попыталась докричаться до него сквозь шум воды. Из этого ничего не вышло, мне пришлось встать и одеться. Вода падала ровным густым шумом, потом стихла. «Где у тебя полотенца?», спросил он, выглядывая из ванной. Я открыла дверцу шкафа и

принесла ему чистое банное полотенце; сердце упало. «Не так-то мы, видимо, близко знакомы», подумала я, «Если у него здесь не только нет своего полотенца, но он даже не знает, где его взять». Он посмотрел на меня совсем вблизи, своими черными, чуть сальными, ничего не выражающими глазами, и снова скрылся за дверью ванной. «Ни доброго утра, ничего». Я вышла в салон, два раза прошлась по нему из конца в конец, по диагонали; из ванной доносилось довольное сопение и урчание. Наконец, дверь открылась, и он тоже вышел в салон. «Это мое прошлое», подумала я, сжав мысли в горсти, «Собрав вместе свое прошлое, я соберу саму себя, узнаю, кто я такая. Не может быть, что бы мне не было за что его любить. Наверное, я еще просто его не разглядела». «А вдруг у меня была депрессия?», спросила я себя, мысленно насторожившись. Он смотрел на меня внимательно, но и отсутствующе, как смотрят на забавного зверька в клетке.

– Доброе утро, – сказала я ему. – Сейчас я приготовлю нам завтрак.

В его взгляде появилась скука и, как мне показалось, странное нетерпение.

– Всего две недели, – продолжила я. – А такое ощущение, как будто я так давно тебя не видела. Я соскучилась.

Он посмотрел на меня со скукой, без удивления, но на его лице начало постепенно проступать растущее раздражение.

– Хватит, – ответил он, а уже и до этого отчетливо видимое раздражение стало наливаться злобой.

– Хватит чего? – в растерянности спросила я.

– Хватит делать вид, что мы знакомы, – он явно старался закончить все как можно быстрее. – Поиграли и будет.

– В каком смысле?

Я замешкалась, задохнулась, остановилась, превозмогла себя.

– Но ведь всего две недели? – спросила я. – Ночь под звездами?

– Не начинай, – спокойнее, но все еще раздраженно сказал он, оглядываясь в поисках своих вещей.

– Но ведь я была несчастной? – допытывалась я. – А мы плохо ладили?

И тут он взорвался.

– Мало ли что тебя возбуждает, – сказал он со злобой. – У меня тоже много от чего встает. Вчера я тебе подыграл и хватит. Программа окончена. У каждого свои дела. На секс-марафон мы не договаривались. Да и я не заставляю тебя играть в свои игры.

Я смотрела на его маслянистые глаза, как смотрит вниз человек, неожиданно оказавшийся на краю обрыва, или как, подойдя к ночному фонарю, в почти полной темноте рассматривает подошву человек, случайно наступивший в дерьмо.

– Как же ты мог? И кто ты после этого? Как ты станешь о себе думать?

– Точно так же, как и вчера, – ответил он. – Поверь мне. Я такой же, как все. А вот таких игривых блядей, как ты, надо еще поискать. Мне, пожалуй, даже повезло.

– Ну ты и мразь, – тихо сказала я. – Вон отсюда.

– С удовольствием, – ясно проговорил он. – Именно так я и собирался. У меня сегодня полно дел. Привет, блядь.

Я закрыла за ним дверь и подошла к окну. Меня трясло от унижения и ярости. Несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула, плюхнулась на диван. Постепенно чуть-чуть отдышалась. «Ванную нужно будет вымыть», подумала я, «Сортир тоже». «Постельное белье снять и выстирать с кипячением и антибактериальным смягчителем». Когда я изучала дом, я видела, что в ванной он есть. «А что же делать со мной?», мысленно сказала я себе. Груз унижения и обмана был столь велик, отвратителен и горек, что еще долго я кругами ходила по квартире и не могла найти себе места. Потом все же вернулась в кресло. «Интересно», вдруг продолжила думать я, «А что же все-таки скрыто у меня в прошлом? Может быть, там еще много чего-нибудь подобного, и все это лучше просто не знать? Зачем мне это? Зачем я это ищу? Что я надеюсь там найти? Неужели, я все еще думаю, что сумма этого и вправду есть я?» Я сидела на своем низком широком диване, обтянутом теплой замшей, сидела, уперев подбородок в ладони, и смотрела на свои колени. «Что же я ищу?» – спросила я. Я всматривалась в туман прошлого, внимательно и настойчиво, старательно, упрямо и об-

сессивно, вглядывалась так, как будто там, в этом непрозрачном темном прошлом, было спрятано мое будущее, было спрятано то, что еще только должно было со мной произойти, и его следовало загодя разгадать и узнать. А, тем временем, пока мой взгляд утопал в прошлом, будущее своей широкой смердящей волной накатывало на меня, на секунду становясь настоящим, оставаясь неразгаданным, да, наверное, и не стоящим разгадывания, перехлестывало через меня, развернутую спиной к времени, и тоже становилось прошлым, отравляя память и почти что смешиваясь с неразгаданной дальностью моего предполагаемого я. Я поняла, что рассказываю себе истории про себя, и, благодаря им, вот это вот мое я, так и не проступившее на горизонте памяти, но не проступившее и в кругу настоящего, возможно, никогда не существовавшее, возможно, что и вообще невозможное, все же вычерчивалось пенящейся и тяжелой тенью на фоне утопающего в дождях города.

## 8

В процессе моих долгих поисков я постепенно обнаружила, что довольно много всего умею; тем не менее самым удивительным открытием оказалось то, что я знаю японский язык. В один из длинных и бесплодных дней поисков, в заставках какого-то длинного японского мультфильма для взрослых со сложно запоминающимся названием, из тех, что нашлись у меня дома на пиратских дисках, я увидела иероглифы, и неожиданно поняла, что их понимаю. Теперь же я решила этим воспользоваться и устроилась работать переводчиком с японского. Рекомендаций у меня не было, так что мне пришлось сдавать длинный импровизированный экзамен; но, судя по всему, справилась я с ним хорошо. Постепенно у меня появились подруги и друзья. Может быть, не самые близкие друзья, но мы регулярно встречались и говорили по мобильному телефону; они рассказывали мне о своей жизни, о том, куда они пошли, что купили и с кем переспали, а я выдумывала истории о себе. Поначалу мне было от этого грустно, но потом я поняла, что почти всегда оказываюсь в выигрыше, потому что не было такой подлинной истории, которую я не могла с легкостью перекрыть ко-

зырной картой своего воображения. За несколько недель я прочитала почти все лежавшие у меня дома книги. Они показались мне скучными, пустыми и претенциозными. Если в них и вспыхивала искра живой мысли или жизни, она быстра гасла. Наверное, это все-таки подарки, подумала я; я не могла представить себе себя, читающей все эти книги по своей собственной воле и без особых причин. Я вообще не могла представить, что же именно нужно сделать с людьми, чтобы они захотели такие книги читать. На всякий случай я купила небольшой рюкзак, литров на шестьдесят; «когда я заработаю еще немного денег», подумала я, «Я поеду в дальние, удивительные и экзотические страны». Я поймала себя на мысли о том, что все еще жду возвращения соседки с двумя лабрадорами и очень хочу ее расспросить. Но время проходило, а она не возвращалась.

А еще в один из дней, самых первых дней после этой отвратительной истории в пабе, мне пришла в голову самая простая и, непонятно почему, до сих пор ускользавшая от меня мысль. Выйдя из дома, я нажала на кнопку выключения сигнализации на моих ключах от машины. Одна из машин на стоянке около дома немедленно откликнулась, запищала, вспыхнула фарами; так я узнала, что она моя. Права у меня были; мне отдали их еще при выписке из больницы. Я открыла дверь и села за руль. Я знала, что ключ надо вставить в замок зажигания и это сделала, потом попыталась повертеть его в разные стороны. Когда я повернула его вперед, машина гукнула, но больше ничего не произошло. Я вздрогнула, испугалась и вынула ключ; успокоила дыхание. Вспомнив действия иногда подвозивших меня друзей, я огляделась вокруг; кодовый замок со светящимися кнопками нашелся именно там, где, по моим представлениям, он и должен был находиться. Но код я, разумеется, не помнила. Впрочем, это не было странным; более странным было то, что я не смогла вспомнить, что с этим замком надо делать. Я не могла вспомнить, как и когда на эти кнопки следует нажимать, как и когда поворачивать ключ, что делать потом; сколько я их не рассматривала, не могла вспомнить назначение всех этих рычажков, штырьков, кнопок и циферблатов. Ни глаза, ни тело не смогли ничего вспомнить. Я вытянула ноги и



подошвами почувствовала педали; я знала, что педали должны там быть, но ноги не узнавали и их. Мое тело ничего здесь не узнавало. «Странно», сказала я себе, «Моя память снова водит меня в тумане». Я вышла из машины, закрыла дверь, нажала на кнопку сигнализации, фары снова вспыхнули и погасли. По крайней мере у меня была машина, подумала я, хотя и не самая лучшая, но это было хорошо. Мысленно я записала произошедшее в ту же категорию плохо объяснимых странностей, что и отсутствие компьютера, найденные мною дома вещи «на вырост» и книги, которые без усилия любопытства я не смогла бы прочитать. Впрочем, теперь я уже не верила в то, что по капле воды я когда-нибудь смогу обнаружить море самой себя.

Иногда мы с друзьями ходили в театр. У моей подруги Сабрины был абонемент, и теперь абонемент в театр был уже у каждого из нас. Впрочем, возможно, это было ошибкой. В половине пьес на сцене стоял диван – обычный матерчатый или длинный кожаный диван, из числа тех, которые стоят в салоне почти что любого дома. В разных составах на этом диване обычно обнаруживалась какая-нибудь семья, ее соседи и гости, вставая и садясь, они бесконечно обсуждали, кто из них куда пошел, кто с кем встречается, кто на ком собирается жениться или уже женился, кто кого родил, кто из тех, кто уже женился, переспал с кем-то другим, а кто только собирается это сделать. Большинство из них регулярно обманывали друг друга; некоторые воровали деньги у государства, другие – у кого-нибудь еще. При этом все эти сидящие и стоящие безобразно кривлялись, орали, иногда оскорбляли друг друга, еще чаще других, а зал периодически заходился хохотом. И все же, поскольку я твердо решила жить в настоящем, даже на протяжении таких пьес я старательно пыталась жить в этом, как мне тогда казалось, таком цельном и самодостаточном, диванном времени. К счастью, так было не всегда, но предугадать было сложно; к тому же у нас был абонемент. Получилось так, что и в тот вечер нам тоже выпала одна из таких семейно-диванных драм. Они вставали, садились, орали друг на друга, что-то постоянно требовали, хлопали по сцене резиновыми шлепанцами, обсуждали запутанные родственные проблемы, и я довольно быстро потеряла нити повествования и диалога. «Не может быть, что

жизнь такой и является», подумала я тогда, впадая в чернеющее озеро неожиданной тоски по так и не найденному – и впервые за много времени пожалела о своей утраченной памяти. «В ней был шанс на иное», подумала я, «В ней была надежда». Я была рада, когда пьеса кончилась, и под аплодисменты раскланивающиеся актеры вышли на авансцену.

«Ну как тебе?» спросила Сабина; «пойдем где-нибудь посидим», ответила я уклончиво. Ася и Андрей поехали домой, завтра им нужно было рано вставать на работу; так что мы остались втроем, миновали Нижний город и, как-то почти не сговариваясь, решили посидеть в одном из незнакомых баров у самого порта. Со стороны моря дул низкий ветер, холодный и шумный в тишине ночной городской пустоты. Дальше в сторону порта и прибрежной железной дороги уходили разбитые переулки, склады, подворотни и настенные граффити. Посетители выбранного нами предпортового бара выглядели довольно разношерстно, но пугающими они не казались. Мы заказали по кружке пива, а наш разговор, ненадолго зацепившись за просмотренную нами семейную драму, уплыл в какие-то меняющиеся речные дебри воспоминаний, личных историй, неизвестных мне людей, жалоб, хвастовства и планов на будущее. Неожиданно Сабина сильно и бесцеремонно ткнула меня в бок. «Я всегда знала, что ты мечта лесбиянки», сказала она довольно. «Чего?» спросила я, отхлебывая, «Отвали, а». «Не, не, правда», ответила она, «Посмотри на ту блондинку у стенки, она на тебя уже минут десять пялится. Только не дергайся резко». Продолжая разговор, я выждала еще несколько минут и как бы случайно повернулась в сторону предполагаемой блондинки. Та быстро опустила взгляд в сторону бокала с чем-то прозрачным, но мне удалось относительно хорошо рассмотреть ее лицо. Она не была мне знакома. «Понятия не имею, кто это», сказала я и мрачно подумала, «Еще одна. Как они мне все надоели». «А, может, вы здесь в порту вместе по вечерам работаете?» не унималась Сабина, и я вдруг поняла, до какой степени она уже напилась. «Еще пару слов, и получишь в зубы», довольно решительно объяснила я ей. «Да ты что?», сказала Сабина чуть удивленно, но и попытавшись поцеловать меня в губы, «Мы же с тобой сестры навек».

Если Сабине пиво ударило в голову, у меня оно скорее повлияло на мочевой пузырь. Когда я выходила из туалетной кабинки, между мною и дверью туалета стояла та самая крашеная блондинка и, склонившись над раковиной, старательно мыла руки. Это было несколько странным, поскольку когда я входила внутрь, в туалете никого не было. Я вежливо попросила у нее разрешения пройти; она выпрямилась и посмотрела на меня в упор ясным и трезвым взглядом. «Ты, блядь, зачем сюда пришла?», спросила она, «Они же тебя убьют». «Этот фильм я уже видела», подумала я, «Методы знакомиться развиваются на глазах». «Я не понимаю, о чем вы», ответила я. «Перестань прикидываться», продолжила она, твердо и отчетливо выговаривая слова ярко крашенными губами, «Ты что, реально дура?» Я уже собралась обхамить ее в ответ и вдруг, следуя каким-то мелким и все еще не вполне отчетливым для себя признакам и приметам, подумала, что на этот раз это может действительно оказаться настоящим. «Ты ведь не хочешь общаться со мной здесь?» спросила я, впрочем, скорее утвердительно. Она снова кивнула, потом застыла, подумала. «Я буду ждать тебя через полчаса у Турецкого рынка, прямо напротив входа в метро», сказала я, «Это нормально?» Она кивнула и, рывком обогнув меня, вошла в туалетную кабинку. Я вернулась к нашему столику, начала отвечать невпопад, теряя нить разговора, неудачно шутила, потом попросила прощения, сказав, что засыпаю. «Наверное, это пиво в голову ударило», сказала я извиняющимся тоном, «Пойду-ка я спать». За это время я успела изрядно им надоесть, и они меня не задерживали. «Слабачка», сказала Сабина мне на дорогу, с ощутимым усилием поднимаясь из-за стола и довольно улыбаясь, «Учись у старших. Вон, смотри, у меня еще ни в одном глазу».

*(окончание следует)*

**Яков Шехтер**

## **ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВЗГЛЯДА**

Глава шестая романа «Бесы и демоны»

Кто подобен тебе, еврейский народ?! Святость скрывается в сердце каждого, подобно тому, как пунцовые зернышки граната прячутся за темной кожурой.

Вот, казалось бы, самый пропащий человек, дамский цирюльник из Варшавы, пропахший до нутра духами похотливых аристократок. Ну на что, спрашивается, на что дался богатым паненкам уже немолодой мужчина с брюшком, к тому же еврей? Но такова природа похоти: сначала она выбирает самую далекую, манящую цель, а затем, коль скоро вывела жертву в путь, не брезгует любимым, кто под руку попадет.

За двадцать лет обихаживания помпадуров, фонтанжей и других чудес куафюра Довале побывал во многих переделках и вышел из них с изрядным запасом воспоминаний и горечью в сердце. На одном из поворотов с шуршанием сминаемых атласных юбок и пряным ароматом духов, перемешанным с острым запахом потного женского тела, раскаяние навалилось на него, как медведь на добычу. Ни вздохнуть, ни распрямиться.

Впрочем, не все так просто. Простые ходы бывают лишь в назидательных книжках, где устройство мира выставлено на всеобщее обозрение, понятное, точно карточный домик.

В юности Довале отличался румяными щеками, мягкими шелковистыми усиками, стройным станом и веселым блеском черных глаз. Года два просидел он в курувской ешиве, но учеба не пошла, ему было скучно разбирать проблемы бодливого быка и найденного талескотна. Довале влекла жизнь за черными стенами ешивы, жизнь полная ярких красок, манящих



Александр Канчик, “Стригущие козла”.

ароматов и светлых перспектив. При первой же возможности он сбежал сначала из ешивы, а потом из Курува и покатил искать счастья в столице царства Польского.

Выглядел Довале как настоящий шейгец<sup>1</sup>, если бы не характерный нос, его бы с легкостью могли принять за француза или испанца. Отращивать ветхозаветную еврейскую бороду он не пытался, даже будучи в ешиве, ведь она скрывала одно из его достоинств – румяные щеки. Ну, честно признаться, борода никогда особо и не росла, так, мелкая поросль, чахлые ростки, приличествующие разве что пятнадцатилетнему юнцу.

Оказавшись в Варшаве, Довале, по примеру дойчев, немецких евреев, принялся тщательно уничтожать на своем лице любую растительность. Так лучше выделялись черные усики, закрученные на манер польских кавалеристов. Не одна дама, проводившая часы в его кресле, попадала в силки этих усиков и румянца во всю щеку.

Довале охотно шел навстречу жертвам, предлагая сочувствие, понимание, и поддержку. К сожалению, дальше вздохов, укромного пожимания ручек и быстрых поцелуев дело не шло, но иногда случались настоящие прорывы.

Переломным в его судьбе стал роман с одной из постоянных клиенток, разумеется, замужней аристократкой. Ее сиятельный супруг, офицер, целыми днями не выходил из казарм, а вечера употреблял на карты и дружеские пирушки. В общем, вел жизнь, достойную своего шляхетского происхождения.

О законной супруге офицер думал мало, она должна была, как птичка на ветке, сидеть дома и по первому требованию удовлетворять позывы его животных инстинктов. Впрочем, назвать веткой огромный особняк, которому скорее пристало именоваться дворцом, было просто невозможно. Но Матильда, слоняясь без дела по роскошным апартаментам этого особняка, ощущала себя птичкой, запертой в золотую клетку. Вырваться на свободу она не могла, поэтому давала себе волю внутри.

Щеки Довале к тому времени давно утратили румянец, юношеские усики превратились в жесткую щетку мужских усов, а стройный стан, эх, стройный стан... в общем, говорить о строй-

<sup>1</sup> Юноша нееврейского происхождения (идиш).

ности уже не приходилось. Правда, за годы куртуазной куафюрности он успел приобрести нечто более важное, чем утраченные достоинства молодости: ловко подвешенный язык. Как известно, бастионы женской неприступности могут устоять против красивой внешности и даже толстого кошелька, но падают, точно стены Иерихона, перед умело произнесенными словами.

Оказавшись в Варшаве, Довале решительно отбросил в сторону идиш и старательно принялся изъясняться на польском. Идиш был для него языком примитивных провинциалов, которые едят руками и разговаривают с набитым ртом. Путь в новый, сияющий мир лежал через правильное произношение и богатство лексикона. Не всякий солдат с таким ожесточением идет на приступ крепости, с каким Довале взялся штурмовать польский.

Результаты появились не скоро. Поначалу поляки давились от смеха, слыша, как жидок пытается говорить красиво, но прошел год, другой, третий и все изменилось. Довале выдавил из себя еврейский акцент, неизмеримо расширил словарный запас и ловко использовал в обиходе словечки, услышанные от аристократов.

Речь человека – его лицо. Спустя пять лет проживания в Варшаве Довале изъяснялся на польском, как родовитый шляхтич. И хоть произносимые им фразы плохо вязались с его явно выраженной еврейской физиономией, они сразу настраивали собеседника на уважительный лад. Увы, стоило ему перейти на родной идиш, как лощеный мастер куафюра моментально превращался в неотесанного провинциала.

Матильду не остановило ни происхождение Довале, ни уже заметный двойной подбородок, ни сословная разница. Садясь в кресло и подставляя голову под его умелые руки, а уши под еще более умелые слова, она испытывала доселе незнакомое наслаждение. Пальцы цирюльника ласкали ее волосы, нежно поглаживая их корни, и Матильда, не знаящая что такое мужская ласка, таяла и плыла.

Бедная женщина! Офицерские манеры и шляхетский лоск ее мужа были направлены на других. С женой он обращался примитивно, брал, что хотел, будучи уверен, что сам дает то, чего от него ждут. Ни разу, да-да, ни разу за годы супружеской

жизни Матильда не удостоилась ни ласкового жеста, ни нежного поцелуя, ни доброго взгляда. Как тут не пасть жертвой вкрадчивых слов?

«Если я так наслаждаюсь от прикосновений пальцев Довале, – подумала Матильда, – что же будет, когда он окажется в моей постели?»

Подумала и решила попробовать. Дождавшись, когда офицер уедет на три дня охотиться в дальних угодьях, она пригласила под вечер цирюльника, проверить и обновить прическу. Именно в такой последовательности: сначала тщательно проверить, а затем, не мешкая, как следует обновить.

И Довале не обманул ее ожиданий. Впервые после мужа и похожих на него любовников их круга, Матильда вдруг поняла, для чего люди занимаются этой липкой пачкотней. Новый сияющий мир, наполненный страстью и радостью, распахнул перед ней свои двери.

А уж цирюльник после ночи, проведенной в постели под балдахин, чувствовал себя на седьмом небе. Ему казалось, будто он, таким образом, приобщился к блестящему обществу шляхетской знати, обществу, доселе видевшего в нем лишь презренного поставщика услуг, занимающего на лестнице рангов место рядом с истопником и дворником.

Роман Довале с Матильдой длился около года. Офицер два раза уезжал на охоту, один раз на маневры и еще один раз по каким-то делам. Четыре ночи распахивала темнота свои объятия, четыре раза плакали звезды, роняя ледяные слезы на разгоряченные тела. Наслаждение было острым, близким и доступным и, казалось, так будет еще долго, может быть, даже вечно.

Ничто не закачивается так быстро, и не болит так долго, как запрещенные интимные связи. Разумеется, ни Матильда, ни Довале словом не обмолвились о своем романе. Они прекрасно понимали, что ничего хорошо огласка им не принесет. Но лишь такая наивная дама, как Матильда, и полный профан в светской жизни, подобный Довале, могли предположить, будто их связь останется незамеченной.

В один холодный весенний день, прозрачный и ясный, как хорошо вымытое оконное стекло, в цирюльню пожаловал вы-



сокий гость. Довале сразу узнал офицера, слегка смутился, но тут же затараторил:

– Если вы стричься, могу предложить «крыло голубя», самая модная прическа во всей Варшаве. Закручиваем два-три ряда локонов, укладываем их на висках а-ля Катогэн, остальные волосы подвигаем, зачесываем назад и завязываем на затылке черной лентой. Очень принята среди офицеров. Некоторые даже прячут хвостик в чехольчик из черного бархата. У меня, правда, при себе такого нет, но если вы соизволите...

– Я к тебе не за этим, – брезгливо произнес офицер, которому надоела болтовня парикмахера. – Хочу поговорить с глазу на глаз.

У Довале оборвалось сердце. Сомнений быть не могло, обманутый муж пришел мстить за свою поруганную честь.

– Пожалуйста, – просипел он предательски севшим голосом. – Пройдемте в заднюю комнату.

Задняя комната представляла собой подсобку, где хранились многочисленные причиндалы, необходимые для куафюрной деятельности. Почтительно распахнув дверь, Довале пропустил вперед офицера и вошел, плотно притворив за собой створку. Офицер, не снимая перчатки, больно ухватил его за ухо и, уставившись на цирюльника белыми от ненависти глазами, произнес:

– Мне с тобой драться ниже чести, посмешищем стать в глазах Варшавы. Даже просто руки о тебя марать недостойно имени, которое я ношу. Даю тебе двадцать четыре часа на сборы. Если завтра после полудня ты еще будешь здесь, во всех своих несчастьях сможешь винить только себя.

Выпустив ухо, он сдвинул набок парикмахерскую шапочку Довале, смачно харкнул ему в лицо и вышел. Довале утерся и пошел собирать вещи. За годы, проведенные в Варшаве, он успел хорошо изучить вздорный нрав родовой шляхты. Поводом для бешеного, совершенно неразумного шага могла послужить любая мелочь, а тут речь шла о действительно серьезном проступке.

Сейчас Довале не интересовало, откуда офицер прознал об измене жены. Больше всего он опасался, что кровь ударит тому в голову, он вернется с саблей или пистолетом и, позабыв о чести и посмешище, рассчитается с обидчиком.

Но у офицера хватило ума не придавать дело огласке и не позорить себя на всю Польшу. Довале рано утром уехал в Курув, а Матильда еще несколько недель не появлялась на людях, ссылаясь на приступы мигрени. Добрые, всезнающие люди, многозначительно заламывая брови, поговаривали, будто она просто ждала, пока сойдут следы побоев. Видимо бить жену не унижало чести офицера и не марало рук аристократа.

Разрыв с Варшавой оказался для Довале весьма болезненным. Но еще больше болела обида, ведь самоуважение существует не только у шляхтичей. Но что он мог сделать? Не драться же, в самом деле, с офицером? Да и чем, парикмахерскими ножницами или щипцами для укладки волос?

Всю долгую дорогу из Варшавы до Курува, а больше деваться ему было некуда, Довале вынашивал планы мести. Великие и ужасные планы, которые, разумеется, немедленно обращались в дым. Слишком велико было расстояние между блистательным польским аристократом и жидом-цирюльником. И все-таки, он решил мстить шляхте. Мстить, чем Бог дал!

Весть о варшавском парикмахере прокатилась по Куруву и окрестным поместьям, что твой тайфун. И приглашения посыпались, как снег из грозовой тучи. Приглашали, разумеется, панны и паненки, желающие вкусить от радостей столичной куафюры.

Довале не заблуждался и не обольщался на свой счет. Паны не считали его ни человеком, ни даже мебелью. Он должен был приехать, обслужить их жен, получить деньги и тут же очистить усадьбу. Болезненное положение для человека, которому собственное достоинство не пустой звук.

Однако у этого унижительного положения было одно, но весьма существенное преимущество. Мысль о том, что ясно-вельможные дамы могут пренебречь своей честью ради жалкого жида, даже не приходила панам в голову. Поэтому они не следили за тем, что происходит в будуарах жен, довольствуясь рассмотрением результата, представляемого спустя многих часов уединения с цирюльником. Дело свое Довале знал, поэтому впечатленные помещики лишь головами крутили при виде чудесной перемены, произошедшей с их супругами.

Скучающим в поместьях дамочкам разговоры с варшавским мастером были величайшим развлечением, а дальше похоть выпускала свои когти и делала некрасивого – красивым, толстого – стройным, а умного – глупым. Вот в этом-то и состоялась месть Довале, страшная месть всему ясновельможному шляхетству.

Так он прожил лет десять, развлекая дам и развлекаясь сам, пока в одном из поместий прознавший о чем-то пан не спустил на Довале свору охотничьих собак.

Спасла парикмахера случайность, когда собаки повалили его на землю и начали рвать мясо с рук, прикрывавших горло, из-за деревьев выскочила лиса. Откуда она там взялась совершенно непонятно, видимо Всевышний услышал вопль «Шма, Исраэль», который сам собой вырвался из груди Довале, и решил спасти своего непутевого сына. Собаки бросили Довале и помчались за лисой, а цирюльник, оставляя кровавый след, бросился наутек.

Дураки не учатся даже на собственных ошибках, не говоря уже о чужих, а Довале дураком не был. Отлежавшись и залечив раны, он полностью переменяет образ жизни. Собаки оторвали от него куски мяса, боль пробудила раскаяние, и вот оно-то и навалилось на цирюльника, как медведь на добычу.

«Все, – сказал себе Довале, – больше никаких дамочек. Буду мужским цирюльником».

Ну, пане-панове, сказать человек может что угодно, а вот поди, выполни! Это паненки готовы были отваливать за прическу немалые деньги, а паны стриглись незамысловато и платили мало. Ножки можно было протянуть при таком доходе!

Но деньги зарабатывать надо и выход, разумеется, нашелся. Бог не без милости, а еврей не без мозгов. Довале стал брать с собой во все поездки мальчика помощника, Шайке<sup>2</sup>, чтобы охочим до развлечений паненкам nepовaдно было. Разумеется, то, что можно сказать и сделать наедине, недоступно и даже дико под наблюдением еще одной пары глаз.

<sup>2</sup> См. 3 главу «Оживший покойник», сын Тойбе и Лейзера.

Со своими евреями тоже не все было гладко. Поначалу Довале в синагоге не очень жаловали, именуя алтер-отступником<sup>3</sup>, но потихоньку смягчились, видя его искреннее раскаяние. Или почти искреннее, ведь бриться Довале все-таки продолжал, а использование бритвы по законам Торы прегрешение не меньшее, чем поедание свинины.

– Ну не вижу себя с бородой, – объяснял Довале, – хоть убейте, не вижу!

Убивать его никто не собирался, и постепенно Довале отложил в сторону бритву и перешел на специальный бритвенный порошок. Его наносили на щеки и подбородок, а затем, когда пена высыхала, счищали деревянным скребком вместе с волосами. Неудобно, хлопотно и куда менее чисто, чем использование бритвы, да деваться некуда! Узнав об этом шаге, прихожане не то, чтобы потеплели к Довале, но значительно смягчились.

В синагоге молилась еще одна жертва искреннего раскаяния, балагула Мендель-Зисл. После истории с продажей незаконной водки его потихоньку отодвинули от всех прибыльных дел, и он пробавлялся мелким извозом. Никаких доказательств вины балагулы в той смутной истории не обнаружилось, но солидные люди боялись связываться с Менделем-Зислом. Человека, даже по недоказанным слухам, столь бесстыдно воспользовавшегося безграничным доверием хозяина надо избегать.

Две добычи одного медведя нашли общий язык и даже подружились. А все началось с разговора на одной из свадеб, где Довале и Мендель-Зисл случайно оказались за одним столом.

Свадьбы в Куруве гуляли широко и самозабвенно, чтоб было о чем вспомнить. Для многих курувских евреев свадьба часто оказывалась самым ярким, самым веселым событием за всю серую, наполненную заботами и тяготами жизнь.

Клейзмеров выписывали из Люблина и Кракова, а вино возили бочками. Уже за неделю до свадьбы город кипел, родители жениха и невесты одалживали у всех серебряную посуду и подсвечники, шойхеты резали птицу за птицей, а добрая по-

<sup>3</sup> Старый отступник (идиш).

ловина женского населения Курува жарила и парила на своих кухнях, готовя блюда к праздничному столу.

В канун свадьбы сразу после полудня девушки и женщины приходили в дом невесты танцевать и веселиться. Разумеется, без обильного угощения не обходилось, и клейзмеры играли несколько часов без остановки.

Под вечер мужчины отправлялись в дом жениха, тоже с клейзмерами. Жених говорил приготовленную и выученную наизусть проповедь, а затем гостям предлагали закусить, чем Бог послал, обильно запивая закуски вином и водкой.

Хупу ставили перед закатом, а потом крепко усаживались за столы до самого утра. Расходились только на утреннюю молитву, затем шли домой отсыпаться, а к вечеру снова собирались за столами на первую трапезу «семи праздничных дней». Гуляли восемь дней, наотмашь, забыв обо всем на свете. Приглашали всю еврейскую общину города, поэтому деньги на свадьбу начинали копить со дня рождения ребенка.

– Посмотри, посмотри на этих порушей, – укоризненно заметил Довале, выпив с Менделем-Зислом по третьей. – Как они навалились на блюдо с мясом! Разве так выглядят люди, посвятившие себя духовности?

А с другой стороны, взгляни на наших богачей. С каким спокойствием они берут то же самое мясо, да еще съедают его не до конца, оставляя куски на тарелке. А поруши чуть блюдо не вылизывают! Вот и скажи мне теперь, кто более духовен?

Выпили еще по одной, и Мендель-Зисл степенно принялся отвечать.

– Тут все наоборот. Богачи так свыклись с едой, что давно стали с ней одним целым. Потому и равнодушны. А для порушей мясо диковинка, чуждая вещь. Есть от чего прийти в возбуждение. Забери у богачей сытный кусок, дай им на пару дней только черный хлеб с репой и луком, еду порушей, а уж тогда и сравнивай.

Довале лишь головой покрутил от складности ответа и сразу расположился к собеседнику. Прошло еще пару месяцев, и он стал разъезжать по клиенткам только на телеге Менделя-Зисла, коротая время в приятной беседе.

Разумеется, такие поездки невеликий доход для балагулы, но, как говорится, если не можешь зарабатывать, сколько хочешь, остается хотеть, сколько можешь.

В том году Ханука выдалась ранняя. Снег еще не выпал, но леденящее дыхание подступающей зимы уже ощущалось в холодных дождях и секущем лицо пронизывающем до костей ветре. В такую погоду лучше всего сидеть дома, или, на худой конец, быстрым шагом перебегать от одного сухого помещения до другого. Но лучше плохая заплатка, чем хорошая дырка, и, получив приглашение от очередной паненки, Довале собрался в дорогу.

Путь предстоял неблизкий, за день не обернуться. Ночевать предполагалось в поместье, и пятую ханукальную свечку зажигать тоже там. Взяли с собой еду, светильники, свечи и после утренней молитвы и плотного завтрака отправились.

До полудня погода радовала. Хотя в рощах и скошенных полях висел туман, но в разрывах туч то и дело показывалось голубое небо, а от желтого, размытого пятна солнца исходило вполне ощутимое тепло. Колеса телеги мягко катились по прихваченной ночным морозцем дорожной грязи. Таинство дороги, ее непонятная власть над сердцем человеческим и разумом, вступило в силу, и мысли, беспокойно отталкиваемые суетой повседневности мысли, сами собой стали всплывать в головах у притихших путников.

Куда мы едем, что ждет впереди, как относиться к переполняющему дни страданию? Где правда, где справедливость, и существуют ли они на земле? Почему Всевышний позволяет злу править, а негодьям наслаждаться?

Увы, чудо завершилось, едва начавшись; внезапно налетел ветер, принес черные тучи, из которых посыпался ледяной дождь. Вдруг обрушилась темнота, разрываемая желтыми сполохами молний. Загремел, загрохотал гром, обезумевшие лошади понеслись наобум, не разбирая дороги.

Мендель-Зисл пытался их остановить, да куда там, они неслись и неслись, полностью выйдя из повиновения. Телегу бросало из стороны в сторону, почти все дорожные мешки выкинуло в грязь, но путники ничего не могли поделать, вцепившись в борта белыми от напряжения пальцами и повесив на шею торбы с тфиллин.

Вдруг все стихло. Еще мигали вдалеке молнии, но гроза миновала так же внезапно, как нагрелась. В месяце кислев темнеет рано, и когда ветер разогнал тучи, над головами путников уже светились влажные звезды.

Ночной морозец начал студить насквозь промокшую одежду. Надо было как можно быстрее отыскать жилье и обсушиться, но уставшие лошади шли шагом, а вокруг, насколько хватало глаз, чернела темнота.

– Куда же нас занесло? – недоумевал Мендель-Зисл, тщетно пытаясь согреться дымом из трубки. – И что за напасть такая навалилась?

– Смотрите, свет, – воскликнул Шайке, указывая рукой влево от дороги. И действительно, далеко впереди теплились огоньки человеческого жилья.

Мендель-Зисл пустил лошадей на огоньки, и вскоре телега оказалась возле сгрудившихся в кучу невысоких строений. По виду это был типичный польский хутор, принадлежавший одной крестьянской семье. На стук из дома вышла женщина, возраст которой трудно было определить в темноте.

– Хозяйка, пустите обогреться, – попросил Довале.

– Вот еще что, – фыркнула женщина. – Откуда я знаю, кто вы такие? Езжайте, оттуда приехали.

– Мы евреи из Курува, в грозу попали, – вступил в разговор Мендель-Зисл. – Едем в поместье Лещинского.

Хозяйка подошла ближе и взгляделась в путников.

– Точно евреи, – сказала она. – Как я сразу не разглядела! Только куда вас занесло, до Лещинских отсюда добрых три часа езды?!

– Лошади испугались грозы и понесли, – объяснил Мендель-Зисл. – Насилу удалось остановить. Вымокли насквозь, пустите обогреться.

– В дом не пущу, и не просите, заезжайте на конюшню, – хозяйка указала на одно из строений. – Там на сене и переночуете. Сейчас свечу принесу.

Дрожащее пламя едва освещало сарай, непонятно почему названный конюшней. Но принести хотя бы еще одну свечку хозяйка наотрез отказалась.

– Еще пожар мне устройте! Печки тут нет, зато сухо и без ветра. Зарывайтесь в сено и спите.

– Чаем, чаем напоите, мы заплатим! – вскричал Довале, но хозяйка вышла, не удостоив его ответом.

Путники огляделись, устроили лошадей, стали устраиваться сами. Дождь непрерывно стучал по крыше, ветер завывал в застрехе, рвался вовнутрь.

– Спасибо, хоть сухо, – произнес Мендель-Зисл. Возня с лошадьми согрела его, и он чувствовал себя совсем неплохо.

– Сухо?! – вскричал Довале. – А грязь, а холод, а нечего есть! Все мешки из телеги повывлетали, лишь торба с хлебом осталась, да куда его запихнешь всухомятку?

Он горестно покачал головой, развел руками и продолжил:

– А что будет дальше? Во-первых, бессонная ночь, разве в таких условиях заснешь? Во-вторых, завтра – долгий ненастный день в сырой одежде...

– Свечки! – вдруг перебил его Шайке. – Надо зажечь ханукальные свечки!

– Тоже вылетели! – скорбно отозвался Довале. – Готеню, Готеню, как плохо, как трудно! За что Ты нам такое посылаешь?!

Мендель-Зисл откашлялся:

– Позвольте мне вмешаться, – солидно произнес он. – На самом деле, все не так плохо.

Шайке тут же приуныл. Судя по всему, балагула собрался разразиться нравоучением. С тех пор, как раскаяние овладело его душой, произнесение назидательных речей стало любимым занятием возчика. В Куруве он уже всем изрядно надоел со своими наставлениями. Чуть что Мендель-Зисл начинал произносить проповедь, словно раввин перед Судным днем. Пользуясь правом старшего, он давно прожужжал Шайке уши, но деваться было некуда, не выходить же под дождь!

– Говори-говори, – одобрил друга Довале. – Делать все равно нечего.

– В бейс мидраше ребе Хаима из Цанза был особый порядок конца недели, – степенно, голосом знающего себе цену рассказчика, начал Мендель-Зисл. – В ночь с четверга на пятницу учились несколько часов подряд, а потом устраивали застолье, посвященное хасидским рассказам. Обычно цадик не принимал в них участия, и разговоры часто затягивались до глубокой ночи. Но как-то раз, в самом разгаре застолья, ребе Хаим вошел в бейс мидраш и внимательно оглядел пирующих:



– Чем вы заняты?– спросил он.

От внезапного появления цадика, от его горящего взора и возвышенного облика хасидов объял священный трепет, и они не смогли вымолвить ни слова. Тогда ребе Хаим повторил свой вопрос:

– Так все-таки, чем вы заняты посреди глубокой ночи?

Один из хасидов набрался смелости и ответил:

– Мы рассказываем друг другу истории о духовной работе праведников.

Ребе Хаим раскурил трубку, и бейс мидраш стал наполняться клубами ароматного дыма. Его было необычно много, и постепенно он заполнил все помещение, словно из полей ветер принес облако ночного тумана. И тогда цадик заговорил:

– Знайте, есть на свете птица, именуемая Па. Ее ноги покрыты незаживающими язвами. Когда Па опускает голову и смотрит на свои ноги, сердце ее переполняется отчаянием и жизнь становится ей противна. Муки столь нестерпимы, что Па больше не в силах их переносить и готова немедленно расстаться с этим миром. Но Всевышний, Творец всего живого, по великой милости Своей создал для птицы крылья, состоящие из перьев удивительной красоты. Нет ни одной краски в мире, ни одного оттенка цвета, которыми не переливались бы эти чудесные перья.

И когда Па поднимает голову и смотрит на свои крылья, то ее умирающая от мучений душа наполняется жизнью, сердце начинает биться в полную силу, и радость наполняет тело.

Ребе Хаим замолк и раскурил погасшую трубку. Хасиды, затаив дыхание, ждали продолжения рассказа.

– Вот так и человек, – выпустив несколько клубов дыма, заговорил цадик. – Когда он смотрит на себя, кровь почти замирает в жилах от горечи и тягот этого мира. Но если он поднимает голову и переводит свой взгляд на Небеса, душа его переполняется радостью, а тело получает новый заряд жизненных сил. И если этот человек прилепляется душой к вере, отблеск небесного сияния, бесконечного света Всевышнего, озаряет его сущность, а мир, полный обид, несчастья и несправедливости, перестает казаться горьким и безнадежным.

Мендель-Зисл откашлялся и внимательно посмотрел на Довале и Шайку.

«Ох, это еще не все, – сообразил Шайке. – Нравоучение только сейчас начнется, ох...»

Он не ошибся, Мендель-Зисл выдержал паузу и продолжил:

– Что, собственно, хотел сказать ребе Хаим своим хасидам? У каждого человека есть крылья и с их помощью он может вознестись над нашим миром и увидеть свет Шхины, Божественного присутствия. Но чтобы увидеть эти крылья, необходимо поднять голову. Тот, кто продолжает смотреть вниз, остается погруженным в сумерки и боль материальности.

Человек стоит у барьера и все зависит от его взгляда, от того, куда обращен внутренний взор.

Если он смотрит вниз, находит множество причин для огорчения и скорби, способных отравить жизнь и сделать ее невыносимой.

Если же человеку удастся поднять голову, он обнаруживает, что у него есть крылья, а над ним небо, полное надежды и света.

Так что, не так уж у нас плохо. Сухо, нет ветра, солома свежая, а со свечами Бог поможет! И если...

– Бог поможет, – переспросил Шайке, не зная как остановить разговорившегося балагулу. – А вот ребе Михл говорит, Бог не помогает.

– Что значит, не помогает? – удивился Довале. – Кто же тогда помогает, если не Он?

– Бог не помогает, – упрямо повторил Шайке. – Ребе Михл говорит, Бог делает все.

– Ну, раз так, – удивился Довале, – почему же Он отобрал у нас ханукальные светильники? Неужели Он не хочет, чтобы мы выполнили заповедь?

– Не знаю, – пожал плечами Шайке.

– Сейчас я пойду к хозяйке, – решительным тоном произнес Довале, – и попрошу у нее еще пять свечей.

– Упаси Боже, – замахал руками Мендель-Зисл. – Они тут в деревнях и без того уверены, будто все евреи колдуны. Хозяйка решит, что мы замыслили какое-нибудь чародейство, и разнесет потом по всей округе. Нельзя, нельзя!

– Ох-ох-ох, – закричал Довале и начал ворошить солому, вырывая ямку поглубже. – Сейчас бы еды горячей, да чаю, да... – он поглядел на собеседников и спохватившись, добавил:

– И шесть свечей, заповедь исполнить.

Он помолчал немного, а затем, скорчив ироническую ухмылку, добавил, не отрывая глаз от лица Менделя-Зисла:

– Ну что ж, поднимем наши головы, вознесем взгляды к небесам, и будем искать крылья!

В сарае воцарилась тишина, нарушаемая только смутным шумом дождя да всхрапыванием засыпающих лошадей. Еле ощущаемое дуновение воздуха, от ветра, пробивавшегося через плохо законопаченные щели, отгибало в сторону язычок пламени, и тени на стене шевелились, словно живые.

Заскрипела дверь и в сарай вошла хозяйка. Темнота за ее спиной была непроглядной, туда не хотелось даже заглядывать.

– Замерзли, еврейчики? – бодро начала хозяйка, энергичными движениями рук стряхивая воду с рукавов кожуха. – Давайте баш на баш: вы мне поспособите, а я вас согрею.

– А чем поспособить-то? – вылез из соломы Довале.

– Извела меня невестка, сил больше нет. Ледащая девка досталась, ни сыну удовольствия, ни мне подмоги. Заколдуйте ее, чтоб слегла на пару дней, я и передохну маленько.

Мендель-Зисл соорудил страшную рожу и уже открыл рот, чтобы решительно отказаться, но Довале его опередил. Незаметно для хозяйки подмигнув балагуле, он солидным тоном произнес:

– Работа непростая, но возможная. Неси дюжину свечей, канзак с углями, шесть яиц и нам чаю, чтобы согреться. Как принесешь – сразу за дверь, и не вздумай заходить, пока не позовем. Станешь подсматривать или подслушивать – пеняй на себя, ответственности за это мы нести не будем. Согласна?

– Согласна, согласна, за тем и пришла, – ответила хозяйка и тут же выскочила из сарая.

– Кто тебя тянул за язык?! – возмущенно зашипел балагула. – Что теперь о нас подумают?

– Хуже уже не подумают, – весело отозвался Довале. – Слышал, для чего она пожаловала? Она и без того нас колдунами считает. Так не будем ее разочаровывать! Заодно хоть закусим, согреемся и свечки ханукальные зажжем.

– Мало ли что она считает, – возмутился Мендель-Зисл. – А теперь мы подтверждаем ее дурацкие мысли!

– Да плевать я хотел на мысли неграмотной польской селянки, – возмутился Довале. – Пусть думает, что хочет. Не любят они нас, не любили и любить никогда не будут.

– Мне не нужна их любовь, – отозвался Мендель-Зисл. – Но благодаря тебе завтра эта селянка может пойти к воеводе и под присягой подтвердить, что на ее глазах евреи занимались колдовством.

– Ничего она не подтвердит, – усмехнулся Довале. – потому, что ничего не видела и не слышала. Пусто у нее в заглазнике, лишь собственные пустые речи!

Мендель-Зисл хотел возразить, но дверь снова заскрипела и вошла хозяйка, неся казанок с углями, а на сгибе локтя корзинку с яйцами и свечами.

– Быстро ты обернулась! – удивился Довале.

– Та все ж ведь под рукой, шаг туда, шаг обратно. Вот, берите, а я за чаем сбегаяю.

Зажгли свечи, испекли яйца в углях, достали уцелевший хлеб и поужинали, прихлебывая горячий чай. Сарай наполнился светом, путники согрелись и, несмотря на скудный ужин, почувствовали себя почти счастливыми. Говорили благословения после еды с особым чувством и пониманием. О селянке забыли, она осталась за дверьми, в черной глубине ненастной ночи.

Дождь стих, уши так привыкли к его мерному шуму, что наступившая тишина казалась удивительной. Лишь изредка ее нарушал запоздавший раскат грома.

Надо было устраиваться на ночь. Путники погасили свечи, оставив лишь одну, и принялись зарываться в сено, но их приготовления прерывал резкий стук в дверь.

– Кто это может быть? – удивился Мендель-Зисл, поднимаясь на ноги. За порогом стояла хозяйка.

– Уж простите, – жалобно взмолилась она, оставаясь за порогом, – я не знаю, закончили вы свои дела или нет, только годить больше нет возможности.

– Заходи внутрь, – Мендель-Зисл придержал дверь, давая селянке войти.

– Пожалейте, пожалейте эту дуру набитую, – продолжала молить хозяйка. Теперь она обращалась прямо к Довале, видимо, считая его главным. – Она криком кричит, так живот закрутило. Умирает, кончается прямо на глазах. Хоть и паскуда, да все ж таки не чужая, помогите!

– О ком ты говоришь? – перебил ее Довале.

– Да о невестке же, бедолаге горемычной. Пожалуйста, расколдуйте ее обратно, нет моего здоровья видеть ее страдания.

– Хорошо, – важно произнес Довале. – Но нам понадобятся еще угли, двадцать картошек, соль и лук.

– Уже несу, – вскинулась селянка и выбежала из сарая.

– А если невестку не отпустит? – свистящим шепотом спросил Мендель-Зисл. – Тогда, что тогда будешь делать?

– Глупости, случайно совпало, – махнул рукой Довале. – Закрутил у девки живот, пройдет через полчаса, они же здоровые, как лошади. А мы хорошо поужинаем.

– Как ты не боишься? – настаивал Мендель-Зисл. – Разные болячки бывают на свете. Откуда в тебе уверенность, что все пройдет?

– Оттуда, – Довале ткнул пальцем вверх. – По твоему совету я перевел взгляд на небо, полное надежды и света, и уверился в благополучном исходе.

– Балабол, – махнул рукой Мендель-Зисл. – Болтун и балабол.

Снова зажгли свечи, испекли картошку и умяли ее подчистую с луком и солью. Ах, как это было вкусно, как шикарно! Шайке расхрабрился, приоткрыл дверь и выглянул наружу.

Гроза прошла, но молнии еще вспыхивали. И без того блеклая луна, мелькающая в разрывах облаков, при каждой вспышке тускнела еще больше.

– К утру развиднеется, – заметил Мендель-Зисл. – Пора спать. Только бы узнать, полегчало невестке хозяйской или нет...

– Раз хозяйка не пришла, значит, полегчало, – заметил Довале, гася свечи. – Давайте укладываться.

Но спать не получилось. Явилась селянка, держа в руке зажженный фонарь.

– Ох, спасибочко, умельцы дорогие, – с порога начала она. – Отпустило невестку, спать пошла. Это ж я, я виновата. Характер у меня злой, чуть родного человека не сгубила.

– Да никакие мы не умельцы, – возразил Довале. Теперь, после того, как голод разжал когти, ему хотелось только одного – поскорее заснуть. – Я цирюльник, а это мой помощник и ба- лагула.

– Цирюльник! – вскричала селянка так, словно впервые об этом услышала. – Так у меня для тебя работа есть. Бороду надо в порядок привести. Пойдем, я хорошо заплачу.

– Что, прямо сейчас? – удивился Довале. – Давай завтра утром!

– Нет-нет, давай сейчас. Кто знает, что будет утром? Вы хо- рошо поели, согрелись, а бороду постричь работы не много, особенно для таких умельцев.

– Ладно, пошли, – согласился Довале, понимая, что не отвертеться. Парикмахерские инструменты он всегда носил в карманах специально пошитой жилетки, которую в поездках ни- когда не снимал. Благодаря этой предосторожности они не ока- зались в дорожной грязи вместе с другими вещами, вылетевшими из телеги.

Луна совсем померкла. Тьма стояла непроглядная, словно черная вода. Фонарь в руках хозяйки еле освещал грязь под но- гами. Поодаль светились желтым окна избы, но хозяйка пошла в другую сторону. Спустя несколько минут они оказались перед низким строением, дверь скрипнула, и запах навоза ударил в ноздри.

– Вот он, мой красавец, – хозяйка подошла к загону. С дру- гой стороны загородки важно приблизился огромный белый козел с длиной желтоватой бородкой. – Приведите его в поря- док.

Довале оглядел хозяйку, не веря своим ушам.

– Да ты никак рехнулась? Кто же козлам бороды стрижет?

– Пожалейте меня, добрые люди, – взмолилась хозяйка. – Я вся извелась, места себе не нахожу. Он мне каждую ночь снится, просит постриги-постриги мне бороду. А я сама боюсь. Вот ты че- ловек умелый во всех отношениях, сделай одолжение.

– Она сумасшедшая, – негромко сказал на идиш Мендель-Зисл. – И невестки у нее никакой нет. Делай, что она говорит, а то учудит Бог вещь что.

– Ладно, – согласился Довале, опасливо поглядывая на се-  
лянку. – Только как я к нему нагибаться буду? Без света да в рас-  
скорячку могу бороду испортить.

– То разве беда? – вскричала хозяйка. – Мы ж его сейчас на помост загоним!

В углу возвышался деревянный помост, покрытый ошмет-  
ками сена и грязными тряпками. Хозяйка ухватила козла за рог  
и негромко попросила:

– Ну, пойдём, милый, пойдём.

Козел послушно последовал за ней, вспрыгнул на помост и,  
повернувшись мордой к Довале, застыл в ожидании.

– Вот же дела, – присвистнул Мендель-Зисл. – Сколько лет  
живу, такого козла не видел!

Хозяйка сняла со стены фонарь, зажгла и поставила в него  
пяток свечей, наполнивших сарай светом.

– Я уж давно все приготовила, – приговаривала она, выта-  
скивая из-под помоста ларь. – Ждала, пока дорогой гость прие-  
дет, славный умелец, мудрый рукодельник, и вот, дождалась.

Она вытащила розовое, в белый горошек полотенце и по-  
вязала козлу вокруг шеи, извлекла настоящий пульверизатор,  
не хуже чем в лучших салонах Варшавы, вручила его Менделю-  
Зислу, Шайке дала большую расческу, а сама взяла в руки зер-  
кало.

– Начинайте, панове, начинайте, не томите меня и скотину.

Довале, изрядно ошалевший от происходящего, вынул из  
жилетки ножницы и взялся за дело. Козел тяжело дышал, вы-  
совывая фиолетовый язык, хозяйка не замолкая, несла какую-  
то околесицу.

– Готово! – спустя пять минут тяжело выдохнул Довале, от-  
ступая от козла. – Принимайте работу.

– Ох, какой ты у меня красавчик! – вскричала хозяйка. – По-  
молодел, посвежел! Спасибо, вам, гости дорогие, спасибо.

Выйдя из дверей, Довале направился было в сторону сарая,  
но хозяйка решительно воспротивилась:

– Нет-нет-нет, я вам в горнице постелила. Чистое белье, мягкие перины, и тепло, протопила недавно. Пожалуйста в дом.

В доме было тепло и сухо. Заведя гостей в горницу, хозяйка показала им застеленные кровати и пошла к двери.

– Не буду вам мешать. Снимайте одежду, сушите возле печки и ложитесь спать. Устали, поди, намаялись.

– Ты понимаешь, что тут происходит? – спросил Довале, как только дверь в горницу затворилась.

– Тут происходит сумасшедший дом, – мрачно ответил балагула. – И надо уносить поскорее ноги. Как только рассветет, сразу уедем. Помолимся в дороге. Вы спите тут, а я пойду к лошадям. Черт знает, что может произойти на этом хуторе.

Но ничего не произошло. Довале и Шайке заснули, едва оказавшись в кроватях, и пробудились, лишь начало светать. Пока собирались, запрягали лошадей, выкатилось красное, бодрое солнце. От ночной грозы не осталось и следа, солнечные лучи жарко освещали и чистое голубое небо, и прихваченную заморозком дорожную грязь.

– Куда ж вы без чая! – удивилась вышедшая на крыльцо хозяйка. – Почекайте трошки, я завтрак сготовлю.

– Большое спасибо, но мы очень спешим, – отозвался Довале. – Пани Лещинская уже не знает, что и думать, а нам до имения еще ехать и ехать. Так что спасибо за ночлег, здоровья вам и вашей невестке.

– Минутку еще погодьте, – всполошилась хозяйка, пропустив мимо ушей упоминание о невестке. – Под утро муж вернулся, хотел словом с вами перемолвиться, да вы ж еще спали...

Она поспешила в дом, и почти сразу на крыльцо вышел рыжий крестьянин в новом кафтане, расчищенных сапогах и залихватски сдвинутой набок шапке. Рыжая, с полосами благородной проседи борода была аккуратно подстрижена и расчесана, щеки покрывали мелкие рыжие веснушки, такие же были на кистях рук с длинными пальцами.

– Жаль, что уезжаете, – сказал он низким, хрипловатым голосом. – Хотел в благодарность за работу угостить вас по-царски.

Мендель-Зисл развел руками, мол, увы, не получается и свистнул лошадам.



– С угощением не вышло, но хоть деньги за труд возьмите! – вскричал крестьянин, сбегая с крыльца. Телега уже тронулась, он одним прыжком оказался возле Довале, сунул ему в руку монету и таким же залихватским прыжком вернулся на прежнее место.

Балагула был занят лошадьми, Шайке сидел у противоположного борта телеги, спиной к парикмахеру.

«Никто не видел, как крестьянин дал мне деньги, – мелькнуло в голове у Довале. – А это значит, что я не обязан делиться, и могу спокойно взять их себе».

Отдохнувшие за ночь лошади взяли разом и понесли телегу. Спустя пару минут Довале обернулся, чтобы взглянуть на хутор, но непонятно откуда выползший туман скрыл дорогу.

Разжав ладонь, он посмотрел на монету.

«Ого, золотой! Неплохая плата за козлиную бороду! – подумал Довале, упрятывая монету во внутренний карман жилетки. – Впрочем, она полагается мне по праву, работу ведь сделал я, причем от начала и до конца. И фокус с хозяйкой и колдовством тоже я придумал. Моя монета, не о чем говорить!»

Прошло полчаса или час, лошади шли быстрым шагом, мерно покачивая телегу, поднявшееся солнце набрало силу и грело так, что над отсыревшим армяком балагулы поднимался легкий пар. Неприятные мысли не давали Довале покоя. Он гнал их, но они возвращались с настойчивостью навозных мух.

«Что произошло прошлой ночью? Блажь сумасшедшей крестьянки? Сначала заколдовать невестку, потом расколдовать. А стрижка бороды у козла? Где такое слышано? Очень, очень странно...»

И вот еще что... Разве станет владелец хутора выкладывать целый золотой за причуду ненормальной жены? Такое больше пристало помещику-шляхтичу, не считающему деньги, чем прижимистому польскому крестьянину. Ох, не нравится мне это, ох, не нравится».

Но золотой, целый золотой, ощутимо грел карман, заставляя позабыть о многом. Впрочем, борьба продолжалась недолго, и Довале выложил все свои сомнения Менделю-Зислу, разумеется, не упомянув золотой. Балагула вместо ответа раскурил трубку, ветер сдувал клубы ароматного дыма прямо в лицо До-

вале. Шайке чихнул и отвернулся, предполагая, что балагула опять угостит их доброй порцией нравоучения.

– Я езжу по этим местам уже много лет, – сказал Мендель-Зисл, – но ни разу не попадал на этот хутор и никогда не видел этих крестьян. Ты заметил, как только мы отъехали, он тут же скрылся в тумане. А ведь когда мы выезжали со двора, никакого тумана не было.

– Заметил, конечно, заметил, – вскричал Довале. – Ну, и что это значит?

– Помнишь, как проверяли в древности неверную жену? Приводили в Храм и давали пить особую воду. Если она была невиновна, то ничего не случилось, а если нет, умирала и жена, и ее любовник.

– На что ты намекаешь? – встревоженно спросил Довале. Имена доброго десятка чужих жен, удостоивших его благосклонностью, завертелись в голове. – Храма сейчас нет и воды такой тоже. И вообще, какое это имеет отношение к нашему ночному приключению?

– Самое непосредственное, – невозмутимо произнес Мендель-Зисл. – Перед тем, как напоить женщину водой, ей задавали несколько вопросов. Ну, такое небольшое расследование перед началом. Бывало, виновная сама признавалась в преступлении и оставалась жить, хоть и опозоренной. А случалось, искренность и чистота жены трогали сердце ревнивца, и он отказывался от проверки.

– Ну и что? – перебил его Довале. – При чем тут стрижа козлиной бороды?

– Перед тем, как начать расследование, – продолжил балагула, не обратив внимания на вопрос цирюльника, – ее водили с места на место, снимали головной убор, растрепывали волосы, приводя замужнюю женщину в величайшее смущение, и снова водили. Священнослужитель старался сбить ее с толку, рассеять внимание и когда видел, что достиг своей цели, внезапно начинал расспрашивать. У каждого преступника есть своя версия событий, он ее вызубрил и постоянно повторяет. Но когда ему задуряют голову, может проговориться.

– Ну и что! – заорал Довале. – При чем здесь я? В чем я проговорился?

– Пока еще ни в чем, – улыбнулся Мендель-Зисл, – но уже начинаешь. Вот посуди сам, стал бы ты просто так стричь бороду козлу? Да ни в жизни! Вот эта чертовка нас и задурила. Сначала не хотела пускать, потом отправила в сарай, не давала свечей и еды, сочинила невестку, приходила, уходила, в общем, заморочила всем головы. И получила то, чего хотела. Ты же понимаешь, к кому в лапы мы угодили?

– Понимаю, – понурился Довале. – Но зачем им понадобилась эта дурацкая стрижка?

Мендель-Зисл снова раскурил трубку. Погода испортилась. Порывами налетал сумрачный ветер, тащил за собой низкие тучи, рвал их в клочья и гнал над самыми верхушками придорожных ветел. Шайка зябко кутался в не успевший до конца высухнуть армяк.

– Эти создания, – докурив, продолжил Мендель-Зисл, – получают жизненность из совсем другого источника. Для них свет, питающий человеческое тело, настоящее лакомство и они стремятся его заполучить. А если речь заходит о еврейской душе, тут они просто сбиваются с ног и готовы на все, что угодно.

– Но как они получали эту силу? Я им ничего не давал!

– Давал и еще как. Каждый щелчок ножницами под мордой козла расходовал на стрижку часть полученного тобой света. Довале, ты отдал им жизненность своими собственными руками

Этот фокус у них проходит не со всеми. Свет удается урвать лишь у тех, кто уже обращен к другой стороне, раскрыт для ее влияния.

Довале вспомнил свою страшную месть польской шляхте и понял, что попался.

– Ты хочешь сказать, – горестно вскричал он, – что я связан с нечистой силой?!

– Увы, – вздохнул балагула. – И не ты один. Теперь я и Шайке тоже связаны с ней...

– Если так, почему они нас выпустили из своих лап? Слишком легко у нас получилось, сели на телегу и уехали.

– Погоди, погоди, – вздохнул Мендель-Зисл. – Об этом судить рано. Боюсь, наша история только начинается.

До поместья Лещинского добрались быстро, про три часа езды хозяйка хутора явно напутала. Пани оказалась капризной и привередливой, Довале пришлось немало повозиться, пока она осталась довольной. Обрато выехали после полудня, рассчитывая оказаться в Куруве непоздним вечером.

Изрядно потеплело, заходящее солнце окрашивало багрянцем дождевую воду в придорожных канавах. Пролетающие галки отражались в ней черными каплями. И чем меньше оставалось до Курува, тем большее беспокойство овладевало сердцем Довале.

Монета, полученная от хозяина хутора, уже не просто грела карман, а причиняла серьезное неудобство. В конце концов, Довале вытащил ее из кармана и протянул Менделю-Зислу. О том, откуда она взялась, он решил промолчать.

– Потрогай, или я совсем сбрендил или тут что-то неладно.

– Что может быть неладно в золотой монете? – удивился ба- лагула, подставляя раскрытую ладонь.

– Горячая она, бок через одежду нагревает, а сейчас взял в руку – пальцы жжет.

– Монета, как монета, – пожал плечами Мендель-Зисл. – Холодная, увесистая. А трусит тебя от волнения, небось, нечасто приходится в руки золотой брать?

Довале насупился, забрал золотой и упрятал подальше, твердо решив избавиться от него при первой возможности.

Возможность представилась уже на следующий день, когда габай курувской синагоги подошел к Довале и с решительностью человека, добровольно лежащего на жертвенник, попросил пожертвовать на сироту-бесприданницу. Судя по выражению выцветших глаз габая и сурово сведенных к переносице кустиках седых бровей, подавали не густо. Довале с радостью извлек из кармана злосчастный золотой и отдал габаю.

– О! – восхитился габай. – Щедрое даяние, сделанное от чистого сердца, многого стоит. Куда больше золотого! Я расскажу о твоём поступке раввину и всем членам правления!

Довале отправился домой счастливый и довольный. Но не умеет долго радоваться еврейская душа, невидимый груз мешает расправить плечи и позабыть о тяготах жизни. Груз этот

называется печальным опытом двух тысяч лет изгнания, его горький привкус – еврейская приправа к любой радости.

Покой недолго тешил Довале, не прошло и часа, как он дошел к окну, упер лоб в холодное стекло и задумался. Да, он избавился от подарка чертей, но что будет с этой монетой дальше? Не надо ли было обо всем признаться раввину или просто выбросить ее в реку?

Высыпав на стол горстку собранных медяков, габай положил отдельно золотую монету, и, начав подсчет, то и дело, словно малый ребенок, любовно прикоснулся к ней кончиками пальцев. Удивительно, монета с каждым прикосновением казалась ему все теплее и теплее, пока не стала настолько горячей, что взять ее он сумел только через тряпицу.

– Что-то здесь не то, – сказал себе габай. – Что именно, не могу понять, но ох как не то. Отнесу ее раввину, пусть разбирается.

– Не наши это деньги, – сказал ребе Михл, взяв в руку монету и тут же выронив ее на стол. – Совсем чужие. К евреям отношения не имеют. Отдай монету нищим на паперти у костела.

День выдался сырой и зябкий. Ветер нес изорванную в клочья белесую мглу над самыми крестами храма. Из мглы то и дело сыпался колючий дождь. Злобный ветер подхватывал капли и швырял их в лица прохожим.

Удерживая обеими руками шапку, габай добрался до площади перед костелом. Паперть была пуста, непогода разогнала и дающих и просящих. Возвращаться сюда в другой раз габай не захотел, осторожно выудил из кармана золотую монету и опустил ее в кружку для подаяний, прикрепленную на двери.

Пожар в костеле начался ночью. Если бы не дождливая погода, пропитавшая влагой толстую входную дверь, католики Курува остались бы без храма. Но огонь с трудом пожирал мокрую древесину, сначала высушивая слой и лишь потом запуская в него огненные пальцы. Когда дверь, наконец, вспыхнула и жарко запылала, рассыпая во все стороны искры, уже наступило утро. Староста, приходивший раньше всех, издали заметил пожар, забил тревогу, и набежавшие добрые католики общими усилиями погасили пожар.

Внутрь костела пламя не успело забраться, и ущерб ограничился лишь входной дверью. Впрочем, слово лишь тут не совсем уместно. Двустворчатые ворота четырехметровой высоты, богато украшенные орнаментом из меди, с массивными бронзовыми рукоятками полностью пришли в негодность. О расплавленной кружке для пожертвований, прикрепленной к правой створке, никто даже не вспомнил.

Умы занимало другое – кому понадобилось поджечь храм? Сама по себе дубовая дверь загореться не могла, и случайного огонька тоже было явно недостаточно, тут требовались длительные целенаправленные усилия. Речь, несомненно, шла о злом умысле.

– Это они, – сразу заявил водовоз Янек. С трудом зарабатываемых денег ему едва хватало на шинок, за что он частенько бывал бит крутой на расправу супругой. Обида на несправедливое устройство жизни и горечь от того, что кому-то достается в ней кусок пожирнее, не давали Янеку покоя ни днем, ни ночью.

– Жиды, больше некому, – решительно объявил он.

– А зачем им костел поджигать? – удивился кто-то, но Янек скорчил такую рожу, словно сломал зуб, укусив попавший в хлеб камешек.

– Святая простота! – вскричал он. – Они Бога нашего презирают, а веру ненавидят. Что католику горечь – жиду мед. Неужто мы оставим безнаказанным такое злодейство?!

И рассыпался мелкий, торопливый разговор, состоящий из возмущенных выкриков, гневных реплик и призывов к мести. Но день с его заботами властно требовал свое и почти все добрые католики, помогавшие тушить пожар, разошлись по делам. Спустя полчаса перед папертью осталась кучка самых заядлых крикунов, у каждого из которых был свой неоплаченный счет к миру.

Больше всех кипятился рыжий крестьянин в новом кафтане, расчищенных сапогах и залихватски сдвинутой набок шапке. Рыжая, с полосами благородной проседи борода была аккуратно расчесана, щеки покрывали мелкие рыжие веснушки, такие же были на кистях рук, с длинными пальцами. Он требовал не просто мести, а мести кровавой, такой, чтобы память о ней навсегда врубилась в память христородавцев.

Другие были настроены не столь категорично, поэтому договорились о встрече вечером в шинке, дабы в нем решить, как быть дальше. Святая месть святой мезтью, но правильно и справедливо начать хорошее дело с доброй чарки.

Доброй чаркой дело не ограничилось, повторили, устроили и хотели упятерить, но шинкарь Юзеф, зная свою клиентуру, потребовал сначала расплатиться за выпитое. Деньги с трудом собрали, большую часть выложил рыжий горлопан, и поскольку водки больше не было, начали строить планы мести.

Особых предложений ни у кого не оказалось, и тогда рыжий крестьянин предложил не заморачиваться, а сделать по-простому: подкараулить жидов рано утром у синагоги и мочить по одному, да так, чтобы зубы летели.

– Их черные коробочки и полосатые накидки, – воскликнул Янек, – немалых денег стоят. Отберем, пошлем человека в Люблин или Краков, пусть продаст тамошним жидам, а денежки честно разделим.

В его голове моментально возник план, как он вызовется проверить эту операцию, продаст задорого, а скажет, что получилось задешево и большую часть денег оставит себе.

На том и порешив, повалили из шинка веселой гурьбой, предвкушая завтрашнюю забаву. Завернув за угол, Янек переждал, пока стихнут голоса товарищей, и вернулся в шинок.

– Налей-ка стаканчик, – велел он Юзефу.

– В долг больше не дам, – отрезал шинкарь.

– Наливай, наливай, – развалясь на скамье, бросил Янек. – Скоро у меня будет достаточно денег, чтобы купить тебя вместе с шинком.

Он, конечно, малость приврал, но Юзефа можно было убедить только впечатляющей картинкой.

– Что теперь? – недоверчиво спросил шинкарь. – Про твое быстрое обогащение ты мне уже рассказывал. И в прошлом месяце, и в позапрошлом, и год назад. Почему я должен тебе верить?

– На сей раз – верняк! – важно произнес Янек и расписал перед шинкарем картину завтрашней мести, намекнув, что продавать трофеи он возьмется сам.

– Как, по-твоему, сколько можно заработать на этих коробочках и накидках? – спросил он в завершение рассказа и многозначительно постучал по столу пустым стаканом.

– Не знаю, не знаю, – задумчиво произнес Юзеф, наполняя стакан. – Главное, чтоб без мертвяков. Иначе поднимется шум на весь мир, и жидки, которым ты предложишь товар, сразу заподозрят неладное. Ты уж объясни своим друзьям, или святая месть, или заработок.

Янек залпом осушил стакан, сморщился, занюхал горбушкой черного хлеба и, переведя дыхание, спросил:

– А то и другое не получится?

– Нет, – отрезал шинкарь. – Опыт моей жизни учит: святость и заработок рука об руку не ходят.

– Ладно, объясню, – ответил Янек, снова поднимая стакан.

Из шинка он выходил, изрядно шатаясь, и в сенях наткнулся на доносчика Гецла. Тот стоял там уже с полчаса, подслушивая через щель в прикрытой двери разговор между шинкарем и водовозом.

– А, жидяра, – Янек хотел ударить доносчика, но не смог попасть, Гецл с ловкостью змеи скользнул в сторону. Янек снова замахнулся и снова не попал.

– Ладно, живи пока, – буркнул он и поплелся домой. Там его ожидала изрядная выволочка от жены и пара оплеух на сон грядущий. Но ничего этого он пока не знал и поэтому брел, радостно улыбаясь, предвкушая сладость утех на супружеском ложе.

Гецл не случайно оказался в сенях. Он постоянно захаживал в шинок, усаживался в самый темный угол, брал стакан чая и слушал во все уши. Не все подслушанное годилось для пана Анджея, но часто пьяные языки выкладывали очень полезные сведения.

Из шинка Гецл трусцой понесся в сторону поместья. Ни темнота, ни холод не были ему помехой, ведь пан за известие о готовящемся погроме в его владениях, несомненно, отблагодарит и отблагодарит щедро.

Сидя у зажженного камина, пан Анджей наслаждался трубкой и водкой, настоящей на вишне. Водку специально для пана гнал на винокуренном заводике реб Гейче, прилагая для этого



все умение своих мастеров. Напиток получался крепкий, душистый и хорошо очищенный, пить его можно было в больших количествах, не опасаясь похмелья и головной боли. А чем еще коротать скуку долгих осенних вечеров, когда дождь стучит по крыше и ветер завывает в печных трубах?

Гейче получил свой золотой и поспешил удалиться, а пан Анджей еще несколько минут сидел, покручивая ус. Больше всего на свете он не любил своеволия, когда дело поворачивалось не так, как он себе представлял. Евреи Курува были для пана источником неплохого дохода, и вот какие-то пьяные холлопы решили заработать на них вместо него. Не бывать тому!

Пан Анджей вызвал к себе атамана своих гайдуков и дал ему четкие указания, что делать завтра утром. Потом выпил еще рюмку вишневки, пригладил усы, подошел к двери в будуар жены и осторожно постучал.

– Эмилия, сердце мое, – хриплым голосом произнес пан. – Я бы хотел с тобой кое-что обсудить.

Эмилия криво усмехнулась. Она хорошо знала, что желает обсудить ее муж. Обсуждал он всегда одно и то же, и это обсуждение вело прямо в постель. Но деваться было некуда, устало прикрыв глаза, она ответила:

– В чем же дело, дорогой? Заходи, поговорим.

Дверь заскрипела, отворяясь, и пани Эмилия, тяжело вздохнув, приготовилась нести груз супружеского долга.

Ненастная ночь сменилась холодным, туманным рассветом. Из полутора десятков погромщиков встали и пришли к месту сбора всего шесть человек. Но зато настроены они были весьма решительно. Янек взял дубинку, другой погромщик захватил топор, третий – тяжелый молот, четвертый – мотыгу, пятый – кусок колодезной цепи. Шестой, рыжий крестьянин пришел с пустыми руками, но заправлял всем.

– Встанем за калиткой во двор синагоги, – распорядился он. – Трое будут заваливать каждого входящего, двое оттаскивать тело за угол. Я стану собирать добычу.

– Почему ты? – вскинулся Янек.

– Потому, что к моим рукам ничего не прилипнет, – веско произнес крестьянин и ему почему-то сразу поверили.

Погромщики заняли свои места. Рассветный туман стекал с покато́й кровли синагоги и клубами стелился по земле. Наконец за калиткой послышались шаги, Янек занес над головой дубинку и приготовился.

Калитка с треском отворилась, и во двор синагоги вместо евреев ворвались два гайдука.

– Это что еще такое? – взревел атаман, увидев поднятую дубинку. Свистнула плеть и Янек, уронив оружие, схватился за ногу. В конец плети были вплетены куски свинца, атаман на спор ломал одним ее ударом толстые ветки деревьев.

– Пан Анджей велел немедленно разойтись, – презрительно кривя губы, произнес атаман. – Чтоб через минуту духа вашего тут не было.

Он красноречиво положил руку на рукоять сабли и гаркнул:  
– Пошли вон!

Погромщики сдулись, словно проколотый рыбий пузырь. Одно дело лупить безропотных и беззащитных жидков, и совсем другое вступать в драку с вооруженными гайдуками. Они ведь не знают ни меры, ни укорота, могут запросто зарубить человека, и никто им ничего не сделает. Один за другим погромщики потянулись в калитку, а атаман добавил им вслед:

– Кто жида тронет, без яиц останется. Пан Анджей сказал. Он сказал, а я сделаю. Ну, бегом отсюда.

Неудачливые погромщики припустили рысцой и пропали в тумане. Гайдуки вернулись в поместье, а рыжий крестьянин исчез, словно никогда его и не было.

Никому в городе не стало известно о золотом, опущенном габаем в копилку на двери костела. А если бы даже и стало, кто бы решился увязывать его с пожаром. Где вода, а где имение? Пожары в Куруве случались довольно часто, и в этом солидные прихожане, непохожие на кучку горлопанов-погромщиков, не усмотрели злокозненный замысел.

Пан Анджей щедро пожертвовал половину суммы, необходимой для заказа новых врат, вторую половину быстро собрали среди горожан и послали за мастерами в Краков. Проем кое-как залатали досками, и жизнь потекла своим чередом.

Ненастье сжимало Курув ледяными пальцами ночных заморозков. Природа ждала снега, но он все не шел, отправив

перед собой порывистый, пронизывающий до костей ветер, насадную хмарь тяжелых холодных дождей и черно-серые тучи, наглухо застившие небо.

В такую погоду паны и паненки не думали о прическах, и оставшийся без заказов Довале захандрил. Целыми днями он стоял у окна, насадно размышляя о своей пропащей, незадавшейся жизни. Впервые за долгие годы беготни Довале четко осознал, что умрет.

До сих пор ему казалось, будто придумают какое-нибудь чудо-лекарства, или придет Мошиах, или скрытый праведник даст ему благословение на долгую-долгую жизнь. Да, вокруг все умирают, но только не он, с ним такого не случится.

И вдруг он понял, что случится, и что большая часть его единственной, драгоценной жизни, уже за плечами. А впереди в лучшем случае крошечная мгла могилы, а в худшем наказания за шалости, проступки, серьезные нарушения и многочисленные грехи.

– Что будет с тобой, Довале? – повторял он, прижимаясь лбом к холодному стеклу. – Что с тобой будет?!

– И чего меня так проняло? – наконец взорвался Довале. – Погода что ли действует: ненастный день, низкие тучи, проливной дождь, черная грязь. Да ведь не первый же раз дрянная погода, бывало и хуже!

Неужели это из-за злосчастной монеты, полученной от чертей? Но ведь не было мне от нее никакой пользы, я отдал на святое дело, а значит – освятил. Что же случилось, отчего так тошно, так муторно? Неужели состарился? А может, в конце концов, поумнел. Должно ведь такое когда-нибудь произойти.

Он тяжело вздохнул, отлепился от стекла и провел рукой по замерзшему лбу. Знобило. Довале подошел к печке и прижался спиной к ее нагретому боку.

– Эх, птица Па, птица Па.... Все, оказывается, зависело от моего взгляда. А куда я смотрел всю жизнь? Один раз ты можешь самому себе сказать правду, Довале. Никто ведь не узнает. Тут только мы с тобой.

– Кто это мы? – удивился парикмахер. – Тут же я один, сам с собой разговариваю.

– Ну, тем более, кто же тогда узнает, если ты один? – ответил он сам себе.

– Ладно, признаюсь, – прошептал Довале после долгого молчания. – За пазуху своим клиенткам я заглядывал. Больше всего на свете меня волновала и волнует женская грудь. Что делать, так я устроен!

Он широко развел руками, словно стремясь объяснить невидимому собеседнику свою неспособность противиться неотступному зову естества.

– А ведь дамы это замечали, – продолжил признание Довале. – У них глаз на мужской взгляд наметан, сразу видели, куда я кошусь. И почти всем это нравилось. Некоторые даже специально наклонялись, чтоб ворот платья отвис и ...

– Тьфу, да о чем ты опять думаешь, Довале? – оборвал он себя. – Стоит тебе подумать о женской груди, как ты сразу теряешь голову, даже если эта грудь находится в твоём воображении.

– Да кто же ты, скажи? – возмутился парикмахер. – И что тебе от меня нужно?!

– Я, это ты, Довале. Твоя лучшая, высшая часть. Твоя душа.

– А... душа... чего же ты от меня хочешь, душа?

Ответа не последовало. Довале снова подошел к окну. Сквозь ключья слабого тумана по-прежнему неумолимо моросил дождь. Довале стоял и стоял, не в силах оторвать взгляд от картины угасающего осеннего дня. Вдруг он встрепенулся. За забором непонятно откуда возник козел с аккуратно подстриженной желтой бородкой. Секунду назад его не было! Козел неотрывно смотрел на парикмахера и зазывно качал головой.

– Бред, наваждение, морок! – прошептал Довале и принялся тереть глаза.

Спустя минуту, успокоившись и убедив себя, что ему показалось, он решил снова взглянуть в окно. Пусто. Никакого козла.

– Померещилось, – с облегчением вздохнул Довале.

Темнело. Хмурый свет постепенно мерк, и только окна бейс мидраша на горке светились желтым и теплым. Словно желая удостовериться, что он еще здесь, еще живой, еще чувствует,

Довале, сам того не замечая, гладил пальцами холодное дерево оконной рамы.

«Эх, жизнь, – думал он. – Жизнь... Вот она, моя жизнь.»

# ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Рубрику ведет Александр Крюков

Узи Вайль

## **ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЕРЕНЕС СТЕНУ ПЛАЧА<sup>1</sup>**

Я думаю, что Давид Лугаси никогда не осознавал, насколько он любит Западную Стену, пока не увидел ее разобранной полностью – до последнего камня. Все они были погружены на тридцать грузовиков его компании «Перевозки и ремонт, американское качество». До того момента Стена была определенным местом, всего лишь местом. Но убийство Рабина изменило все.

Лугаси один из тех редких людей, которые рождены, чтобы молиться. Поэтому неудивительно, что возле Стены он чувствовал себя как дома. Он не был религиозным настолько, чтобы мог жениться на внучке адмора<sup>2</sup> или кого-нибудь еще такого, но есть люди, которые счастливы, когда молятся. Перед наступлением шабата Давид обычно шел в синагогу со своим отцом, потом возвращался в дом родителей, отец произносил кидуш, затем была трапеза, а после Давид садился в автомобиль и ехал на вечеринку. В семье Лугаси это считалось отличной встречей шабата.

<sup>1</sup> В традиции европейской культуры так называется часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения Храма римлянами в 70 году н.э.

<sup>2</sup> Аббревиатура, означающая «Наш господин, учитель и наставник». Этого звания в иудаизме удостоивались цадики и религиозно-духовные авторитеты.

И вот причина, по которой Давид любил Западную Стену и ненавидел Иерусалим: в тот момент, когда ты проезжаешь Шаар Хагай, ты обязан сделать выбор. Правый ты или левый, религиозный или светский, носишь вязаную кипу или обычную черную – прямо как в американских фильмах, где житель квартала бедноты должен выбрать к какой банде принадлежать, иначе останется один во враждебном и жестоком городе. Лугаси, который ненавидел выбирать и любил молиться, после каждого визита к своей обожаемой Стене возвращался все более и более раздраженным. И вот недавно, прошла как раз неделя после убийства Рабина, он не выдержал. После очередной поездки к Стене Давид позвонил мне. Был час ночи.

– Ты должен приехать, – сказал он. – Давай, возьми такси и приезжай в Иерусалим. Мне срочно нужен твой совет.

– Совет в чем?

– Куда ее перенести, брат. Стену-то. В течение часа я заканчиваю погрузку. Приезжай, некогда разговаривать. У меня в аппарате садится батарея.

\*\*\*

В полукилометре от Стены дорога была перегорожена переносными заграждениями пограничной стражи. Солдат-друг наклонился к окну моего автомобиля:

– Господин, нет проезда. Стена на ремонте.

– Что?

– Ремонт. Чистят, убирают. Готовятся к специальной церемонии памяти Рабина.

– А, понятно.

Солдат смотрел на меня и ждал. Я почесал в затылке и сказал:

– Послушай, мне нужно проехать. Я из группы консультантов.

– Как вас зовут? – спросил солдат и вытащил из кармана брюк мятый список.

– Узи Вайль.

– Вы знаменитый Узи Вайль?

– Знаменитый? – удивился я. – Чем же я знаменит?

– Что же вы сразу не сказали, – солдат хлопнул меня по плечу. – Подрядчик предупредил, чтобы вас пропустили. Послушай, я с вами на сто процентов. Мы, друзья, у нас ведь союз с народом Израиля.

– Понятно, – ответил я осторожно.

Он крикнул своему товарищу, чтобы тот отодвинул заграждение и дал мне проехать. Потом опять обратился ко мне:

– Вот поэтому-то, хоть я и друг, я полностью за твоего отца.

– Моего отца? – растерялся я.

– Великий человек, – продолжал солдат. – Жаль, что таких больше нет. Вечная ему память.

– Но мой отец жив.

Друз застыл на месте:

– Правда? Бегин не умер?

Я не знал, что сказать и вежливо улыбнулся ему.

– Да что ты говоришь, – все более удивлялся солдат, качая головой из стороны в сторону. – Вот это да, Бегин жив, а? Тогда что же – он скрывается?

Я уклончиво пожал плечами.

– Вот молодец, а, – продолжал друг, – это ведь он тогда научился – в подполье. Когда же он возвращается?

– Ну, еще год-два, – я был должен что-то ответить.

– Передай ему – мы ждем, – сказал солдат. – Даже я, хоть и друг, я жду. Знаешь почему?

– Из-за союза с еврейским народом? – припомнил я.

Он посмотрел на меня с явным одобрением:

– А ты молодец. Я вижу, что отец воспитал тебя хорошо. Вы молодцы, толковая семья.

– Да, – начал было я, – вот мой сын он немного...

– Тоже серьезный?

– Ну... – неопределенно пожал я плечами.

– Не важно. Бегин – это Бегин. Вы правильная семья.

– Я передам отцу, – пообещал я.

Солдат отошел от моего автомобиля, и я проехал к Стене. Площадь перед ней была ярко освещена, и десятки рабочих занимались демонтажем. Оставались уже только два нижних ряда камней. Каждым камнем занималось двое рабочих. Отделив ка-



мень от Стены, они транспортировали его к огромному грузовику, стоявшему у выезда с площади. Двадцать девять таких грузовиков, уже загруженных камнями, выстроились в колонну на дороге, ведущей от Стены. Я застыл на месте, пораженный увиденным.

На кабине последнего загружавшегося грузовика сидели Лугаси и водитель; они пили кофе из большого термоса. Заметив меня, Давид привстал и крикнул:

– Братан! Давай, забирайся, выпей с нами чего-нибудь.

Я ухватился за дверцу грузовика, водитель протянул мне руку, и я очутился наверху. Посмотрев вниз, я увидел, как рабочие приступили к разборке последнего ряда камней Стены. Картина была ошеломляющая: Стена выглядела всего лишь как ряд камней. Я сидел на крыше кабины и молчал.

– Ну что, впечатляет, а? – спросил Лугаси спустя несколько минут.

– Скажи... – начал было я, но не смог продолжить.

– Сейчас я тебе все объясню, – сказал Давид, а сам почти незаметно кивнул мне в сторону водителя. Я понял, что он не хочет посвящать посторонних в свои планы.

– Ну что, – спросил он шофера, – кофе был хорош, а?

– Класный.

– Вот и ладно. Послушай, если ты не против, мы бы хотели обсудить несколько профессиональных вопросов.

Водила подозрительно взглянул на меня. Затем выплеснул остатки кофе из своей чашки на землю и спустился вниз.

Лугаси дождался, пока тот отойдет, а потом заговорил:

– Ну, что скажешь?

– Да что я могу сказать, – развел я руками. – Это...

– Круто, а?

– Да уж, – подтвердил я. – Действительно круто, ничего не скажешь. Но зачем?

– А они не заслуживают, эти иерусалимцы. Они не заслуживают, чтобы у них была Стена.

– Н-да... – неопределенно протянул я и посмотрел вокруг: рабочие приступили к разборке последнего ряда камней.

– Вот скажи сам, – Давид приложил руку к сердцу. – Скажи, если я не прав: на прошлой неделе, два дня спустя после убий-

ства Рабина, да будет память его благословенна, я поехал к Стене помолиться. И за Рабина, и за страну, и за... Ну, не знаю. На сердце от большой тоски сделалось так... особенно после его похорон. Ты видел, как плакала его внучка?

– Видел.

– Ну, тогда ты понимаешь. Было тяжело. Я надел кипу своего покойного отца и отправился к Стене, и представь себе: по меньшей мере человек пять остановили меня и сказали, что это так здорово, что Рабин умер.

Я понимающе кивнул. Лугаси глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой:

– Я кончил молиться и снял кипу. По дороге домой ко мне подошли еще трое и позвали на демонстрацию против религиозных – они ведь все убийцы, так эти сказали. И вот я решил – все, хватит, не желаю больше приезжать в этот город. И еще я понял, что я, Давид Лугаси, должен перевезти отсюда Стену.

– Перевезти куда?

– В Тель-Авив.

Я не знал, что сказать. Рабочие заканчивали разборку, действовали они споро. Еще двадцать камней – и Стены как не было.

– Классно работают, а? – гордо улыбнулся Давид. – Сто двадцать рабочих, как один.

– А где ты ее поставишь в Тель-Авиве?

– Вот за этим-то я тебя и позвал. Посоветуй, где лучше всего: чтобы место было красивое, не вызывало споров, никакой политики, чтобы люди приходили помолиться со спокойным сердцем. Чтобы подходило для всех.

– Может, на берегу моря? – предложил я. Лугаси удовлетворенно улыбнулся.

Так и сделали.

\*\*\*

По прошествии получаса колонна грузовиков, кузова которых были накрыты брезентом, тронулась от места, где еще недавно стояла Стена, а сейчас оставался просто голый холм. Лугаси и я в джипе обогнали колонну и автобус с рабочими и подъехали к пропускному пункту пограничной стражи. Давид

вышел из машины и, подойдя к знакомому солдату, хлопнул его по плечу.

– Закончили? – спросил тот.

– Да, – ответил Лугаси. – Можно убирать заграждения. Разрешение от муниципалитета у тебя?

– У меня, – солдат похлопал себя по карману гимнастерки.

– Хочешь забрать?

– Оставь у себя. Мало ли, начнутся вопросы...

Лугаси сел в автомобиль и захлопнул дверцу.

– Разрешение настоящее, – пояснил он мне. – Действительно выдано муниципалитетом. Оно осталось у меня с того времени, когда я проводил канализацию в Биньяней а-Ума. В документе написано: «Следует выполнять указания подрядчика».

Солдат-друг тем временем наклонился и постучал в мое стекло: он приложил к губам указательный палец, призывая меня держать в секрете наш с ним разговор. В знак согласия и приветствия я поднял вверх большой палец.

Колонна тронулась.

– Скажи, – обратился я к Давиду. – Я не слишком молод, чтобы сойти за сына Бегина?

– Солдат, что с него взять... – пожал он плечами, сразу все поняв.

И вот так, безмятежно улыбаясь, продолжал Лугаси вести колонну грузовиков по пустынному шоссе. В три часа утра мы прибыли в Тель-Авив на набережную у гостиницы «Шератон». Давид и я вышли осмотреться, рабочие ждали в автобусе.

Ну, что скажешь? – спросил Лугаси. Он стоял, по-хозяйски уперев руки в бока и оглядывая территорию. – Может, между «Шератоном» и Мариной?

– Нет, мне не нравится, – я напрягал фантазию, пытаюсь представить, как это будет выглядеть. – Прибрежная полоса слишком узкая, а нам ведь нужно место и для молящихся, и для тех, кто будет лежать на пляже.

– Ты прав, – сказал Давид. – Еще нужно, чтобы было достаточно далеко от моря, иначе зимой волны будут набегать на Стену.

Мы опять осмотрелись, и тут наши взгляды одновременно остановились на склоне возле «Хилтона», чуть ниже Сада Независимости. Мы пожали друг другу руки, и Лугаси направился к автобусу с рабочими:

– Давайте, ребята, выходите.

Те стали переговариваться между собой по-румынски, один из них, немного знавший иврит, встал и начал переводить слова бригадира:

– Мистер Лугаси, все очень устали. All night work, work.

– Скажи им, – распорядился Давид, – все получают еще по двести долларов. Но к утру нужно закончить.

Через минуту все румыны уже высыпали из автобуса и начали разгружать грузовики, другие возводили строительные леса на площади перед Садам Независимости. Они действовали поразительно быстро, собирая камни в Стену в том же порядке, в котором демонтировали ее. Однако, несмотря на энергичную работу, к рассвету удалось собрать только треть Стены. Лугаси, который все заранее предусмотрел, отправил рабочих спать. В шесть утра прибыла вторая смена. На этот раз это были арабы, и Давид объяснился с ними без переводчика.

В семь, разбитые, мы уселись в кабине джипа. Лугаси включил радио и быстро проскочил выпуски новостей четырех разных станций, – ни в одном не упоминалось о факте кражи Стены в прошедшую ночь.

– Может, в интересах следствия запретили разглашать? – предположил я. – Цензура.

– Что, и «Голосу Каира»? И Би-Би-Си?

Я пожал плечами.

– Ладно, – продолжил Давид. – Мой покойный отец всегда говорил: «Мужчина должен быть уверен в себе и никогда не тревожиться, кроме того случая, когда слышит сирену приближающейся полицейской машины.» Теперь и мы поспим.

Мы задремали друг у друга на плече и три часа проспали беспокойным сном.

В 10:30 утра нас разбудил стук в стекло кабины. Это был служащий муниципалитета. Лугаси опустил стекло.

– Вы подрядчик? – служащий неуверенно почесал в затылке.

- Я.
- Что это здесь такое?
- Стена Мира. В память о Ицхаке Рабине.
- А-а, – протянул чиновник. – Что-то знакомое, эта стена.
- Такая же есть в Иерусалиме.
- А, то-то я смотрю... Моя жена из Иерусалима.

Давид подозвал одного из рабочих и попросил принести кофе. Служащий уселся с нами, пил кофе и рассказывал, сколько он зарабатывает. Когда он ушел, мы снова включили радио: по-прежнему ни слова о том, что Стена исчезла со своего места.

Лугаси вышел из машины и потянулся. Потом сказал:

- Странно, да?
  - Поедем посмотрим, – предложил я.
- Он взглянул на хлопотавших рабочих:
- Ладно, давай умоемся и покатаем.

\*\*\*

Мы приехали в Иерусалим в 12 часов дня. Припарковали автомобиль недалеко от того места, где когда-то стояла Стена, и осторожно приблизились. У нас в головах пронеслись десятки разных вариантов развития событий, но ни один из них даже не приблизился к тому, что мы увидели: все шло как обычно.

Молящиеся молились: мужчины слева, женщины справа.

Полицейские, как обычно, патрулировали по площади.

Туристы с картонными кипами на головах, как всегда, фотографировались.

Единственно странно было то, что Стена отсутствовала. Мы подошли. На своем постоянном месте стоял полицейский, который предложил нам надеть черные кипы.

- Скажите, – обратился к нему Давид, – а где же Стена?

- На реставрации.

- А где на реставрации? Где ее реставрируют?

Полицейский пожал плечами:

- Спросите главного раввина Стены. Это он сказал. Так вы проходите или нет?

Мы прошли.

Большая группа хасидов молилась с тщательным усердием, но их попытки засунуть записки в сухую землю холма не имели успеха. Они то и дело бросали по сторонам растерянные взгляды, но в целом было видно, что то объяснение, которое дал им главный рав Стены, устраивает их. Мы оставили площадь перед бывшей Стеной и отправились поесть в близлежащий маленький ресторанчик, известный Лугаси.

Давид занимался хумусом и пил кофе. Его лицо было задумчиво. Закончив есть, он достал свой мобильный телефон.

– Здравствуйте, – начал он, когда ему ответили. – Это контора главного раввина Стены? Я хочу кое-что спросить. Я сейчас был у Стены, но там пусто.

– Не может быть, – отвечала секретарша. – Рав находится на месте с самого утра.

– Да не рав, – продолжал Лугаси. – Стены нет.

– А, так она в ремонте. – Да что вы говорите, и кто же ремонтирует?

– Муниципалитет, – отвечала девушка. – Я не знаю точно, но утром рав разговаривал с солдатами пограничной стражи. Они рассказали, что камни увезли для реставрации, особый проект.

– Пограничная стража? Это что, тот парень-друг на пропускном пункте, с ним разговаривали?

– Да, да, – ответила служащая. Она начинала терять терпение. – Это специальный проект мэрии в честь трехтысячелетия Иерусалима.

– Спасибо, – сказал Лугаси и закрыл телефон. Мы взглянули друг на друга.

– Оп-па, мы их сделали, – сказал он. – Похоже, что на следующей неделе я смогу увезти и сейфы Национального банка.

\*\*\*

Весь тот день и следующую ночь мы работали как сумасшедшие вместе со строителями и перед рассветом, в конце второй смены румын, все было закончено. Мы стояли на мелководье, подвернув до колен брюки, и смотрели на новую Стену. Она была великолепна.

– Самое священное место для еврейского народа, – произнес Лугаси. В его глазах стояли слезы.

– Сад Независимости?

– Не шути так.

Он рассчитался с рабочими, которые загрузились в автобус и уехали. А мы продолжали стоять в воде, любуясь делом рук своих. Спустя несколько минут мы почувствовали голод и только тут вспомнили, что почти сутки ничего не ели после того хумуса в Иерусалиме. Мы пошли в кафе «Регата», заняли столик у окна и сидели молча, глядя наружу.

– Храмовая гора в наших руках<sup>3</sup>, – сказал Лугаси.

\*\*\*

Сначала все шло гладко. Публика на пляже, хотя и выражала некоторое удивление, но никакая стена на свете не могла помешать ей купаться и загорать. А вот туристы, наоборот, дико возбудились. Более всех учудил один богатый американец из Чикаго, Джо Ривлин, председатель совета директоров и владелец компании «Ривлин и Ривлин, пуговицы и застёжки», который прямо из гостиницы послал мэру приветственную телеграмму и приложил чек на сто тысяч долларов. Текст был таков: «Блестящая идея для развития туризма в Тель-Авиве и Израиле в целом. Если бы правительство США обладало Вашим мужеством, нам бы не нужно было ездить до парковки у Великого каньона, чтобы увидеть Великий каньон».

Религиозные в Тель-Авиве приняли новую стену со смешанным чувством, но вскоре привыкли. Во-первых, никто открыто не признал, что это та самая Стена, ведь главный раввин Стены до сих пор был уверен, что оригинал на реставрации. Во-вторых, даже если это действительно та самая Стена, то ничего страшного в том, что она несколько лет побудет в Тель-Авиве. Со всех концов Израиля начали прибывать верующие, которые заявляли, что новое местоположение Стены не только более удобное, но и гораздо более безопасное, если принять во внимание напряжённую обстановку в Старом городе Иерусалима, сохраняющуюся вот уже несколько лет.

<sup>3</sup> Знаменитая фраза, которую произнес в эфире командовавший подразделением десантников генерал Мордехай Гур сразу после того, как на завершающем этапе Шестидневной войны (1967 г.) израильские парашютисты выбили иорданские части из Восточного Иерусалима и вышли к Западной Стене.

Но самое удивительное, что не изменилась атмосфера святости возле Стены, несмотря на опасное соседство между молящимися ортодоксами и загорающими красотками на пляже. Первые стояли лицом к Стене, а вторые лежали лицом к морю, но все встречались в автобусах пятого маршрута, который был усилен пятьюдесятью новыми машинами. Даже гомосексуалисты, собиравшиеся в Саду Независимости, в конце концов, привыкли к соседству со Стеной. Многие из них, как сообщил представитель партии «Мерец» в городском совете, происходили из семей, где соблюдали традицию, и нынешняя близость Стены на удивление положительно повлияла на сексуальную ориентацию этих неформалов.

Трудности начались, когда мэр понял, что попало ему в руки. Первые дни он пребывал в шоке, выбрасывая в корзину для бумаг все приходившие по факсу сообщения на эту тему и увольняя любого, кто осмеливался сказать, что Стена теперь находится под его юрисдикцией. По прошествии недели глава города решил, наконец, приехать на место и посмотреть, что же там происходит. И когда убедился, что народ, – черт бы его побрал! – как всегда прав, начались проблемы.

Прежде всего, мэр провозгласил, что отныне Стена будет называться Стеной царей Израилевых, – это должно было компенсировать переименование Площади царей Израилевых в Площадь Рабина. Второе, что он сделал, это пригласил Якова Агама<sup>4</sup> раскрасить Стену фосфоресцирующими красками с изменяющимся цветом.

– Яков Агам, – заявил отец города на пресс-конференции, которая состоялась на берегу моря и передавалась в прямом эфире на всю страну, – это художник международного уровня, который в своем искусстве сочетает кинетику и еврейство, и сделает Стену явлением следующего тысячелетия!

Затем прибыла команда техников со специальной звукоустанавливающей аппаратурой, которая была установлена с двух

<sup>4</sup> Яков Агам – известный израильский скульптор и дизайнер, приверженец «кинетического искусства». Одно из его наиболее известных творений – демонтированный в 2017 году светомузыкальный фонтан на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.



сторон Стены, и непрерывно, 24 часа в сутки начали передавать объявления от имени мэрии и исполнять израильскую музыку.

Не прошло и дня, как 2-й канал телевидения объявил о предстоящем начале серии выступлений певцов и музыкальных групп, которые будут идти в прямом эфире под общим названием «Стенорок». Концерты будут проходить на новейшей вращающейся сцене, которую срочно приобрели в Германии и установили у Стены. Ведущим будет Дуду Топаз<sup>5</sup>, а Дуду Дотан<sup>6</sup> будет рассказывать анекдоты. А Дуду Шмулевич – председатель профсоюза электриков – заявил, что если до начала проекта с ними не будет достигнуто трудовое соглашение, то они оставят все побережье без света.

В те дни Лугаси мне не звонил. Он не выдержал, когда у Стены было проведено первенство Цахал по скалолазанию, и десятки пехотинцев карабкались по ней на веревках. Давид позвонил в тот день в четыре после обеда.

– Слышал? – спросил он убитым голосом.

– Это еще что, – ответил я. – Газета «Тель-Авив» готовит чемпионат по сквошу на пляже, догадываешься, в какую стену они будут колотить?

– Через час – перед «Хилтоном», – не отвечая, приказал Лугаси и положил трубку.

Я предполагал, что он придет в удрученном настроении, но чтобы настолько...

Подходя, я увидел Давида издали – понурившись, он стоял рядом с киоском на пляже и курил. Впервые с того дня, как Стена была перевезена из Иерусалима, мы с Лугаси приближались к ней. И то, что предстало перед нашим взором, было очень нехорошо.

Поверху по всей ширине Стены было установлено мерцающее электронное табло со словами «Западная Стена при поддержке «Едиот ахронот» и «Исракарт». Немного ниже в стиле граффити большими буквами было написано «Авив Гефен, Господь бог».

<sup>5</sup> Покойный израильский актер эстрады и кино, популярный ведущий развлекательных программ на телевидении.

<sup>6</sup> Ведущий радио- и телепередач.

Давид выглядел ничем не лучше своей Стены: у него были воспаленные красные глаза, он судорожно затягивался сигаретой.

– Что будем делать? – спросил я. – Может, люди успокоятся, это же для них в новинку. Дай им время.

Он кивнул. Мы подошли к маленькой будке возле полицейского заграждения, разделявшего загоравших и молившихся. Пожилой служащий в розовой униформе с эмблемой Стены на фоне моря выдал нам по кипе. Кипа тоже была розовая с такой же эмблемой и надписью «Закат у Стены – незабываемо!»

Мы прошли за барьер.

– Минутку, минутку! – закричал нам вдруг служащий с русским акцентом.

– В чем дело? – обернулись мы к нему.

– За вход – пятьдесят шекелей, пожалуйста.

Мы с Давидом молча переглянулись.

– Вечером – в десять, – процедил он. – Будь готов, я за тобой заеду.

\*\*\*

В ту же ночь мы вернули Стену в Иерусалим, управившись за восемь часов напряженной работы. На этот раз обе бригады – румыны и арабы – работали одновременно, и еще до восхода солнца Стена была на своем обычном месте.

Лугаси стоял и смотрел на свою Стену.

– Вот и попытались... – проговорил он и смахнул слезу в уголке глаза.

Рабочие уже сидели в автобусах, готовые отъезжать. Пустые грузовики один за другим оставляли площадь перед Стеной. Мы стояли в молчании, как вдруг сзади послышалось деликатное покашливание. Обернувшись, мы увидели раввина Стены.

У него были красные воспаленные глаза, волосы немного всклокочены, и вообще он выглядел так, словно за одну неделю постарел на сто лет.

– А что, евреи, реставрация закончилась?

– Закончилась, – вежливо ответил ему Лугаси. Он смотрел на этого старого человека, и огромная необъяснимая печаль охватила его.

– И... Все в порядке?

– Все в абсолютном порядке, глубокоуважаемый рав. Мы установили винты для крепления, оштукатурили, где надо – Стена как новенькая. Спокойно простоит еще три тысячи лет.

– Слава Богу, слава Богу! – рав глубоко вздохнул и умолк. Помолчав, он проговорил:

– Хорошее дело, молодой человек. Только скажите там, в муниципалитете, что я прошу, чтобы в следующий раз меня заранее известили о таком деле. Фештейст<sup>7</sup>?

– Следующего раза не будет, – отвечал Давид. – Если я еще раз возьму, – мамой клянусь! – не верну.

*Перевод Александра Крюкова*

<sup>7</sup> Понимаешь? (идиш).

# ПОЭЗИЯ

Лия Киргетова

## СТУК ПАДАЮЩЕЙ ЮЛЫ

странную сказку за шторами век мне показали сегодня ночью:  
если лечь в снег и смотреть на снег – одна из снежинок меня  
прикончит.

не сразу, конечно, часа через три тонкого нежного белого злого  
небо – снаружи – ближе – внутри – дальше нет никакого слова.  
думаю, эти ребята не врут, даже если не знают сами:  
можно увидеть её маршрут, можно почуять её касанье.

глупая сказка, наверняка, но чтоб ясней и еще чудесней,  
мне показали того ямщика в степи глухой из народной песни.  
вижу, как степь начинает тускнеть, тулуп, телега, лежит, поёт,  
прямо в снегу и смотрит в снег, долго смотрит и ждет её.  
если лечь в снег и смотреть, смотреть, если лечь в снег и смо-  
треть назад –  
можно запомнить её и спеть, можно увидеть её глаза.

странную сказку за шторами век мне показали сегодня ночью  
если лечь в снег и смотреть на снег, будет тихо сказочно точно  
именно так: прикончит. одна. день – люди – лето – я её вижу:  
облако – белый колодец без дна, вот она падает ниже, ниже...

### Восемь

1

В детстве хватало сил  
Вечность крутить юлу.

Шорох её оси  
На ледяном полу

Явно шептал: бежим!  
Чудо почти сбылось.  
Скорость творила жизнь  
Вместо цветных полос.

Будто рукой – звезду,  
Будто слова – малы.  
Но неизбежен стук  
Падающей юлы.

2

Голос – ох, не простынь -  
Матери вдалеке.  
И тяжелы часы  
Батины на руке.

В подъезде кошачий хор,  
Обшарпанная стена.  
Мальчик вышел во двор,  
А во дворе – война.

3

Голос – на связи Тюмень –  
Диктора в новостях.  
Ноет спина весь день,  
И ломота в костях.

Сдали совсем глаза.  
Радикулит доконал.  
Внуку носки связать,  
Переключив канал.

4

Пока ещё не погас,  
Не превратился в дым,  
Молись тому, кто сейчас  
Считает тебя своим.

В небо летел хорал,  
В небо летел хорей,  
Но бог тебя не узнал  
Между других зверей.

Будет свет, а потом  
Он, отворив врата,  
Спросит: мальчик, ты кто?  
Бабушка, вы куда?

5

Живому стоит прочесть  
Местные буквари.  
Серый живет здесь шесть  
Месяцев, а не три.

Осень близка уму  
Кисть выбирает крыть  
Серым и потому -  
Не переубедить.

Так оседает груз  
На крыле мотылька,  
Так исчезает вкус  
С кончика языка.

Будто бы врать устав,  
Серый ставит печать.  
Скоро уйдут цвета,  
Жёлтым подав на чай.

Тот кто рожден зимой -  
Один, Ньёрд или Тор.  
И недоверчив мой  
Взгляд из окна во двор.

6

Каждый герой – мертвец,  
Каждый убит людьми.  
Жанна пасёт овец  
На холмах Домреми.

Че берёт стетоскоп,  
Мартин читает псалмы,  
Ной не верит в потоп,  
Бухаем на кухне мы.

После второй решим  
Следовать своему.  
Только, поверишь, им  
Подвиги ни к чему.

Стёрт последний абзац  
Главного букваря:  
Кто умирает за,  
Тот умирает зря.

7

Яков, Пётр, Иоанн  
Выбрали тихий грот.  
Ты доверяешь сам  
Тем, кто в саду уснёт.

Души слабее тел.  
Сбрасывая балласт,  
Ты доверяешь тем,  
Кто всё равно предаст.

Веры слепой патруль  
Путает тьму и свет.  
Ты доверяешь руль  
Тем, кто свернёт в кювет.

Неглубока вражда  
Стада и пастуха –  
Смирно сидеть и ждать  
Третьего петуха.

8

Можно тянуть свой крест,  
Только кресту – плевать.  
Ведь переменной мест  
Сумму не поменять.

Ну а всего больней  
То, что, уйдя в отказ,  
Разум прошепчет мне  
Пару бессвязных фраз.

Кактус, синицу, дом,  
Чьё-то лицо – пятном -  
Всё, что покажет он  
Вспышками перед сном.

9

Жук по песку ползёт  
Буду за ним след в след  
Перебирать песок  
Ещё тридцать восемь лет.

Мерзостно быть людьми.  
Впрочем, не в первый раз  
Мы уничтожим мир,  
Мир уничтожит нас.



Просто найти предлог,  
Ведь, создавая ад,  
Каждый не одинок,  
Каждый не виноват.

Та, что обречена,  
В памяти сохранит  
Гения, чья вина  
Громче заговорит.

Екатерина Полянская

## В ЗАКОМОРОЧКЕ СЕРДЦА

\*\*\*

Под конец ленинградской зимы ты выходишь во двор,  
И, мучительно щурясь, как если бы выпал из ночи,  
Понимаешь, что жив, незатейливо жив до сих пор.  
То ли в списках забыт, то ли просто – на время отсрочен.

Сунув руки в карманы, по серому насту идешь -  
Обострившийся слух выделяет из общего хора  
Ломкий хруст ледяной, шорох мусора, птичий галдёж,  
Еле слышный обрывок старушечьего разговора:

«...мужикам хорошо: поживут, поживут и – помрут.  
Ни забот, ни хлопот... Ты ж – измаешься в старости длинной,  
Всё терпи и терпи...» – и сырой городской неуют  
На осевшем снегу размывает сутулые спины.

Бормоча, что весь мир, как квартира, – то тесен, то пуст,  
Подворотней бредёшь за кирпичные стены колодца,  
И навстречу тебе влажно дышит очнувшийся куст,  
Воробьи гомонят, и высокое небо смеётся.

\*\*\*

По чьему приговору умирают миры?  
За дощатым забором золотые шары  
Нагибаются, мокнут, и в пустой палисад  
Непромытые окна равнодушно глядят.

Тёмно-серые брёвна, желтоватый песок,  
Дождь, секущий неровно, как-то наискосок,

Мелких трещин сплетенье, сизый мох на стволе,  
И моё отраженье в неразбитом стекле.

Это память чужая неизвестно о чём  
Круг за кругом сужает и встаёт за плечом,  
Это жёлтым и серым прорывается в кровь  
Слишком горькая вера в слишком злую любовь.

Слишком ранняя осень, слишком пёстрые сны,  
Тени меркнущих сосен невесомо длинны,  
И прицеплен небрежно к отвороту пальто  
Жёлтый шарик надежды непонятно на что.

\*\*\*

Буркнула сыну: «Под Котовского бы тебя  
Надо подстричь!» – «А кто это? Кто таковский?» -  
Мальчик спросил, удивлённо вихры теребя...  
Надо же! Он не знает, кем был Котовский!

Парень читает книжки, смотрит кино,  
Учится, вроде бы, и – без особой лени,  
Знает про Фрунзе и про батьку Махно,  
Знает, что были Сталин, Троцкий и Ленин.

Всяческих знаний – полная голова,  
По математике почти в отличники вышел,  
В умные фразы увязывает слова,  
А о Котовском, оказывается, и не слышал.

Вот и «sic transit»... Кабы погиб на войне  
Славный комбриг, или – пал жертвой репрессий,  
Мог бы в школьный учебник войти вполне,  
Упомянуться хотя бы порою в прессе.

Всё могло быть иначе, и даже – не чуть,  
Если б жизнь озарилась иным финалом...  
В мирное время, увы, завершил его путь  
Выстрел – привет от одесского криминала.

Были, конечно, митинги и венки,  
Толпы людей, тучи словесной пыли  
(сам бы покойный ещё раз помер с тоски),  
Были стихи – их тоже потом забыли.

Всё-таки, жаль: романтик, полубандит,  
– Господи, как любила его удача! –  
Посвист пуль да перестук копыт,  
Храбрость, напор, кураж. И – никак иначе!

Долг отдавая именно куражу, –  
В нас для него почти не осталось места,  
Я о Котовском мальчику расскажу,  
Просто чтобы закваски добавить в тесто.

\*\*\*

Вот уже третий год  
в переходе метро  
стоит это чудо:  
Пальтишко потёртое,  
согнутая спина,  
на одутловатом лице  
выражение  
туповатой покорности,  
а в давно немых руках  
тетрадный листок:  
«Помогите.  
Умерла мама».  
Пробегая мимо неё,  
бросаю монетку,  
морщусь:  
– ну что ж она так,  
хоть бы табличку сменила.  
Потом  
в вагоне грохочущем,  
проталкиваемом в тоннеле  
как бы небытия,  
стою,

стиснутая телами  
такими живыми и смертными,  
смотрю в черноту окна.  
И оттуда,  
из космической проруби,  
всплывает забытое слово –  
Мама.

\*\*\*

### Прогулка в Ручьях.

Горький дым, да собачий лай...  
Побыстрее коня седлай,  
И сквозь жалобный стон ворот  
Выводи, садись, и – вперёд.

Мимо свалок и пустырей,  
Издающих фонарей,  
Прогоняя от сердца страх –  
На рысях, дружок, на рысях.

Под копытами хрустнет лёд,  
Тёмный куст по щеке хлестнёт.  
Направляясь вперёд и ввысь,  
Ты пониже к луке пригнись.

Мимо стынувших развалюх,  
Гаражей, канав, сараюх,  
К тем местам, где нет ни души,  
Поспеши, дружок, поспеши.

Сквозь крутящийся снежный прах,  
Повод стискивая в кулаках,  
Откликаюсь на зов полей,  
Ни о чём, дружок, не жалею.

Ничего у нас больше нет –  
Только звёздный колючий свет.

И дорога. И мы на ней –  
Просто тени среди теней.

\*\*\*

### Елагин остров

На ботиночках шнуровка  
Высока, остры коньки.  
День – что яркая обновка,  
И румяная торговка  
Прославляет пирожки.

Вензелей переплетенье,  
Жаркий пот, скользящий бег...  
И – дворцовые ступени,  
Львов чугунное терпенье,  
В чёрных гривах – белый снег.

Всё расплывчатей и шире  
Круг от прожитого дня.  
На часах всё ниже гири,  
Может быть, и правда – в мире  
Нет и не было меня?

Только лёд прозрачно-ломкий,  
Только взмахи детских рук,  
Ивы у прибрежной кромки,  
Звон коньков, да сердца громкий,  
Заполотно-частый стук.

\*\*\*

Он сорвался с цепи, и пробежал всю ночь, а к утру  
В неприкаянном ужасе, странно-глухом и невнятном  
Заскулил, заметался, но вспомнил свою конуру,  
И с поджатым хвостом потрусил виновато обратно.

Кто придумал красивую фразу: «Свобода иль смерть!»?  
Кто сказал вообще, что есть выбор подобного рода?

Расшибая хмельную башку о небесную твердь,  
Неразлучно со смертью гуляет земная свобода.

Бесприютен желанный простор. И чем больше луна,  
Тем теснее внутри – в средостении тёплом и тёмном,  
В закоморочке сердца... Но так беззащитна спина  
У того, кто бредёт одиночеством этим огромным.

**Ирина Маулер**

## **ЗАКАТ**

Если слон по дороге – навстречу река  
Не меняя движенья идет в облака  
И послушно и ласково машет рукой  
И ведет и уводит слона за собой..

Если день по дороге– навстречу закат  
Неожидан и мрачен, не брат и не сват  
Он не свой, он не значитя, лишний, не здесь,  
Его место, но он обязательно есть...

И он ест ненасытно глотая– удав,  
Он глотает движенья слонов, запах трав,  
И не морщась морочит мечты и мосты  
И всегда не спросясь переходит на ты.

Незаметно– и метка, незаметно– и ноль,  
То, что было минуту, дышало тобой,  
И просило и тонкою жилкой у лба  
Билось жизнью, рукою писало Судьба..

И он ест, и он пьет ненасытный закат,  
Ему мало надежд, ему мало утрат,  
И он режет на части, сжигает огнем  
По карманам бессовестным лезет ворьем.

Ты не веришь? – не верь, ведь иначе зачем  
Через реки и горы надежд и проблем,



Через черные ночи, недели и дни  
Все идешь и тебе ненасытны они...

Человек на дороге– навстречу река  
Не меняя движенье идет в облака,  
И послушно и ласково машет рукой,  
И ведет, и ведет, и ведет за собой...

## **ВРЕМЯ**

Время разбрасывать вещи и время уборке,  
Время обеда и время раздачи подарков,  
Время рябины у озера тонкой и горькой  
Стать для соседнего клена желанной и сладкой.

Время летать в Барселону за мигмом удачи,  
(Дачи конечно пустуют в весеннем сезоне,)  
В городе этом, слышала сиесты и ланчи  
Вместе фламенко танцуют на каждом балконе.

Медленно кошки гуляют по площади Рамбле  
Птицы толкуются у стоек текилы и рома  
Нам незнакомцам изБостон, Тулы и Рамле  
Время у парка Гуэля печет курасоны.

Время печет курасоны надежд и сомнений,  
Время листает страницы обид и желаний,  
Время для радости, ревности, гордости, лени,  
Время для лошади, время для трепетной лани.

Время– тебя принимаю и все ж осторожней,  
Не исчезай безответно, я жажду отдачи-  
Возраст, какая нелепость – с душою ребенка  
Мы навсегда остаемся ликуя и плача.

Время не бременем лишь бы, желанной победой,  
Даром приходишь, а счет забираешь без сдачи,  
Без сантиментов танцуешь по лицам и бедрам,  
Жадно съедаешь все наши обеды и ланчи.

Будь снисходительно, будь бескорыстно , поскольку  
Рядом с тобою мы кто– муравьи на лужайке,  
Дай сколько можешь и больше, лишь больше на дольку  
Счастья, и воли, и доли твоим попрошайкам

## ДОРОГИ

Дорога на запад – на было и есть,  
Дорога воздушная – в озеро, лес,  
Дорога по радостной радужке дня-  
Дорога похожая так на меня.

А есть ежедневная в скуку и грусть-  
Дорога, которой я строго держусь,  
Она непокорна, сама по себе,  
Но держит меня на короткой узде.

Улыбки ее не дожидаться никак  
Она мне не друг, но похоже не враг,  
Но врач – это точно, все раны в меду,



Не ласкою лечит, а днями – в трубу.

Но дни подорожники, дни васильки  
Внезапно цветут и слагают стихи,  
И дальше– под руку, и дальше– на свет  
Выводят... и машут платочками в след.

Дороги случайных и выбранных тем,  
Дороги в – неважно, дороги в – зачем,  
По озеру плыть ,или сидеть у огня  
Неважно...  
Дороги, любите меня.

## ГОРОД

Ветер, вечер, через минуту дождь,  
Слышишь Город– гремят облака посудой,  
Ты найденыш, ты на меня похож-  
Значит веришь в обыкновенное чудо.  
Чудо, просто– рецепт выходного дня:  
Клены, липы, немного песка на пляже,  
Сохнущая от дождя земля,  
Бабочка– желтым пятном пейзажа.

Рецепты по будням– березы коса в кулак,  
По кулуарам парка– беличий хвостик пышный,  
А на закуску– прыгаешь просто так  
В озеро– все остальное– лишнее.

Нет споров о том кто кому родней,  
Нам с Городом не до причин, лишнее,  
Нам с Городом тысячи, тысячи дней  
Вместе– куда же личнее.

Нам, именно, удача так велика  
Великан Город– нашим свиданьем отмечена.  
В лето посудой гремят и гремят облака

Облокачиваюсь на тебя Город– и ..легче.

## НЕ ВРЕМЯ СТИХОВ

Не время стихов , а время обедов,  
Обид не прощенных, какие там счеты,  
Не время стихов, укоряется, виснет  
Секундная стрелка на липах и вишнях.

Стихи не практичны, они недотроги,  
Не лезьте им в душу– души отраженье  
Они никогда не опустятся в ноги  
Тому, кто не верит в их тайну движенья.

Поэзия – кровь голубая с рожденья

Метафор похожих на бальные платья

Поэзия– неосторожность движения

Им важно кто строчку под люкоть подхватит!

Не время стихов , кто сказал эту глупость,

Разносишь по миру "Время" Москва, 2012

Поэзия это – Серия "Поэтическая библиотека

И вера, что жизнь можно жить по другому.

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник

Не верьте, кто скажет – сижи не в почете,

слова. Краски у нее обязательно сливаются со

В нечетные дни, да и в четные тоже,

звуками, и возникает тончайшая, проникновенная

поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно

Поэзия это – мурашки по коже.

одухотворенные стихи - отринув вечное верчение

тяжких мерзоров жизни, они летят над повседневно-

стью. Творчество это очень светлое и буквально

заряжено солнцем. Подзаголовок автора.

То кто вам про самое лучшее скажет,

книжку можно приобрести, обратившись по

электронному адресу : [mauler13@mail.ru](mailto:mauler13@mail.ru)

Про запах черемухи пьяный и душный

Про озера гладко-морозную кожу,

Про то, что без этих желаний воздушных

Гармония выжить минуты не сможет.

Не время стихов и не время букетов  
Сказали, я этот вердикт отвергаю  
Уверена, точное слово Поэта  
Не хуже, а лучше таблетки спасает.

Гнезятся слова, как птенцы, или звуки  
На свет осторожно– то ливнем, то градом-  
Ты просто с любовью возьми их на руки,  
А большего им от тебя и.. не надо.

Наталья Елизарова

## ПРОГУЛКА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

\*\*\*

На работу – лето, с работы – осень,  
только юность была, а – гляди-ка! – просесть,  
и ее, как осенние листья, сбросить  
не удастся – запуталась в рыжей косе.  
Мы грустим круглый год, но сильнее – к Спасу.  
«А пойдем на спасительную террасу,  
где шарлотка, и чай, и бутылка квасу!  
Нас укроет деревьев сень».  
Что грустить? Одинаково мир устроен,  
ни один из живущих не удостоен  
вечной жизни, и, как на работу строим  
ходим ныне, так и падем.  
Наливай скорее же чай горячий,  
пожелаем друг другу любви-удачи  
и прекрасный солнечный день на даче  
у судьбы еще украдем.

\*\*\*

И приходило воскресенье,  
и брались сапоги и нож,  
и листья чавкали осенние,  
и моросил предатель-дождь.  
Кричали галки, зябко сгорбившись  
на нижних ветках у ствола.  
А в городе – там мокли голуби  
у остановки, где ждала  
тебя я, ну, а ты опаздывал,

спешил и на ходу курил.  
Запрыгнули в автобус сразу мы,  
«Вот повезло», – ты говорил.  
И долго-долго по проселочной  
потом от остановки шли,  
от шин следы тянулись «ёлочкой»,  
знать, дачники «улов» везли.  
И прятались грибы осенние,  
мелькал твой жёлтый дождевик...  
И проходило воскресенье,  
как мимо – старый грузовик.

\*\*\*

Мне 35, я – сохнувшая ветка  
у дерева, что поливают редко  
и некому тут почву удобрять,  
окапывать – давно ушел садовник,  
сам по себе округ цветет шиповник,  
весна, и в Божьем мире – благодать.  
Я напрягаю внутренние жилы,  
чтобы весной воспряла ветка к жизни  
и напиталась соками ствола.  
Набухли чтобы почки, и к апрелю,  
как на других, еще живых, деревьях  
здесь распустилась яркая листва.  
Ветшает всё. И этот парк старинный,  
скамейка, а под ней – суглинок,  
что на сандалях мальчик унесет  
останутся офортом, акварелью,  
сансином, саксофоном и свирелью,  
Унынием с печалью в унисон.

\*\*\*

После драк не машут кулаками,  
верных слов не ищут опосля.  
Тихо спят с собаками-котами,  
как младенчик светленький в яслях.

Всяк зверинец человеку благо,  
зимний саван для него – чертог.  
Это после – холмик и ограда,  
а пока – прошедшего итог.

Сны дурные, в голову не лезьте.  
Сыпь да сыпь, отрада – мой снежок.  
Жизнь, не надо ран, ножей и лезвий,  
так... уснуть ... ведь тоже хорошо.

\*\*\*

Вот так и вспомнится потом:  
мы – три фигуры в зимнем поле.  
Кобель, виляющий хвостом.  
Внутри ни радости, ни боли.  
Прогулка, и почти что март,  
пытаюсь догонять собаку,  
а позади – отец и мать,  
а впереди еще, однако,  
полжизни – поле перейти  
по насту снежному, по корке,  
где каждый шаг – провал почти  
туда, куда уходят корни,  
куда уходят тихо все  
любимые неумолимо.  
Прогулка в средней полосе,  
машины пролетают мимо.



Татьяна Литвинова

## ПЕЧАЛЬ-УТЕХА

\*\*\*

Тот же свиток, тот же свете нежный,  
Но быстрее исчезают дни -  
На углу акации мятежной  
Ждет меня последний миг весны.  
Там шиповник ставит многоточье,  
Там жасмин у моего лица  
Встал неопалимой белой ночью  
Над волною Леты и Донца.  
Льется весть из дождевого кубка  
В сердцевину каждого куста.  
...Ласточка, голубка, незабудка.  
...Гроз и солнца школьная лапта.  
Из породы поднебесных крестниц  
Жизнь и речь в глуши лесостепной.  
...Хор безмолвный бабочек-словесниц.  
...Третий акт пьесы записной.  
Черновик, подточенный годами,  
Птицей улетаёт налегке,  
И шиповник шевелит губами  
На уже нездешнем языке.

\*\*\*

Вот девять дней прошло, и сорок дней, и Спас,  
И верстовое облако охрипло,  
И ласточек семья так быстро собралась

<sup>1</sup> клептик (укр.) – клочок

В свои обетованные Египты.  
Еще лишь миг тому, вчера или давно  
Здесь тихо отцветало время оно,  
Сидела в кресле ты, и ласточек гнездо  
Звенело в перекрытии балкона.  
На хвойные венки осыпался песок,  
Густа трава погостов и задворок.  
И так просторна смерть на запад и восток  
С колючей точки птичьего обзора.  
...Под клаптиком<sup>1</sup>  
земли родители мои,  
И мерит им Господь среди урочищ  
В зеленой слободе барвинковые дни,  
Любовный свет в черемушные ночи.

\*\*\*

Не волнуй ветки  
На земном кусте,  
Пролетают где-то  
В звездной темноте –  
Не увидишь: мимо  
Смертоцветных чвар –  
Ангелы сквозные,  
Божия печаль.  
Крыльев шелестенья  
И других примет  
Над песком и гленью  
Не было и нет.  
...Мимо прорвы крысьей  
И слепой лихвы,  
Мимо наших присных  
Игрищ на крови.

\*\*\*

Свиристи, печаль-утеха,  
Зимних птиц корми с руки,

<sup>2</sup> квитень (укр.) – апрель

Пусть летят они, как эхо,  
Поперек и вдоль тоски –  
От земли обетованной  
До последних судных дней  
Над моей фата-морганой  
И над памятью моей,  
Где среди любого вздора  
День за днем в ушах звенит  
Древнегреческого хора  
Нерастраченный лимит.

\*\*\*

Я ручьем протеку сквозь столетье –  
Выход прост, и оттуда сквозит.  
Было время и сетью, и плетью,  
А теперь оно просто транзит.  
И от ясности истины дальней  
Можно многое думать и сметь...  
Воздух тверже, посланье печальней.  
Жизнь просторна. И суетна смерть.

\*\*\*

Дорогой пасторалью,  
Как на детской открытке, –  
Очарованный странник,  
Долгожданный мой квитень<sup>2</sup>.

Мы ведь странники тоже,  
И пред крайнюю гранью  
Дай нам, Господи Боже,  
Горстку очарованья –  
Без заплаток-заплачек  
В час печальный вечерний.  
...Как сказать бы помягче –  
Нас повымело время.  
Но еще остается  
Нежных дней аквавита,  
Наше вербное сходство

В перелесках, мой квитень.

**Галина Ицкович**  
**В ЧУЖОМ ДОМЕ**

I

Я в чужом доме ночью.  
Я боюсь, что захраплю,  
Что со сна заговорю,  
Чей-нибудь секрет раскрою.

Просит крова деревцо,  
По стеклу елозят ветки.  
Падай, слезка из пипетки  
На подушкино лицо.

Не тревожа половиц,  
Прочь крадется сон счастливый.  
Дрёма местного разлива  
Выпускает стаи птиц:  
Пестрошейки, свиристелки,  
Перепёлки да чижи,  
Перепалки, перестрелки...  
Дом плывет по речке мелкой.  
Был своим, да стал чужим.

II

Молитва тебя уморила?  
Умойся водою проточной.  
В корзинке – печенье “Мария”,

На паперти тетки в платочках.  
Всенощная... Падай с опаской  
В темные звуки – как в прорубь.  
Съехала бы до Пасхи,  
Вовсе не было спору б.  
Солила бы их караваи,  
“Воскресе!” писала бы в блогах,  
Платком до бровей укрываясь  
От гнева их доброго бога.  
Здесь я не к месту, пожалуй -  
Терпимости коротко платье.  
Кровь ли подскажет пожары,  
Стоны погромов, проклятья?  
В лучших традициях веры,  
Праздника помнят заветы.  
Глупая, приняты меры...  
Дело, конечно, не в этом.  
Белоголовая ярость.  
Праздников двух совпадение.  
Глупая, что ж ты боялась...  
Нам ли бояться  
каменьев.

## УТРО

На востоке – болевой шок:  
Солнце всходит, но его нет.  
Небо – тающее мороженое на линолеуме.  
Город зелен, как бронезилет,  
А в Ботаническом, говорят,  
Невзирая на все, цветет магнолия.

Не пропусти. Как войдешь, направо.  
Придерживайся стены.  
Капризного нрава  
Эти красавицы.

А потом я стою (под холодом моих глаз

Дрожа, разворачиваются нежные лепестки)  
И наблюдаю, в который уж раз,  
Движения, незаметны и нележки,  
Раскрывающейся, распрастывающейся весны.  
Таковыми бывают сны.

Магнолия монополизирует воздух –  
Ну и что? Всем нам нужен роздых.  
Горожане у дерева бьют челом.  
Лето не вылечит ничего.  
Я вскрикиваю от боли, но...  
Нет, почудилось. Всего лишь магнолия.

## **ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ГОРОДА**

*Ирине Иванченко*

Ветер сор на лбы холмов нахлобучивает ему,  
Имя сведено с карты, памятью переиначено.  
...Мне приснилось, как город в температурном дыму  
Осторожно губы рекою смачивает,  
Как с утра, натянув футболочку постарей,  
След стирая позора и давней потравы,  
Невысокая девочка, покорительница пустырей,  
Расправляет хрупкие выздоравливающие травы,  
Перестилает городу скомканную постель,  
По глоточку – лечебный ему коктейль!

По дождю, по насту и по жаре  
Навещать больного долго будет еще.  
Тонкорукая девочка, воскресенья не пожалев,  
Станет реку отпаивать через трубочку.

Елена Тверская

## В ПАРКЕ ДРУЖБЫ НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ

*ЛТ*

В Парке Дружбы на Речном вокзале  
Мы с тобою, маленьким, гуляли,  
И весна была полна весельем,  
Несмотря на дождик в воскресенье.  
Синюю высокую коляску  
Провозили, как карету в сказку,  
И болтались огурцы в авоське,  
В овощном добытые киоске.

### Почти с природы

Старушка на скамейке в парке  
Своей единственной товарке -  
Домашней кошке без хвоста,  
Давала сочные кусочки,  
Нажористые, это точно,  
А та урчала, что сыта.  
А рядом пегая собака  
Глотала слюни, но однако,  
Все понимая про себя,  
Не лаяла, скулила только,  
Но не унизилась нисколько.  
Смотрела, с места не сходя.  
И слюни крупные катили,  
И ей прозрачно ясны были

Устройство мира и режим.  
А плакала она недолго.  
Пошла, встряхнула пегой холкой,  
И оставалось в ней от волка  
Довольно, чтобы дальше жить.

### **Время и место**

Тогда еще забора не было,  
А было – жизни во главе -  
Неогороженное небо и  
Весна без края в голове.  
Сбегали с химии. Со временем  
Проблемы были, но в другом  
Каком-то пятом измерении.  
Жизнь шла в застое – но каком!  
И было много математики,  
Литературы и идей,  
И трифоновской проблематики  
Хватало в жизни у людей.  
А мы гуляли по окрестностям,  
Еще не думая совсем,  
Что место не пребудет местностью,  
А станет временем, и тем,  
Что вспоминаешь с сожалением.  
Не время, нет, оно – застой,  
Но те места и те мгновения,  
Где были счастливы с тобой.

### **Кв. 9**

Все было, в общем, одинаково  
У всех жильцов квартиры девять.  
Но зависть ведь доступна всякому,  
А что еще там было делать?

Духи «Москва» и плащ болония,  
В четверг – одна и та же рыба,



Но те в субботу – в филармонию,  
А эти – за футбол спасибо.

А две семьи вообще нерусские,  
И занимали много места,  
Но две учительницы грустные  
Уроки проверяли с детства.

А в комнатке с окном на улицу  
Старушка Лидия Иванна  
Смотрела, чтобы ноты курица  
(а это – я) не забывала.

А в дальней комнате с картинами  
Не как у всех сверкала люстра,  
И вдруг котлетками куриными  
Пах коридор, а не капустой.

Там были тайны, но с прорехами,  
Там были многия печали,  
Там муж с женой – зубные техники -  
На языке глухих общались.

Там жил один – немой и скрюченный,  
Конечности не разгибались,  
С седою матерью измученной,  
А мы с сестрой его боялись.

На кухне – теснота от столиков,  
И коридор, где бесконечно  
Велосипед катил дошкольников,  
А после – я звонила вечно

Тебе, и трубка телефонная  
Моим дыханьем раскалялась.  
Сосед кричал: «Коза влюбленная,  
Давай, кончай!» И все кончалось.

**Григорий Марговский**

## **ВИДЕНИЕ**

По граненой пустоши Манхэттена  
Брел я, безутешный и больной,  
Сетуя, что смята, оклеветана  
Жизнь моя, и пропасть подо мной...  
Вдруг над Риверсайд взметнулся Сметана,  
Колыхнул магической волной!

Это было проблеском отчаянья,  
Ясного как роща в сентябре:  
Авель сей же миг очнулся в Каине,  
Ветвь оливы треснула в костре,  
На далекой йеменской окраине  
Всхлипнула красавица в чадре.

Гимн «Атиква», наше дело правое,  
Встраиваясь в дивный звукоряд,  
Заструился непокорной Влтавою –  
От Градчан и дальше, в Вышеград;  
Я почуял как в созвездьях плаваю,  
Вековой отверженности рад.

## **БАТ-ЯМ**

Не трава ли забвенья шепталась у ног,  
Или гений офорта ошибся?  
С золотым челноком обходила станок

И ткала покрывало Калипсо.  
Барабанил сосед, карнаухий Ван-Гог,  
По затвору музейной винтовки,  
Перелеты нектарниц с цветка на цветок  
Расставляли в словах огласовки.  
И с прожилками мрамора хамелеон  
Ни секунды не чаявший слиться,  
Подражая вражде допотопных племен,  
Фарисеем шипел на провидца.  
Тем не менее Бог бесконечный процесс,  
Как заметил известный философ,  
Мы вольны подступаться с мечтою и без  
К чертежу перекаатов и плесов,  
Но природа с историей сходятся в том,  
Что от века презренная проза  
Нарекла, воскрешая заброшенный дом,  
Мозаичностью биоценоза.

### **ЗАПОВЕДЬ ХИЛЛЕЛЯ**

Дрожали Иродовы камни,  
Когда мятущийся злодей  
Вослед казненной Мариамне  
Отправил собственных детей.  
Театры, термы, цитадели  
С тех пор занесены песком,  
И лишь к учению Хиллеля  
Дух человечества влеком!  
Любовь, границы раздвигая,  
Попрала ненависти прах:  
И есть ли заповедь другая,  
Что нам дарована в веках?  
Так прилетал священный ибис -  
И, взмаху винноцветных крыл  
Сей миг покорствуя и зыбясь,  
Вольготно разливался Нил.

**Валентина Бендерская**

## **МАСАДА**

В земле природы обветшало,  
Покрытой пылью веков,  
В расщелине години шало,  
С прозреньем веры запоздалой  
Утихли натиски врагов.

Солёно-горькая водица,  
Разлом заполнив до краёв,  
Туркизом призрачным искрится,  
Манит, но ею не напиться,  
Не напоить земли покров.

В сей чаше ветры одичали,  
Здесь ненасытная беда  
Со злом трагедию зачали,  
Здесь слёзы высохшей печали  
Окаменели навсегда.

### **Молитва дня**

Лохмотья кровавой рвани  
Завесили неба квадрат,  
Как будто на поле брани  
Тела убиенных солдат...

Как будто природа приносит  
В жертву небесную рать

За веру земную и просит  
Резню – брат на брата – унять.

В прогалинах мечутся тени  
Стихания мирной войны...  
Пред нею встают на колени  
В молитве затухшие дни...

### **Авитаминоз любви**

1

Подпирая зрачками небо,  
распластавшись в узоре квадрата,  
в геометрии лунного света  
вычисляю наличие собрата.

И не так уж чтоб мне одиноко,  
не сказать, чтобы было мне грустно...  
Но моргало небесное око:  
«Свято место не должно быть пусто».

Где живёт вот такой же отшельник?  
Я его призываю в созвучье.  
Может, он и не мой современник,  
а из расы, ушедшей в затучье

в те далёкие годы парадов,  
когда глину с адамов месили,  
когда жатву с роскошных парадных  
вероломы и голод косили?

Посылаю сигнал соплеменнику –  
по морфеме и книжному хрусту  
мы друг друга найдём, поелику  
свято место не должно быть пусто.

2

На белом листе оставляет перо  
Слова, как следы на снегу.

Кровь жилой на дне сердца бьёт болеро:  
Я что-то ещё могу.

Сквозь чащу домов пробираясь к лучу,  
Как в праздник заутрени звон,  
Беззвучно, во весь голос криком кричу:  
«Я – здесь, я живая!!! Где он?»

Где ты, мой незримый неведомый муж?  
Мне мужества горсть наскреби.  
Взялась я за гуж, не скажу, что не дюж,  
Но всё ж, имярек, подсоби.

Врезаюсь зрачками окрест в пелену,  
Ища совпадение следам...  
В бессонную ночь посмотри на Луну,  
Мы встретимся взглядами там.

### **Любовь-Крысолов**

*Леониду Колганову*

В стихах зародилась любовь,  
как атомный взрыв,  
как вулкан в океане.  
Стихами ожившая кровь  
плескала навзрыд  
истеричкой... В обмане,

в бреду психоделики слов,  
напалме страстей,  
изуверстве страданий  
манила любовь-Крысолов  
заблудших гостей  
на жаровню свиданий.

И этот последний пожар,  
как звёзд снегопад,

как цветок полнолуния, –  
тебе, мой нечаянный дар.  
Сердечный распад  
сердобольная «лгунья»

тебе лишь отдаст – не таясь,  
без страха, стыда  
или слов сожаленья,  
впадая в интимную связь,  
замкнув провода,  
от стихов наважденья.

И выйдет на девственный свет,  
как мученик зла  
из темниц подземелья,  
любви отцветающих лет  
печальная мгла –  
и не будет похмелья.

### **Если б не был ты колюч...**

Белы снега в тихой неге  
на полях и на лугах.  
Стеблей пегие побег  
разлинованы в углах

изразцовых льдин озёрных.  
Бело-чёрное панно  
утопает в красках чёрных –  
ночь зашторила окно.

Лессировками морозом  
слой за слоем по стеклу  
стекленеют под наркозом  
гривы трав... Венцом во мглу

тычет церковь, крепость пала  
от нашествий серых туч...

Я бы пред тобой упала,  
если б не был ты колюч...

### **Запутался ветер в моих волосах**

Запутался ветер в моих волосах.  
Он был очарован игрой светотени,  
взвивался, сплетался, как травы в лесах  
с опавшими листьями гривы осенней.

Он нежился в запахах пряной волны,  
в их блеске, в их солнечных ярых объятьях,  
пьянел от удушья, и – страстью полны –  
взлетали с ним вместе оборки у платья.

Он падал к ногам моим, млея у виска,  
шептал шелестеньем интимным на ушко.  
Он обнял меня и, завыв, как тоска,  
понёсся в неведомый мир за опушкой...

### **Бердичев**

Мой город родной, неказистый,  
С потёртостью маленьких крыш.  
В реке под горою волнистой  
Ласкается томный камыш.

Плывут между улочек скромных  
Неспешно уютные дни  
И в двориках старых укромных  
Мерцающей жизни огни...

Мне любви твои ароматы,  
Капели из вишенных вен  
И остров небрежно косматый  
Вблизи кармелитовых стен,

Надтреснувший звук колокольной,  
Израненной горестью лет,



И крик петуха протокольный,  
Вещающий новый рассвет!!!

### Отчий дом

Дом ещё живёт и дышит  
Ранним утром акварельным,  
Сном таинственным под крышей  
И томлением пастельным.<sup>1</sup>

Ещё бури и прибои  
В нём бушуют, как и прежде...  
Только жёлтые обои,  
Как потёртые одежды.

Только трещин паутина  
Расползлась по штукатурке,  
И в пруду заросшем тина,  
Словно бархат на шкатулке.

Малахитовая зелень  
Обнимает дом снаружи,  
Зев оконный в нём побелен  
Отпечатком нежных кружев.

И пока в нём бьётся сердце  
В ожиданье блудной дочери,  
Я сюда приду погреться  
И плести из слов веночки.

<sup>1</sup> Пастельный – окрашенный в мягкие цвета, имеющий нежные оттенки.

Леонид Колганов

## ЦАРИЦА И ПЛЮЩ

Из цикла Психо-мистический реализм

*Валентине Бендерской*

Сошлись вы на одной тропе,  
Что Уже узких улиц...  
Чьи руки -сами по себе-  
Вокруг тебя сомкнулись?  
Незримым кто тебя плющом  
Обвил в вечерней мгле?...  
И царственным твоим плащом  
Он не прижат к земле?

И век свободы не видать  
Царице величальной,  
Ведь ты свободна горевать  
Лишь в одинокой спальне!

И ты, страдая и любя,  
Вязала жизнь на пяльцах...  
И тихо гладили тебя  
Его слепые пальцы!

Вязала жизнь свою, как вязь,  
Причудливым узором,  
Но он,— вокруг тебя вяясь,  
Не выгнан был с позором!

Когда была ты на краю,  
В своём предсмертном платье,  
Он власть твою и жизнь твою  
Ещё сжимал в объятьях!

### **Кровь войны**

*Нефть – это кровь войны.  
Известное выражение*

*Валентине Бендерской*

Когда я от тебя уехал,  
И гнал в ночи своих гнедых,  
То плечи гор тряслись от смеха,  
Как плечи викингов седых!

Смеялись горы, словно люди,  
Над грудой наших пустыков,  
Но вяли, будто женщин груди,  
Тьмы, – мной подаренных цветов!

И друг от друга мы бежали,  
Устав от пустыковых ссор,  
И тени устали лежали,  
Как тучи, под глазами гор!

И был разрыв двойной непрочен,  
И отступило в сумрак зло,  
И солнце из объятий ночи,  
Над нами заново взошло!

И среди этой круговерти,  
Несли в жемчужной нас крови-  
Не тёмные потоки нефти,  
Потоки горные любви!

Несли потоков горных гривы,  
Словно расхристанные львы,  
Мы миновали все обрывы,  
Скатившись с львиной головы!

Несли потоки нас земные,  
Сходились мы, как две волны,  
И отступали нефтяные-  
Потоки, — крови и войны!

### **Пьяный листопад**

*Валентине Бендерской*

Тень самолёта, как гигантской птицы,  
Иль птицеящера? Попробуй разберись?  
Когда любви заволокло зарницы,  
И мы с небес упали оба в низ!

Я знаю дату точную прилёта,  
Но не могу никак предугадать:  
Ждать твоего в лазури самолёта?  
А на земле его совсем не ждать?

И хочется начать мне всё по новой,  
Уйти опять : где чисто и светло,  
Пока в душе не стёрлись, как обновы,  
Твои следы! Пока не замело!

В твоей душе покрыло всё забвеньё,  
В моей, как листопадная пора,  
Кружило листьев огненных паренье,  
Как искры в рдяном трепете костра!

Костёр погас ,но угли всё мерцают,  
И этому я бесконечно рад,  
И кажется — я падаю, взлетая,  
К твоим ногам, как пьяный листопад!

Унижен иль возвышен – мне едино,  
Пока в мерцаньи снова не сошлись,  
Я перепутал времени картины,  
И опускаюсь в низь, как будто в высь!

### **Пора листопада**

Отлетают осенние листья  
От меня, словно души друзей,  
И пора листопадная лисья  
Кружит их средь раздетых полей!

Древо дружбы, наверно, засохло.  
Его корни сгорели живьём,  
И стоит оно сиро и голо,  
Пара листьев трепещет на нём!

И не много осталось до хлада  
Среди стылых деревьев и полей,  
И уносит пора листопада  
Злато листьев, как души друзей!

Отлетать им уже не впервые,  
Листопад кружит рыжей лисой,  
И летят, как рубли золотые,  
Листья дружбы на Вечный Покой!

Больше нет молодых и зелёных,  
Нас шатает в метелях седых,  
И летит стая листьев спалённых,  
Словно пепел всех дружб золотых!

### **Твоя жилка**

*У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела,  
он и на ножке у ней отразился, даже в  
пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался.*  
Ф. Достоевский

Кружили в танце ты и я –  
Мы были в ожидании,  
И жилка каждая твоя  
Манила обещаьем!

И – извиваясь, как река  
Во всех своих изгибах,  
К себе манила рыбака,  
Словно Царица-Рыба!

Но ты от моего огня  
В том танце уходила.  
Вот так, старателя маня,  
В песок уходит жила!

Твоя была не у виска –  
Прошла вдоль тела сразу,  
И я за ней шёл средь песка,  
Как Митя Карамазов –

Тот, что в другую жилу влип  
С неистовую силой  
И был за Грушенькин изгиб  
Готов продать Россию!

Я всё разрушил второпях,  
Рванув судьбы удило,  
И плачу, потеряв тебя,  
Как золотую жилу!

На золото не падок я,  
Нет до него мне дела...  
Мне жилка лишь нужна твоя,  
Та, – что прошла вдоль тела!

## На дне последнего стакана

«Я вся твоя», – ты мне сказала  
И улетучилась как дым.  
И у прозрачного вокзала  
Стою, чтоб стать навек твоим!

Но – не в глубинах Океана,  
Не у вокзала! Не сейчас!  
На дне последнего стакана  
Тебя увижу в смертный час!

На дне последнего стакана –  
Оно бездонно – это дно,  
И глубже глуби Океана,  
И – на двоих оно дано!

Услышу снова смех хрустальный,  
Меня везде достанет он,  
И это будет погребальный –  
По мне твой поминальный звон!

На этом Свете слишком тускло,  
На том – нам будет веселей,  
И станешь ты русалкой русской  
В груди моей, в душе моей!

И глубь последнего стакана  
Мгновенно нас возьмёт на дно...  
И будет там всё без обмана,  
Ведь на двоих оно дано!

Женщина и хамсин

*Валентине Бендерской.*

Хамсин – жаркий ветер пустыни.  
Всю ночь с тебя тряпьё срывал,

Он – Измаил пустыни,  
И – как расплавленный металл,  
Заполнил лавой львиной!

Он сам жарюю был палим,  
Как лев в пустынном гробе,  
И рос всю ночь твой страх пред ним,  
Как будто плод в утробе!

Тебя сжигал песком-огнём,  
Ни в чём не виноватый,  
И были вы всю ночь вдвоём,  
Как две души распятых!

Но – пред тобою распростёрт,  
Он утром лёг в углу,  
Был воздух в спальне тяжело спёрт,  
И ветер звал во мглу!

Отбушевав как рыжий псих,  
Потух словно Светило,  
И у твоих он ног затих,  
И тишь вас оглушила!

Он благостен был и тверёз,  
В рукав запрятав грозы,  
И не было ни грёз, ни слёз,  
Ты выплакала слёзы!

Обоим нужен был Покой,  
И ничего на Свете,  
И он, как джинн, с немой тоской,  
Унёс тебя, -где ветер, -

Пустыни спит в её песках,  
Как будто на ладони...  
То – я тебя нёс на руках  
От бытовой погони!



## Падший гром

*Валентине Бендерской.*

Я сбросил плащ громов с плеча,  
Как царскую парчу,  
И – позабыв про свой причал,  
К тебе с небес лечу!

Меж небом и землёй барьер,  
Но я, отбросив сроки,  
С небес свалился в твой карьер,  
Тебя взяв на закорки!

И – на закорках протащил  
Через Земли владенья,  
Теперь я твой небесный щит,  
И звёздное спасенье!

И – словно в сказку, а не в быль,  
Я – с неба падший гром,  
У ног твоих уткнулся в пыль,  
Сияющим челом!

## Бегство от Поэзии

Я от тебя бежал, как вор в загоне,  
От всех лесоповалов и снегов,  
Но доставала ты меня в погоне,  
Сводила лбы несмежных берегов!

И забривала лоб мне, как солдату,  
Которому от службы не уйти,  
И покидал родимую я хату,  
И четверть века был с тобой в пути!

Мосты я перебросил на тот берег,  
Чтоб распрощаться, наконец, с тобой,

И перейти тебя, как буйный Терек,  
И воротиться навсегда домой!

Но волею судьбы мы снова вместе,  
Повязаны до гробовой черты,  
И топчемся на том же самом месте,  
Ведь ты сожгла понтонные мосты!

Ты пронеслась над ними, как комета,  
И – ревностью – спалила их дотла,  
И, кажется, что до скончанья Света-  
Как ястреб я, в твоих тугих узлах!

Мне никогда уже их не распутать,  
До самой смерти их не развязать,  
И – как бунтарь среди Великой Смуты,  
На волю рвусь! Но воли не видать!

Мой плен, как вор в законе, коронован-  
Короной – вечной от тебя гоньбы,  
Но – словно неким тайным договором,  
Мы связаны морским узлом судьбы!

Как крепостного держишь ты солдата,  
Меня, – и не один десяток лет,  
Не отпускаешь до родимой хаты,  
Но окромя тебя и хаты нет!

### **Сквозь тьму**

*Валентине Бендерской.*

С возрастом моё слабеет зренье,  
Пред глазами кружатся слепни,  
Но молю -Вернись хоть на мгновенье-,  
И опять красую ослепи!

Ничего уже вблизи не вижу,  
Но твою предвижу красоту,

Словно к смерти, к ней всё ближе, ближе,  
Ей сто жизней мёртвых предпочту!

Как лунатик по неверной крыше,  
Будто камикадзе, в даль идёт,  
Я на голос твой, что вечно слышен,  
Вновь иду, как старый идиот!

Как слепой подземный прорицатель,  
Лишь тебя провижу в темноте,  
И иду, мгновенно прозревая,  
Я – к тебе, забыв о слепоте!

И – закончив битвы все друг с другом,  
Оба проиграли мы войну,  
Но твоим вновь окружённый кругом,  
Снова вижу я тебя одну!

И валюсь, поверженный громами,  
Словно острой скошенный косой,  
Не седыми ослеплён годами,  
А твоей пронзительной красой!

Игорь Губерман

## ИЕРУСАЛИМСКИЙ ДНЕВНИК

из последних записей

Я в молодости был самонадеян,  
душой пылал от гордости отечеством  
и предан был замызганным идеям,  
что разум управляет человечеством.

\*

Привык я к новому гнездовью,  
но помню край, где жил когда-то;  
смотрю я с болью и любовью  
на тьму российского заката.

\*

Земной уже отбыл почти я срок,  
соткавшийся обилием годов,  
и близится таинственный порог,  
а я к суду нисколько не готов.

\*

Ещё я буду сочинять  
на прочих непохоже,  
и ни одна на свете блядь  
мне помешать не сможет.

\*

Он был ужасно некрасив,  
в себе не очень был уверен,  
и был поэтому спесив,  
надменен и высокомерен.

\*

Мы прошлое листаем не напрасно,  
красивые рассматривая пятна:  
текущее становится нам ясно,  
а будущее – горько, но понятно.

\*

Часто вспоминаю, как во время оно  
был и я гуляка из не самых слабых;  
был я сластолюбец, нынче я сластёна –  
ем я шоколадку, думаю о бабах.

\*

В ленивом беспутстве своём  
девицы – одно наслаждение:  
они тяжелы на подъём,  
но очень легки на падение.

\*

Мир делится на множество частей,  
и есть у каждой собственные власти;  
история – симфония страстей,  
кипящих в это время в каждой части.

\*

Мне жизнь интересна с её необъятностью,  
и ради гульбы её сочной  
готов я мириться с любой неприятностью,  
но не с панихидой досрочной.

\*

В мире всё увязано и спаяно,  
прошлое – грядущему сродни,  
и братоубийственного Каина  
всюду повторяют в наши дни.

\*

Всё то, что уготовано судьбой,  
я принял, уважая рок могучий,

а прочее, что рядом шло гурьбой,  
я тоже не отверг на всякий случай.

\*

Легко живя среди прогресса  
и покалечены империей,  
мы – щепки срубленного леса  
с большой невнятной фанаберией.

\*

Дружил я мало с забулдыгами  
и в их домах я не гостил,  
я жизнь мою провёл за книгами,  
а счастье скверны – упустил.

\*

Гляжу вперёд я неуверенно,  
и есть резоны у тоски:  
Россия будущим беременна,  
но травит все его ростки.

\*

Вот баба – ангел во плоти:  
мягчайший нрав, небесный лик,  
но если встать ей на пути,  
то ведьмой делается вмиг.

\*

Греховна избирательность моя,  
но я уже, похоже, свыкся с ней:  
трагического много знаю я,  
но мне смешное ближе и нужней.

\*

Чем ярче та формулировка,  
где всё – враньё и напоказ,  
тем более легко и ловко  
она прихватывает нас.

\*

Прости, молодёжь, моё слово сердечное,  
такая мне вышла стезя,  
но сеять разумное, доброе, вечное  
никак без занудства нельзя.

\*

Вокруг меня такие старики  
сегодня пьют, забыв речушку Лету,  
что вдруг и я здоровью вопреки  
гуляю вместе с ними по буфету.

\*

Я проживу ещё немножко,  
ещё мне многое дано,  
а после будет неотложка  
и покурить не суждено.

\*

Люблю свои стишки корявые:  
почти всегда строка опрятная,  
порой мыслишки есть кудрявые,  
и меланхолия приятная.

\*

Порылся я в моей судьбе,  
ловя детали и подробности,  
и справку выписал себе  
о полной нетрудоспособности.

\*

Как не любить мероприятия,  
когда в крови – коллективизм?  
Уединённые занятия –  
писательство и онанизм.

\*

Зря скользит короткий и проворный  
взгляд по нашим будничным одеждам:

мы не надеваем траур чёрный  
по мечтам, иллюзиям, надеждам.

\*

Истёрлись юные томления,  
забыто первое свидание...  
У смерти есть уведомления,  
одно из первых – увядание.

\*

Снился мне удивительный бред,  
из разряда вполне сумасшедших:  
ем я свой ежедневный обед,  
а вокруг меня – тени ушедших.

\*

Печалюсь я совсем напрасно –  
течёт отменная пора:  
и в голове пока что ясно,  
и выпить хочется с утра.

\*

Никто на свете не повинен  
в житейских горестях моих,  
и в тесноте моих извилин  
опять лопочет новый стих.

\*

Приснился мне роскошный сон:  
я в рай медлительно иду,  
а над котлами вознесён,  
стоит мой памятник в аду.

\*

Моя поэзия простая  
полна исконных слов народных,  
и пусть меня ругает стая  
из эрудитов гуглеродных.



\*

Я сионист и русофил,  
я просто с этим вырос —  
во мне гнездо, похоже, свил  
раздвоенности вирус.

\*

Увы, но такая натура,  
и грустно мне в этом признаться:  
в меня мировая культура  
напрасно старалась впитаться.

\*

Немало в жизни было сложностей,  
на одоленье был я скор,  
а вот упущенных возможностей  
я не заметил до сих пор.

\*

Всё прошлое сгорает не дотла,  
судьба его совсем уже другая:  
из памяти оно ручьём тепла  
течёт, печаль и радость исторгая.

\*

Смотрю на морды, рожи, хари,  
на скотский в их чертах покой;  
конечно, все мы — Божьи твари,  
но не до степени такой.

\*

Остаток ощущая как избыток,  
бравладу излучая и кураж,  
едва хлебнув живительный напиток,  
мы сразу же плюём на возраст наш.

\*

Загадка останется вечной  
при всём изобилии книжном:

Творец существует, конечно,  
но в виде, для нас непостижном.

\*

Моё житье весьма обыкновенно —  
уже с утра за письменным столом;  
а время, когда море по колена —  
в далёком и забывшемся былом.

\*

Какая музыка играла,  
когда мы были молодые!  
И эти искры карнавала  
мы помним — лысые, седые.

\*

Творит судьба крутые виражи,  
и вовсе неожиданно притом,  
и самые отважные мужи  
в них гибнут в одиночку и гуртом.

\*

Знавал я очень много увлечений,  
в читательстве особо был активен,  
а вот насчёт любых вероучений  
я холоден и сухо объективен.

\*

Наша похоть — таинственный текст,  
Божьи замыслы в нём сокровенные,  
потому что ведь именно секс  
восполняет потери военные.

\*

По многим я поездил городам,  
и разные бывали впечатления,  
теперь, когда немного я поддам,  
то вру про них, сопя от умиления.

\*

Уплыли годы услаждений,  
уже во тьму готов билет,  
но много блудных побуждений  
ещё бурлит на склоне лет.

\*

Прошёл я когда-то сквозь тучу сомнений,  
и стих мой душевный пожар;  
я чтец-декламатор моих сочинений,  
я сам отыскал этот жанр.

\*

Кипит вокруг военный пыл,  
кипит, шипя, планета;  
Творец создал нас, но забыл,  
зачем Ему всё это.

\*

Ликует от виршей лихих  
поэтов шумливая свора,  
обильно рождаются у них  
стихи из душевного сора.

\*

А я бы многое отдал,  
когда б дознаться смог,  
кто на планете правит бал.  
Но ясно, что не Бог.

\*

Сполна познавши в жизни толк  
и обретя покой отрадный,  
я одиночка. Но не волк.  
Скорей баран я. Но не стадный.

\*

Спокоен я, идя ко сну -  
ведь миновал я все напасти

и не ловился на блесну  
ни процветания, ни власти.

\*

Во времени уже довольно скором  
на некоем отсюда расстоянии  
я с тенями увижусь, по которым  
грустил я при давнишнем расставании.

\*

Затмение Луны – явление,  
естественное по природе;  
а на Земле умов затмение –  
оно откуда к нам приходит?

\*

Я не мечтал о громкой славе,  
не ждал от жизни улучшения,  
но иногда к худой шалаве  
питал позывы искушения.

\*

Года промчались, будто конница –  
то гладко было, то колдобинно,  
но все события мне помнятся;  
которых не было – особенно.

\*

А хорошо, что мы родились.  
Что в нас была живая искра.  
И денежки у нас водились.  
Кончались только очень быстро.

\*

Промолчал несведущий провизор,  
и не дал ответа эрудит:  
холодильник или телевизор  
на российском поле победит?

\*

А жалко всё же, что соитие  
и завершающий момент –  
не эпохальное событие,  
а быта мелкий элемент.

\*

Есть мир вещей и мир идей,  
и каждый дивно разноцветен,  
и в оба мира иудей  
проник и быстро стал заметен.

\*

Испуги, страхи, ужасы, тревоги  
текут безостановочной рекой,  
они витают роем на дороге,  
ведущей человека на покой.

\*

Я всю жизнь мою нынче сполна пролистал,  
как листал бы страницы журнала:  
интересные там попадались места,  
только было и стыдных немало.

\*

Да, в мире от добра немного толка,  
зло всюду норовит на пьедестал;  
но вдруг найдись Кашеева иголка,  
и я б её обламывать не стал.

\*

Я многих в жизни потерял,  
и книги их – в потёках пыли,  
моей души материал  
они когда-то покроили.

\*

Творя поклоны властной силе,  
народ вершит свой крестный путь;

самодержавие в России  
меняло форму, но не суть.

\*

Земное гаснет бытиё,  
надежд на льготу нет,  
но жизнечувствие моё  
острей на склоне лет.

\*

Прекрасно знают и невежды,  
что если рвёшься напрямик,  
то с дамы сложные одежды  
сметаются в единый миг.

\*

В России не просто ограблено  
живущее в ней население,  
но главное – что испохаблено  
ума и души устремление.

\*

Из канувшего я тысячелетия,  
и в веке не сегодняшнем рождён,  
отсюда это чувство, что в ответе я  
за всё, к чему душевно пригвождён.

\*

Мне каждый вечер – вовремя и кстати –  
сама за рюмкой тянется рука,  
налью немного тёмной благодати  
и пью за то, что жив ещё пока.

\*

Стихи текут, как откровение,  
как поколения звучание;  
потом постигнет их забвение  
и навсегда уже молчание.

\*

Бедняга! В час его зачатия –  
и это видно по нему –  
была ужасной антипатия  
супруги к мужу своему.

\*

Когда затеян ужин пышный  
и разговор течёт несложный,  
то собеседник никудышный,  
но собутыльник я надёжный.

\*

Рассчитывать глупо, что всё неизменно  
в повадке крутого подонка:  
сегодня бандиты одеты отменно  
и мыслят корректно и тонко.

\*

Ещё не изменило чувство вкуса,  
я больше понимаю даже вроде,  
но груда накопившегося мусора  
мешает моей умственной свободе.

\*

– Теперь я устаю от малой малости,  
я счастлив, но порой изнемогаю...  
– А чем ты занимаешься на старости?  
– Долги плачу и детям помогаю.

\*

Солидарно, совокупно и соборно,  
совпадая в упованиях глухих,  
мыслят мерзко, озверело, подзаборно  
очень много современников моих.

\*

На старости, в расслабленном покое  
поймал себя на том, что и сегодня

я думаю о женщинах такое,  
что краской бы залилась даже сводня.

\*

Я людей молчаливых боюсь,  
чересчур они смотрят внимательно,  
или скажут нелепую гнусь  
и расстроят меня окончательно.

\*

Как автор музыки волшебной  
мог оказаться мелким гадом?  
Но жизнь духовная с душевной  
текут раздельно сплошь и рядом.

\*

Сказать могу я мало лестного  
об отношении к писателям,  
но кто меня слегка попестовал —  
тем буду вечно я признателен.

\*

Я написал бы свой портрет  
без разных пакостных опасок —  
как несусветный винегрет  
из хаоса случайных красок.

\*

Езжу я далеко и окрест;  
повторения делать нельзя:  
обезлюдено множество мест,  
где отправились к Богу друзья.

\*

Я некрасиво раньше ел —  
кромсал еду зубами резвыми,  
я чмокал, чавкал и сопел;  
теперь я клацаю протезами.



\*

В различных побывал я возрастах,  
и близости ценил я, и приятельства,  
все возрасты я прятался в кустах  
доверчивости и доброжелательства

**Илья Корман**

## **МОИ СТИХИ**

Мои удельные князья  
Не набиваются в друзья:  
Обиженно отвёрнуты,  
Носы и плечи вздёрнуты.  
Мол, я их правлю часто,  
Мол, я дарю их редко,  
Мол, мне, как дым чадящий,  
Они бывают едки.

\*\*\*

В румбах путался и галсах,  
Моря синего пугался  
И скрипел: «Домой!»,  
А косатки и нарвалы  
Проводили карнавалы  
Под его кормой.  
Капитан, как страус эму,  
Прятал голову в поэму,  
Со строфой мудрил –  
И обрадовались орки,  
И терзали переборки  
Из последних сил.

## Владимир Рудерман

А под дождем не видно слез, когда срывает ветер крышу,  
Все наносное, не всерьёз, все больше слушаю, не слышу.  
Уж сколько дублей клеит клей в ползучей ленте негатива,  
Мы стали к прошлому добрей, в нас пена правильного пива.

А в янтаре застывший глаз через века глядит уныло,  
Он бедолага, судит нас, хоть сам давно сошел на мыло.  
Ему там проще и видней, как выйти вовремя из чата,  
Зачат в эпоху трудодней, не повезло, ошибка чья-то.

Все ходит с нами поводырь над бездной сдвинутого люка,  
И не спасает нашатырь тех, кто попал в объятья глюка,  
Смеётся Дарвин за спиной, поставив всё на обезьяну,  
Жизнь в руки только по одной, я повторять её не стану.

Ползет гремучая змея, хвостом цепляясь за лианы,  
А этот в зеркале не я, какой– то лысый, злой да пьяный.  
Закосит острая коса поля нетронутого мака,  
И зомби ловят голоса всех тех, кто стал опорой мрака.

А у свободы два крыла, да только цепь скрутила ноги,  
Всем воздается за дела, а не за мудрые предлоги.  
И по пустыне сорок лет шагают дружно те же лица,  
Без тормозов мой интернет устал за них вдали молиться.

\*\*\*

Воскресный день уже не радовал бычков,  
Тех, что поймала сковородка тети Клавы,  
С авоськой к пиву шла ватага мужичков,  
На пиджаке у одного был орден Славы,

В тени каштанов бочка желтая лилась,  
И пена пухом тополиным укрывалась,  
И лентой очередь стояла и тряслась,  
Что мало выпивки на жаждущих осталось.  
Там лузгал семечки разбуженный народ,  
Туда-сюда мелькали платья и футболки,  
Причалил к пристани гудящий теплоход,  
И моряки бежали в город в самоволку.  
В халате белом тётка жирною рукой  
В последний раз кран до упора повернула,  
Пустую бочку дождь слепой залил тоской,  
И в рот зевающий лишь муха зло мигнула.  
Табличка скорбная вещала «Пива нет»,  
Как будто горло полоснула острой бритвой,  
Вода с трубы стекала в банку на обед,  
Как компромисс меж атеизмом и молитвой.  
А тот, что с орденом, газетку расстелил,  
Его без очереди как-то пропустили,  
И из бидона от души нам всем налил,  
И под закуску мы за вечер летний пили.  
Без дела маялся корабль на стапелях,  
Валил народ успеть к трансляции футбола,  
И было счастья хоть карманы на нулях,  
Уроки ждут с утра, ведь не сгорела школа.  
И улыбалось солнце негой золотой,  
И травку кто-то докурил в забытом трансе,  
Казалось, вечно будет счастье и застой,  
Хватало каждому в душевном резонансе.  
Лишь запах пота сквозь тройной одеколон  
Открытым окнам над лиманом не по нраву,  
Спустился с Бугом южный город в сладкий сон,  
Доев бычки с плиты соседки тети Клавы.

\*\*\*

Зальюсь вином и сладким сном  
Я придавлю мечты к дивану,  
Невидим стану, словно гном,  
Накрытый тазом в женской бане.

На четвереньках до крыльца  
Уходят гости с перегара,  
Я потерял фрагмент лица,  
И в зеркалах лишь злая харя.  
А по судьбе аристократ,  
Хоть жизнь к удаче близорука,  
Душа тверда, как сто карат,  
Пилить ее – такая мука!  
Я пробкой в штопоре застрял,  
Он все нутро скрутил наружу,  
Себя уж столько раз терял,  
Вставал и падал снова в лужу.  
Уже нахрюкал бюллетень  
Сварливый день душевных колик,  
Похож на собственную тень,  
Как анонимный алкоголик.  
Не мне на профиль свой пенять,  
Не раб и не слуга этила,  
Как трудно взять и поменять,  
Гораздо легче все как было.  
Кого-то бьют пинком под зад,  
Кому-то все открыты двери,  
Я закопал вишневый сад,  
Сбежав от счастья к высшей мере.  
Стучат по сердцу каблуки  
Разлитых капель валидола,  
Найти бы берег той реки,  
Куда б сумел войти я снова.

\*\*\*

Послал в анналы критиков и психоаналитиков,  
Невротиков и нытиков, кривых, прямых, иных,  
Конкретиков и скептиков, турретов, эпилептиков,  
Глупцов и теоретиков, здоровых и больных.  
Послал непрогибаемых, упёртых и вменяемых,  
Внушаемых, отчаянных, свободных и рабов,  
Любителей экзотики, пиара и эротики,  
Эклектики и готики, текилы и грибов.

Послал слепых мечтателей, ленивых обывателей,  
И всех доброжелателей, завистников и гнид,  
Вещателей, предателей, спокойствия взрывателей,  
Скупых на лайк читателей и тех, чей мрачен вид.  
Послал иные мнения да волны настроения,  
Уставшее везение и тех, с кем недопил,  
Твердящих о спасении, любви и отрезвлении,  
Приют мой откровения кто злостно не купил.  
Послал по скайпу искренне, и в эсэмэске письменно,  
Истериков, холериков и к ним примкнувших в спам,  
Старателей, просителей, участников и зрителей,  
И вирусоносителей компьютерных программ.  
Послал и не покаялся, сумел, успел и справился,  
Кому – то не понравился, живу, как прежде жил,  
Ранимых дознавателей и жадных обывателей,  
Да гордых подражателей рассерженных чернил.  
Послал без зла и повода, порвав концы от провода,  
Газеткой хлопнув овода промеж своих ушей,  
Не стих и не творение в оправе самомнения,  
Настал предел терпения гнать от себя взашей.

\*\*\*

Она вдруг замолчала, сменив пароли в сеть,  
Решила всё сначала, забыть, забить, стереть,  
Вскочила на подножку, тридцать седьмой трамвай,  
Любовь по чайной ложке ей гуглит месяц май.  
Цветет, да не ласкает пьянящая сирень,  
И над Днепром растает в закате грусти день.  
Влюблен как маразматик в знакомый силуэт,  
Кафе Момент, Крещатик, вернуться, точка, нет.  
Ушла по лужам в Липки нечётной стороной,  
И тянет дождь ошибки за гордою спиной,  
Пробьет в стене кирпичной дорожку к ней вай-фай,  
Все сложно в жизни личной, тридцать седьмой травмай.  
Судьбы перезагрузка бежит за нею вслед  
С Владимирского спуска, храня ее от бед.  
И с утренней прохладой вдруг щелкнет эсэмэс,  
Ее найти мне надо, то с ней никак, то без.

Смотрю в стекло я смело, хоть треснул пол моста,  
Она уйти хотела, чтоб с чистого листа.  
Скамейка под каштаном не выдаст голос мой,  
Пойду искать по шпалам её тридцать седьмой.

\*\*\*

### **За третьей дверью.**

А вам другой поэт, наверно, нужен?  
Там третья дверь направо у окна.  
Вы не пугайтесь, что мой голос чуть простужен,  
И стол весь книгами под потолок загружен,  
И в недопитой чашке запах от вина.

А я здесь так – сижу, работаю, мечтаю,  
Мой день расписан от восьми и до пяти.  
Коль есть слова, перо в чернильницу макаю  
И в третью дверь на утверждение посылаю  
Без чувств о чувствах, ты уж, Господи, прости.

Тут все разбросано, по списку судьбы смяты,  
Я ведь порою на себя бываю зол.  
А тот, за третьей дверью, вечно виноватый,  
Все пьёт да курит и с утра был неженатый,  
И принимает тех, кто носит этанол.

Вы по какому, я спросить осмелюсь, делу?  
Хотя какие в ваши годы тут дела.  
За третьей дверью лишь душа сидит без тела,  
Ну, вы поймёте, и туда ступайте смело,  
А здесь бездушные, но все-таки тела.

Вы редактируете разные колонки,  
Желая первой прочесть мой эксклюзив?  
Вам часто снятся проходимцы и подонки?  
А тот, за третьей дверью, с интеллектом тонким,  
Вам не понять его врожденный позитив.

Всё продаётся здесь согласно преискуранту,  
Кусают рукописи стаи беглых крыс.  
Из серых будней трудно выбиться таланту,  
Лишь гонят тюльку фраера в гнилых шаландах,  
За третьей дверью лоб послушен, зол и лыс.

Вы не грустите, если вдруг там вам откажут,  
Таких, как он, мы вмиг отыщем полстраны.  
Как трудно выдавить посредственность и лажу,  
Я тоже крут, но иногда со всеми лажу,  
За третьей дверью откровенья не нужны.

Слова слетают и становятся обузой,  
Их помнит пыльный и безликий кабинет.  
А без любви не получается стать музой,  
И разминется жаркий день со злобной стужей,  
Поняв, что там, за третьей дверью, счастья нет.

Так вы ко мне? А я давно неактуален,  
И всё рифмую наши будни в сонный стих.  
Я старомоден, независим и банален,  
Но для воскресших чувств вполне сентиментален,  
За третьей дверью не осталось уж таких.



Анна Файн

## **О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, НЕНОРМАЛЬНОСТИ ЕВРЕЕВ И ДРУГИХ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОСТИ**

Когда я буду забывать, о чем болтать, то пушу рекламную паузу. Рекламная пауза: подписывайтесь на журнал «Артикль!»

Конечно, только евреи могли назвать журнал на русском языке “Артиклем”, когда в русском нет такой части речи, как артикль. Но евреи вообще ненормальный народ. А я точно знаю, что артикля в русском нет, потому что слушала лекции самого большого специалиста по русскому языку. Фамилия его была Розенталь (кто б сомневался!) Русский не был его родным языком. Как у всякого приличного еврейского мальчика из Польши, родным языком его был немецкий. И вот он приехал в Россию, чтобы научить русских людей их языку, и написал более ста учебников, и стал профессором МГУ.

Я не училась в МГУ, но в те годы можно было прийти в старое здание университета на Охотном ряду и купить за тридцать копеек зелененький киношный билет общества “Знание”, и послушать лучших профессоров.

В девяностые годы Дитмара Эльяшевича Розенталя не стало. И русский язык тоже умер. Исчезли квартирные посредники, вместо них появились риэлторы. Исчезли банковский ссуды, появились кредиты. Исчезли уборщицы, появились менеджеры по клинингу. Мало того, из языка пропали некоторые важные понятия. Например, любовь. Не говорят: “У меня с ним любовь”. Говорят: “У нас отношения”.

Так вот, евреи – ненормальный народ. Не верите? Я вам это сейчас докажу. Другие народы празднуют день рождения. А евреи празднуют день, когда человек не умер. Праздник Лаг ба-Омер – это день, когда НЕ умер рабби Шимон бар Йохай. Ему предсказали, что он умрет, а он остался жив. Правда, он все же умер в Лаг ба-Омер, но много-много лет спустя.

Евреи не празднуют дни рождения. Во всяком случае, традиционные евреи. Когда рождается мальчик, устраивают аж три праздника, и ни один из них – не день рождения. Во-первых, обрезание. Во-вторых, выкуп первенца, если это первенец. А, в-третьих, “шалом захар”, или “шулем зухер” на идише. Это значит – “Привет, мужик!” Так я, во всяком случае, перевела.

Какой из этих праздников веселый, а какой – грустный? Обрезание – веселый праздник. Хотя чему тут радоваться, если вдуматься? А вот “привет, мужик!” – грустный. Почему? Потому что душа человека обретает всю мудрость Торы, пока он находится в материнской утробе. Когда ребенок проходит через родовые пути, он все забывает. Вот по этому поводу устраивают грустный праздник “привет, мужик!”. В первую субботу после рождения мальчика мужчины собираются вместе и учат Тору. Еще едят траурную еду: арбес и бобес. Арбес – это вареные зерна хумуса, а бобес – фасоль.

Но если бы ненормальность евреев ограничивалась только этим! У других народов как? Вот девушка собирается замуж. Мама ей говорит: “Выходи, Маруся, за Иван Ивановича. За ним ты будешь, как за каменной стеной”. Правда ведь, так говорят? А у евреев? Одна раббанит по имени Эстер Гинзбург написала книгу, которая в русском переводе называется “От женщины к женщине”. Там сказано: “Жена – ограда своего мужа, она стена вокруг него”. Это не просто так говорится. Это, так я думаю, комментарий на Песнь Песен: “Запертый сад – моя возлюбленная”. То есть, женщина должна возвести стену, и там, внутри, окруженный стеной, усаживается мужчина и учит Тору. Представляете? “Выходи, Мойшеле, за Сарочку. Ты будешь за ней, как за каменной стеной”.

Все это весьма современно. Например, мой любимый русский политик Ирина Хакамада... Она наполовину японка, на четверть осетинка и на четверть армянка, но она – русский

политик. Так вот, она сказала как-то: “Я не феминистка. Я женщина двадцать первого века. Что такое женщина двадцать первого века? Она знает, что мужчина – не добытчик и не защитник. Он – для удовольствия”. Они это поняли в двадцать первом веке. А мы это знали всегда!

О чем дальше болтать, не знаю. Рекламная пауза: подпишитесь на журнал “Артикль”!

По основному образованию я – лингвист. Язык – самое главное для человека. Есть такая гипотеза языковой относительности Сапира и Уорфа. Тоже наши люди. Сапир – точно наш человек. Гипотеза языковой относительности Сапира-Уорфа гласит, что не мышление первично по отношению к языку, а язык – по отношению к мышлению. Поэтому никакой общей философии и общего мировоззрения у человечества нет. Ведь мы говорим на разных языках. Вот тут фильм вышел, называется Arrival, прибытие. Хороший фильм, посмотрите. Он основан на гипотезе Сапира-Уорфа. Там инопланетяне прибывают на землю с одной-единственной целью – научить землян своему языку. И, когда земляне овладевают этим языком, их жизнь меняется к лучшему.

Поскольку мы немного говорили об этой теории в институте, я возвращалась к ней мысленно, и думала об этом. У меня возникла идея выучить арабский язык. Вот выучу я арабский – думала я – и пойму про арабов что-то такое, чего никто еще не понял.

Я не сильно продвинулась в изучении арабского, точнее, я его совсем не знаю. Но я немного поучила арабскую грамоту. И кое-что поняла. Вот посмотрите на еврейские буквы. Точнее, не на еврейские, а на ассирийские. Да-да, иврит использует ассирийское квадратное письмо. Самых ассирийцев почти не осталось, но евреи подгрести под себя их буквы. Евреи все подгребают под себя: арамейский, ассирийский, немецкий... теперь вот и русский.

Так вот, ассирийские еврейские буквы стоят строем, как солдаты. Каждый – в своей клеточке. У каждого – свое жизненное пространство. Даже у маленькой буквы “йуд” – своя клеточка. Попробуй, отними у нее жизненное пространство! Она на тебя в БАГАЦ подаст!

А у арабских букв нет личного пространства. У них только пять “гордых” букв пишутся отдельно. А все остальные протягивают “руки” соседям, образуя слово, похожее на единую большую букву. Хамупла! Все вместе!

А еще еврейские буквы стоят на строке. А арабские ползут по строке. Или под строкой. Тоннели прорыли и ползут. Тут не надо быть военным стратегом, чтобы понять, как станет действовать Хамас. Чтобы все понять про арабов, достаточно посмотреть на любое слово, написанное арабским шрифтом.

В общем, что я вам хочу сказать? Подписывайтесь на журнал “Артикль”!

**Александр Мелихов**

## **«ТУТ У ТЕБЯ – ЛИТЕРАТУРА!»**

В книге Марка Уральского «Горький и евреи» (СПб, 2018) такие тучи опечаток, как будто ее не читал не только корректор, но и вообще никто. И зря, ее очень даже стоит прочесть, стараясь относиться с юмором к беспрестанно прыгающим в глаза нелепостям типа «освободился в Лондоне за Ы часа», «заключили в объекте» вместо «заключили в объятия» или к внезапному восточному акценту: «конец процесса Бейлиса странно обрадовала меня». ». Книга посвящена истории отношений главного юдофила всея Руси Максима Горького с множеством видных евреев от Жаботинского, Шолом-Алейхема и Шолома Аша до Троцкого, Зиновьева и Каменева и сулит массу наслаждений бесхитростным душам, обожающим «цифры и факты». Однако несравненно важнее всех фактов вопрос о причинах российского антисемитизма: откуда он берется, и можно ли с ним бороться?

Книга вливает немало желчи в ту сладенькую сказку, что до-революционная русская интеллигенция стыдилась антисемитизма, как дурной болезни. Впрочем, стыдиться болезни не означает быть от нее свободным, хотя конкретно горьковский пылкий филосемитизм по-видимому был неподдельным, несмотря на всю его подозрительную избыточность и расовую окраску. И очень уж тонкое понимание психологии Клима Самгина, подозревавшего, что «психика еврея должна быть заражена и обременена чувством органической вражды к русскому, желанием мести за унижения и страдания». Хотя – это же самое впрямую говорил Горькому и Леонид Андреев: «Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя – литература! Я – не

люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. ...Они считают и меня виноватым в несчастиях их жизни, – как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него – преступник, гонитель, погромщик?». И напоследок бессильное: «Русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером – черт знает кем еще! И – всего меньше – самим собою».

Социокультурные достоинства евреев Горький то и дело объяснял древностью и чистотой еврейской крови, а юдофобию – завистью к этим достоинствам. Однако Марк Уральский цитирует таких русских светил, у которых завидовать евреям, по крайней мере, тогдашним, не было ни малейших оснований. Претензии им предъявлялись либо общенациональные, либо общекультурные, либо расовые. Куприн сетовал, что неукоснительное требование сочувствовать прежде всего угнетению евреев заставляет забывать о несчастиях прочих народов (через сто лет эти упреки повторил Солженицын), и при этом... «Я говорил с многими из тех, кто распинается за еврейские интересы, ставя их куда выше народных, мужичьих. И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам, шепотом: «Ей-богу, надоело возиться с их болячками»» (Я цитирую далеко не самые резкие выражения. – А.М.).

Андрей Белый видел в евреях главных носителей бездушных космополитических мод, «штемпелеванной культуры»: «Кто же эти посредники между народом и его культурой в мире гениев? Кто стремится “интернациональной культурой” и “модерн-искусством” отделить плоть нации от ее духа, так, чтобы плоть народного духа стала бездушна, а дух народный стал бесплоден? Кто, кто эти оскопители? Странно и страшно сказать, но приходится. Это – пришлые люди: обыкновенно оторванные от той нации, в недрах которой они живут, к несчастью для культуры, ограниченные в государственных правах и потому не имеющие возможности выразить себя на другом поприще, они с жадностью бросаются в ту область, которая не зависит от государства, т.е. становятся пионерами культуры (литературными и музыкальными критиками, организаторами литературных предприятий); количество их увеличивается, а влияние

критики и культурных начинаний увеличивается в обществе также; главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди; конечно, не понимают они глубин народного духа в его звуковом, красочном и словесном выражении. И чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек, и далее: всему оригинальному, идущему вне русла эсперанто и бессознательно (а иногда и сознательно), объявляется бойкот».

Флоренского страшили смешанные браки с евреями. «И, рано или поздно, процент еврейской крови у всех народов станет столь значительным, что эта кровь окончательно задушит всякую иную кровь, съест ее, как кислота съедает краску». Окончательное решение ученый в мыслителе видел «только одно» – «оскопление всех евреев». Но христианин в нем требовал более мягких средств: «От нас Бог хочет, чтобы выколачивали жидовство из Израиля, а от Израиля – чтобы он, своим черным жидовством, оттенял в нашем сознании – непорочную белизну Церкви Христовой».

Во время той единственной Гражданской «черное жидовство» выколачивали очень усердно, вбивая на его место «красное жидовство» – число погибших во время погромов по пессимистическим (а для кого и оптимистическим) оценкам достигает 300 тысяч. Но для этого еще нужно было свалить правительство, которому в пропагандистских целях и приписывались несколько сот еврейских душ, отнятых во время Первой революции. Сбирать деньги на продолжение революции, а заодно агитировать против займов царскому правительству Горький и отправился в Америку, где его ждал немислимый в наше время прием – их встречал целый пароход репортеров со всей Америки, на пристани люди прорывались через полицейский кордон, хватали знаменитость за руки, целовали его накидку...

Такое нынче возможно разве что с рок-звездами. И главной аудиторией звезды были русские евреи. (Когда Марку Твену сказали, что в Нью-Йорке живет миллион евреев, он ответил, что лично ему известно большее их количество.) Однако, когда Горький по российской привычке без раздумий вступаться за всех политических обвиняемых подписал телеграмму протеста против суда над двумя профсоюзными лидерами-социали-

стами, обвиняемыми в причастности к террористической деятельности, вся умеренная Америка от него отвернулась, ибо готова была поддерживать революцию где угодно, но не у себя дома. И даже Марк Твен, отношения с которым начались вроде бы с горячей дружбы, в итоге прокомментировал ситуацию довольно жестко: «Он прибыл с дипломатической миссией, требующей такта и уважения к чужим предрассудкам... Он швыряет свою шляпу в лицо публике, а потом протягивает ее, кланча денег».

Финансовый провал горьковской миссии, возможно, спас неизвестно сколько еврейских жизней, которых несомненно потребовало бы «углубление революции», но месяцы его американского творчества повлекли за собой неисчислимые страдания еще неродившихся советских школьников, вынужденных изучать «Мать» его, написанную в Америке. И его не подтвержденные никакой конкретной информацией американские славословия русским евреям, «живительному источнику в освободительной деятельности революционного движения русского народа», явно пошли во вред и евреям, и движению, которое тем легче было приписать деятельности злокозненных инородцев. Еврейские банкиры, которым Горький посулил «заслуженную ими тяжелую пощечину», естественно, закрыли свои кошельки, а «буревестник» оплатил им «Городом Желтого Дьявола», хотя начинал с дифирамбов великой свободной стране.

Больше в Америке Горький не был, но в 1922 году, будучи фактически высланным из России «на лечение» от скептицизма по отношению к большевистской политике, он дал подробное интервью о еврейских делах в Советской России той же самой социал-демократической нью-йоркской газете «Форвертс», где когда-то воспевал «живительный источник», сделавшийся теперь предметом ненависти миллионов. О зависти уже не было ни слова.

**«ПРИЧИНОЙ ТЕПЕРЕШНЕГО АНТИСЕМИТИЗМА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСТАКТНОСТЬ ЕВРЕЙСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ.** Еврейские большевики, не все, но безответственные мальчишки, участвуют в осквернении святыни русского народа. Они превратили церкви в кинематографы и читальни, они не посчитались с чувствами русского народа. Еврейские больше-



вики должны были оставить эти дела для русских большевиков. Русский мужик хитер и скрытен. Он тебе на первых порах состроит кроткую улыбку, но в глубине души затаит ненависть к еврею, который посягнул на его святыни».

«Ради будущего евреев России надо предостеречь еврейских большевиков: держитесь подальше от святынь русского народа! Вы способны на другие: более важные дела. Не вмешивайтесь в дела, касающиеся русской церкви и русской души!».

«В новом экономическом возрождении России евреи играют очень важную роль и способны играть еще более важную роль, будь для этого благоприятствующие условия. Россия не может быть восстановлена без евреев, потому что они там являются самой способной, активной и энергичной силой». Только – только пусть не вмешиваются в «русские религиозные дела».

Главный романтик русского двадцатого века наконец-то понял, что не только его собственная, но и любая национальная психология романтична: ущемление материальных интересов народа порождает раздражение, досаду, брюзжание, а покушение на его воодушевляющие иллюзии – пламенную ненависть. Успехи евреев в экономике, в науке, в культуре и даже в политике вызывают гораздо больше уважения, чем зависти, покуда эти успехи не сопровождаются покушениями на национальные грезы. Но нашего брата ведь хлебом не корми, только дай оплевать чужие предрассудки с высоты наших собственных. И что за беда, что оскорбление чужих предрассудков их только укрепляет: удовольствие получаю я один, а расхлебываем все вместе. А что это порождает усиление антисемитизма, так и он делится на всех, тогда как удовольствие от оплевывания получаю я один. Да и чем уж так, между нами, плох антисемитизм, если он дает мне возможность приписывать его исключительно зависти к моим успехам: я раздражаю, следовательно существую!

Но если вернуться к скандальной статье Андрея Белого «Штемпелеванная культура» («Весы», 1909 год), в которой он впоследствии раскаивался, ссылаясь на «маниакальное настроение» и чуждое внушение, то в ней есть и заслуживающий полного внимания тезис, если заменить ничего не означающее

слово «раса» все-таки гораздо более осмысленным словом «этнос» или «нация»: «Самобытность культур порождает борьбу национальных особенностей рас: эта расовая борьба – вне плоскости политики».

Все верно: самобытность культур порождает борьбу, поскольку все национальные культуры в основе своей несут идею собственного превосходства, если даже наиболее щедрые национальные романтики, вроде Достоевского, усматривают это превосходство во всемирной отзывчивости. И как же эта борьба может остаться в стороне от политики – от борьбы за материальное преобладание? В предельном выражении – от войны всех со всеми, от которой ограждает лишь страх друг перед другом, впрочем, и подталкивающий к войнам. Первая мировая, приближение которой Андрей Белый ощущал очень остро, и была войной культур, войной грез, ибо материальные ее приобретения даже для победителей были микроскопическими в сравнении с потерями (Вторая мировая была только следующей фазой).

И это наводит на крамольную мысль: так ли плохо космополитическое начало, если оно ослабляет национальную самобытность, но уменьшает также опасность межнациональных столкновений? И так ли, сян ли содействует формированию единого человечества? А если говорить о примитивности транснациональной массовой культуры, то она ничуть не менее примитивна и в национальных версиях, но тут уже нужно благодарить демократизацию, восстание масс, а не глобализацию: национальные государства уже давным-давно перестали быть заповедниками аристократизма.

Я имею в виду, разумеется, аристократизм духовный.

Которого в Мировой художественной культуре хоть отбавляй.

Отбавлять, впрочем, не нужно, это сделают и без нас одними хотя бы переделками классических произведений в кино-мелодрамы и мюзиклы.

Андрей Белый в своем памфлете задает очень важный риторический вопрос: «Разве вы не замечаете ужасающего роста интернациональной, прогрессивно-коммерческой культуры во всех областях искусства, где проявляется гений (т.е. квинтэс-

сенция народного искусства). Рост книгоиздательств, единственная цель которых – нажива, централизация книжного и музыкального дела в одних руках, так что некоторые литературные и музыкальные предприятия становятся чуть ли не интернациональными; вместе с тем страшное падение литературных нравов, продажность прессы, понижение уровня критики и все большая ее гегемония в вопросах творчества; выступление на арену творчества сомнительных господ, наконец, фабричное производство идей и фальсифицированные гениальности – все это заставляет нас наконец сказать решительно: “Довольно!”

Правда, произведения национального гения всех стран вы найдете вследствие этого во всяком книжном магазине; правда, рост переводной литературы велик, обилие всевозможных концертных, эстрадных и лекционных (да!) предприятий увеличивается; бесконечная фаланга критиков ежедневно, еженедельно, ежемесячно ставит вас “au courant” жизни искусства всего мира, но...

Вырастает ужасная цензура в недрах этих предприятий: переводится, рекламируется и распространяется только то, что угодно королям литературной биржи; выпускается на эстраду только то, что угодно королям биржи музыкальной; а их идеал – интернациональное искусство, одинаково доступное и понятное интеллигентному плебисциту всего мира, равно оторванного и от здоровой земли народной, и от верхов умственной аристократии...»

Не вполне понятно, кого в нынешние, да и в прежние времена можно отнести к «здоровой земле народной», но вот «верхам умственной аристократии» пора хотя бы через сто лет задуматься, нужно ли ей связывать свои интересы с демократией.

**Ольга Ксендзюк**

## **ИТАЛЬЯНСКИЕ РЕФЛЕКСИИ ИОСИФА БРОДСКОГО**

«Сыны Авзонии счастливой»

Поэзия суть язык, организованный особым образом. Проза тоже, хотя ее структура не столь очевидна. Язык описывает реальность, но не отождествлен с ней. Различие жанров состоит в разнице расстояний между описанием и действительностью. Научный доклад или инструкция по использованию ближе к реальности, чем поэзия и проза. Последние же не столько отражают, сколько превращают мир в зависимости от таланта художника. Мы так привыкли к условности искусства, что почти не замечаем ее, как в сумерках – цвет вещей. Искусство – венецианская маска, а скрываться за ней может кто и что угодно-автору либо читателю.

Географическая Италия – привлекательная для туристов страна с интересной историей, а также климатом, рельефом и прочими компонентами школьного учебника. Ее блистающее, текучее отражение в литературных водах не то чтобы совсем на оригинал не похоже, но это – отражение, образ. Он служит иным целям и обладает иными измерениями, нежели объективное описание.

В русской литературе и искусстве Италия издавна несла нагрузку не меньшую, чем двое атлантов, удерживающие земной шарна одесской улице Гоголя. Своего рода итальянский миф связывал Россию XIX в. с романтическим мироощущением эпохи. Начал все это Гете со своей Песней Миньоны: «Ты зна-

ешь край лимонных рощ в цвету, / ... Где негой Юга дышит небосклон...»<sup>1</sup>

Песнь была подхвачена европейской и русской поэзией.

Уверенно сформировалась антитеза «север – юг, Россия – Италия». Да и что может быть естественней, чем грезить о теплой и приветливой южной стране в сыром, холодном граде Петровом? Только представить себе щедрое солнце, плодородную землю, на которую можно присесть и полюбоваться лазурным морем без риска подхватить инфлюэнцу, и в руке «золотой апельсин»... Там вечная весна, «край полуденной природы», где небо прозрачно, воздух сладостен, природа роскошна; где растут розы и янтарный виноград, кругом – блаженство, нега, «безмыслие золотое». Золотой и серебристый здесь возникают особенно часто («...Где царствует Венеция золотая»). Такое впечатление, что севера просто нет. (Хотя литературная Венеция нередко изображается как царство ночи.)

Идеализации южного края способствовала и легкая рука Пушкина, которая вывела: «Сыны Авзонии<sup>2</sup> счастливой / Слегка поют мотив игривый...» – и участь «итальянцев в России» была предрешена. Вяземский, Бенедиктов, Полонский и множество других поэтов наделили Италию ворохом эпитетов, среди коих преобладали «дивный», «волшебный», «счастливый», «лучезарный», «благодатный» и прочее. Это страна искусства, красоты и поэзии, ее язык – «язык Петрарки и любви». Наконец, это символ романтического томления, недостижимого счастья и гармонии. Отдельная тема – Рим, осмысление его судьбы и величие вечности. (Стоит упомянуть и о «Риме» Гоголя – отрывке из неоконченного романа «Аннунциата». Гоголь считал Рим своей «родиной души».) Условно-поэтический образ Италии связан и с наследием античности, и с юностью европейской цивилизации, которая выступает своего рода духовной родиной.

В 1830-1840-х гг. поездка в Италию стала для русского дворянства *сine qua non*. Путешественники стремились запечатлеть

<sup>1</sup> Гете, «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795). Песня Миньоны дана в переводе Пастернака.

<sup>2</sup> Авзония – устаревшее поэтическое именование Италии, от названия одного из италийских племен – авзоны.

свои наблюдения в прозе, однако и они нередко поддавались гипнозу образа. «Итальянское путешествие» органично включалось в сюжеты произведений Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина. Возник и своеобразный жанр – «итальянская повесть», остросюжетная романтическая новелла, где действие происходит за границей, а главный герой – итальянец, человек искусства или романтический злодей, и не обходится без таинственных происшествий, роковых женщин, любовной интриги и т.п.

Со временем, как свойственно любви, образ Италии изменился: пришло охлаждение, отстранение, даже разочарование (интересны в этом плане итальянские стихи Тютчева начала 1850-х гг., например, «Рим ночью»). Сформировался набор литературных клише, появились пародии (что свидетельствует о проникновении образа в массовое сознание).

Интерес к итальянской тематике и символике вернулся – в общем ключе увлечения Ренессансом – в творчестве представителей Серебряного века – Блока, Мережковского, Бальмонта, Гумилева, Ахматовой. Полемично по отношению к известным строчкам Пушкина «Адриатические волны, О Брента! нет, увижу вас...» прозвучало стихотворение Ходасевича: разочарованный посещением Бренты, он назвал ее «рыжей речонкой» и «лживым образом красоты». На переломе веков мотив земного рая сменяется мотивом «утраченного рая», предчувствием катастрофы.

Акмеисты, провозгласившие «тоску по мировой культуре», связывали ее с мечтой об Италии. «...И ясная тоска меня не отпускает / От молодых еще воронежских холмов / К всечеловеческим, ясным в Тоскане», – написал в 1937 г. Осип Мандельштам. Впрочем, эта тема заслуживает более подробного рассмотрения.

Влияние архетипического образа Италии оказалось актуально и для 20 века: для Светлова, Заболоцкого, Кушнера, Рейна. И особенно – Иосифа Бродского.

«Картинки, знакомые с детства...»

«Изгнанник, кочевник, путешественник, Бродский закончит свой путь в городе, который любил больше всего на свете и о

котором так много написал» (П. Вайль). Он похоронен на красивейшем венецианском кладбище Сан-Микеле. Таково было желание Марии Соццани и некоторых друзей поэта, и вроде бы оно совпадало с пожеланием самого поэта, косвенно высказанным когда-то. (Любопытно думать, что Мария, итальянская аристократка с русскими корнями, словно воплощает в себе извечное тяготение одной культуры к другой.)

Мария рассказывала: «Русские делятся на две категории: на тех, кто обожествляет Францию, и на тех, кто без ума от Италии. ... Иосиф был открыт на многие страны, но с Италией был связан особенно. ... Мы много раз говорили даже о малоизвестных авторах, которых за пределами Италии почти никто и не вспоминает». Сам Бродский нередко замечал, что в Италии он чувствует себя как дома.

Впрочем, для Бродского, который в своей творческой родословной числит оба «драгоценных» века русской поэзии, эта тема началась задолго до эмиграции.

Италия накатывала волнами, порывами нездешнего ветра, наплывала кинокадрами. В начале 60-х Иосиф «носился» с двумя романами Анри де Ренье, и в обоих дело происходило зимой в Венеции («Трофейное»<sup>3</sup>). Потом был «потрясающий цветной снимок Сан-Марко» из журнала «Лайф», принесенного приятелем. И маленькая медная гондола, привезенная отцом. Иосиф только о Венеции и говорил. Видя такое дело, тогдашняя его подруга подарила ему книжку-гармошку из 12 старинных открыток с видами Венеции в сепии. Отпечатанные на плохой желтоватой бумаге, они не столько изображали, сколько пробуждали воображение: время года было трудно определить. Иосиф решил, что это – зима: «единственное подлинное время года».

Венецианские виды эти стали для него тем, что значило в его личном космосе слово «Запад»: «идеальный город у зимнего моря, колонны, аркады, узкие переулки, холодные мраморные лестницы, шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закотившимися

<sup>3</sup> Сочинения Иосифа Бродского. Том VI. – СПб.: Пушкинский фонд, 2003. – 456 с. – С. 20.

запыленными зрочками, – цивилизация, приготовившаяся к наступлению холодных времен». Уже здесь отчетливо читается эхо и итальянской аттракции XIX века, и голос века XX с его эсхатологической интонацией. (А еще видятся мне фактура и цвета тарковской «Ностальгии», снятой много позже.)

В том же эссе есть абзац, мало чем отличающийся от верлибра. Вот что получится, если напечатать его как стихи:

«И, глядя на эти открытки,  
я поклялся себе, что, если  
я когда-нибудь выберусь из родных пределов,  
я отправлюсь зимой в Венецию,  
сниму комнату  
в подвальном помещении, с окнами вровень с водой,  
сяду, сочиню две-три элегии,  
гася сигареты о влажный пол, чтобы они шипели,  
а когда деньги иссякнут,  
приобрету не обратный билет, а дешевый браунинг –  
и пущу себе там же в лоб пулю.  
Декадентская, ясное дело, греза...»<sup>4</sup>

Не напоминает ли это «Александрйские песни» Михаила Кузмина? Да, время другое, и настроение, и солнце, но вслушаемся: «Снова увидел я город, где я родился / и провел далекую юность; / я знал, / что там уже нет родных и знакомых, / я знал, / что сама память обо мне там исчезла, / но дома, повороты улиц, / далекое зеленое море – / все напоминало мне, / неизменное, – / далекие дни детства, / мечты и планы юности, / любовь, как дым улетевшую...» Переключка ассоциаций, вспыхивающих в разных столетиях и странах. Вспомним, например, «Высокую воду венецианцев» Дины Рубиной, где героиня приезжает в Венецию прощаться с жизнью, а уезжает – с новой душевной силой жить.

«Потом возникла венецианка, – пишет далее Бродский. – Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус и вот-вот станет объемным...»

<sup>4</sup> Там же, с. 20-21.



В 1965 г., по воспоминаниям Людмилы Штерн<sup>5</sup>, в кругу Бродского возникли настоящие итальянцы – приехали в Ленинград учиться в аспирантуре. Далекие по происхождению, воспитанию и жизненному опыту, они оказались близкими по духу и культуре. Это были юноши и девушки, красивые, любопытные, открытые, с чувством юмора относившиеся к невзгодам советского быта, ценившие дружескую заботу. И, как оказалось позднее, щедрые и гостеприимные. Приезжая в Италию, и Бродский, и Штерны непременно гостили у них – например, у Фаусто Мальковати на острове Иския. Бродский посвятил ему стихотворение «Иския в октябре».

<...>Рыбак уплывает в ультрамарин  
от вывешенных на балкон перин,  
и осень захлестывает горный кряж  
морем другим, чем безлюдный пляж.

Дочка с женой с балюстрады вдаль  
глядят, высматривая рояль  
паруса или воздушный шар —  
затихший колокола удар.

Немыслимый как итог ходьбы,  
остров как вариант судьбы  
устраивает лишь сирокко. Но  
и нам не запрещено

хлопать ставнями. И сквозняк,  
бумаги раскидывая, суть знак  
– быстро голову поверни! -  
что мы здесь не одни.

<sup>5</sup> Л.Я. Штерн (р. 1935) – русский писатель, переводчик, журналист. Живет в Бостоне. С Бродским познакомилась около 1959 г. Семья Штернов поддерживала дружеские отношения с ним до конца его жизни. Воспоминания Л. Штерн «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» (М., 2001) – одна из лучших книг о нем.

<...>Мало людей; и, слышав “ты”,  
здесь резче делаются черты,  
точно речь, наподобье линз,  
отделяет пейзаж от лиц.

И пальцем при слове “домой” рука  
охотней, чем в сторону материка,  
ткнет в сторону кучевой горы,  
где рушатся и растут миры.<...>

#### «Зыбкие, бледные дали венецианских зеркал»

Посвященное Венеции большое эссе «Набережная неисцелимых», изданное отдельной книгой, Бродский написал в 1989 г., по просьбе «Консорциума Новая Венеция», который ежегодно заказывал произведение искусства, воспевающее город.

Верный видениям юности, поэт любил приезжать туда зимой. Он говорил – потому что краски выразительнее, формы четче и туристов меньше. Но, возможно, дело еще и в том, что зимняя Венеция – вода, прохлада, камень, древность – ощутимо приближала его к родному Ленинграду-Петербургу. Всегда тоскуешь о чем-нибудь, что тебе недоступно. Особенно если в том городе остались любимые и стареющие родители, которых ты больше никогда не видел; женщина, которую ты так долго и трудно любил; сын, любить которого оказалось тоже трудно...

Многие, впрочем, разделяют мнение Льва Лосева, что родственное чувство к Венеции, нельзя объяснять «банальным сравнением» ее с Петербургом. «Родным ощущается скорее некий кумулятивный образ Венеции, венецианский текст, воспринимаемый с детства в контексте родной культуры». Но я не была бы столь категорична. Скорее, образы Венеции и Петербурга перетекают друг в друга, создавая некий целостный образ.

Комментируя собственную книгу, Бродский пишет: «...предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды “не в то время года”. Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое».

Вода для Бродского – образ времени. А «это та же вода, что неслась ... всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говоря уж – бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам... вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее».

Венеция для Бродского символизирует абсолютную красоту, а также начало творения мира и начало жизни. Вода связана с музыкой, в том числе и с музыкой речи, с поэзией, с течением мысли.

«Водная стихия в потенциале содержит в себе все, как все содержит в себе Венеция, рожденный водой город. Как и вода, он собирает воедино разные сферы бытия, связывая концы и начала, ибо Венеция в системе Бродского олицетворяет собой тот момент, когда красота уже воплотилась в твердь, но еще не отделилась от воды». (Н. Меднис, knnr.ru )

Однажды утром, перед отъездом из Венеции, в одиночестве позавтракав жареной рыбой и вином и выйдя из trattoria под ясное небо, Иосиф испытал прилив безграничного счастья:

«...я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животом счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь – или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня...»

Интересно размышление Нины Меднис: «Именно этот образ ... не случаен для Венеции вообще и Венеции Бродского, в частности. Вездесущие представители рода кошачьих, которые в системе исторических аналогий так раздражали Пастернака, для Бродского – естественные и полноправные обитатели водного города. Лев для него становится знаком всего, что связано с Венецией, в том числе и в его собственном творчестве». (knnr.ru)

В «Набережной...» он пишет: «В этом городе львы на каждом шагу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку моей книги: то

есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду».

«Тонуший город, где твердый разум  
внезапно становится мокрым глазом,  
где сфинксов северных южный брат,  
знающий грамоте лев крылатый,  
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,  
в плеске зеркал захлебнуться рад».  
«Лагуна», 1973

Зимняя Венеция Бродского – точно не «рай полуденный». В каменных стенах дико холодно, поэт и его подруга тянут жребий, кому спать у стенки, укутываясь во все возможные теплые одежды. В конце концов он заболевает, и испуганная итальянка спешно отправляет его в Париж. На следующий год Иосиф опять придет в Венецию зимой. И так каждый год, на неделю, на месяц, – как получится. Потому что «любовь больше того, кто любит». Мало в каком тексте Бродского столько холода, боли, даже страха, но и любви.

Зимняя Венеция Бродского в «Набережной неисцелимых» – это, в первую очередь, он сам. Как и все прочие города и места, о которых он когда-либо писал. Это его взаимоотношения с этим городом, его внутренний монолог; это атмосфера, которую создают оба соучастника текста – и поэт, и город; эта проза по сути – поэзия.

Поэтому, сдается мне, нет смысла упомянутым в «Набережной...» персонажам обижаться или гневаться на упоминания о себе и искажения фактов – в определенном смысле это и не они вовсе. Но их трудно было переубедить.

Прекрасная венецианка – это графиня Мариолина Дориа де Дзулиани, с которой Бродский был знаком еще в России и считал «бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг». Ныне профессор славистики, она увлекалась русской культурой, переводила Маяковского. Портрет ее восхитителен: «...тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических

очертаний устах и с ослепительной улыбкой...» и т.д. Однако некоторая фамильярность автора не понравилась заказчику – президенту консорциума Луиджи Дзанда. По словам графини, он счел, что это бросает тень на честь знатного рода Дория, и имя Мариолины было удалено из текста.

Госпожа Дория также уточнила, что ревнивый поэт напрасно подозревал ее в романе с Мерабом Мамардашвили, который тоже анонимно и нелицеприятно упомянут в тексте. А мужем «прекрасной венецианки» тогда был не архитектор, а инженер Гвидо Рункали, и он вовсе не строил зданий, которые так не понравились поэту...

Да что вы хотите, если даже сама «Набережная неисцелимых» («Fondamenta degli Incurabili»), давшая название всей книге, упоминается в ней всего один раз, и в реальности ее нет. То есть, она существует, но как набережная Дзаттереб.

6 Старое название набережной (Fondamenta degli Incurabili) дал госпиталь и прилегающие к нему кварталы, в которых средневековый город содержал больных чумой. Бродский предпочел не буквальный перевод («набережная неизлечимых»), а более поэтический вариант. В некоторых источниках указано, что набережной в 2010 г. в честь Бродского было возвращено старинное название, но карты этого не подтверждают.

В общем, отражения в воде. Превращенный мир.

При всем этом – полностью соглашусь с Джоном Апдайком – эссе «восхищает тонким приемом возгонки, с помощью которого из жизненного опыта добывается драгоценный смысл. Эссе „Набережная неисцелимых“ – это попытка превратить точку на глобусе в окно и мир универсальных переживаний, частный опыт хронического венецианского туриста – в кристалл, чьи грани отражали бы всю полноту жизни... Основным источником исходящего от этих граней света является чистая красота» (TheNewYorker, 13 July 1992).

«Италия – это сон...»

«Поэтически, словно рондо, завершится его странствие по миру. Первые стихи о Венеции написаны в декабре 73-го, по-

следние – в октябре 95-го»(П. Вайль).Декабрем 1973 г. датирована «Лагуна», где Венеция названа «тонущий город». В личном пространстве поэта возникают и другие города («Римские элегии», «Декабрь во Флоренции», «Лидо»).

Поразмыслив, я поняла, что анализировать стихи – дело благодарное, пересказывать – бессмысленное, а цитировать (хочется же целиком) – долгое. Так что ничего этого я делать не стану. Но несколько слов еще скажу.

В «итальянских» стихах Бродского местам и звучит мироощущение иной эпохи (его куда меньше в прозе) – тот великолепный золотой свет, серебро и лазурь, о которых я говорила в начале:

Я был в Риме. Был залит светом.  
Так, как только может мечтать обломок!  
На сетчатке моей – золотой пятак.  
Хватит на всю длину потемок.  
«Римские элегии», 1981

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,  
оставляя весь мир – всю синеву! – в тылу,  
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,  
и сдается стеклу.  
«Венецианские строфы», 1982

...И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней  
сильно сверкает, зрачок слезя.  
«В Италии», 1985

В этом стихотворении – явная цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Золотая голубятня у воды...»

У Анны Андреевны было еще одно высказывание, в прозе, которое Бродский любил повторять: «Италия – это сон, который возвращается до конца ваших дней».

**Елена Гершанова (Джеро)**

## **ГОВОРЯЩИЕ СТАТУИ РИМА**

Знаете ли вы, что в Риме обитают “говорящие” статуи? Не артисты в гладиаторских одеждах, которые фотографируются с туристами на Римском Форуме. Не игрушечные копии Уст Правды, “предсказывающие” будущее за несколько монет. Нет, я говорю о настоящих статуях. Говорящих. Обычно на итальянском, реже на французском, а кое-кто еще не забыл латынь.

Например, Пасквино (Pasquino), что разглагольствует на одноименной пьядце сразу за Дворцом Памфили. Пасквино – античная скульптура, которую нашли в 1501 году при закладке фундамента одного из палаццо. Что эта скульптура собой представляла, без подготовки сказать трудно. Принято считать, что это Менелай, выносящий с поля боя Патрокла (желающие могут прочесть о них в «Илиаде» Гомера). По одной из версий свое имя Пасквино получил в честь учителя ближайшей гимназии, который то ли был самым остроумным в округе, то ли самым нелюбимым среди учеников.

Эти самые ученики, скорее всего, и начали по ночам прикреплять к статуе записки с шутками об учителях. Потом к забаве подключились взрослые, и темы «речей» Пасквино резко изменились: он начал вещать о политике, экономике и новостях из жизни тогдашних звезд.

Очень скоро статуя превратилась в проблему для римских пап – ведь они служили неиссякаемой темой для «пасквинат», как в народе называли «высказывания» Пасквино. От этих самых пасквинат и произошло слово «пасквиль» (сочинение, содержащее карикатурные искажения и злобные нападки, как рассказывает нам «Википедия»).

Папы долго думали, как же им Пасквино истребить, все больше склоняясь к утоплению в Тибре, но здравый смысл победил, и возле статуи выставили круглосуточный караул. Власти добились своего – Пасквино замолчал... Временно, разумеется.

Другом Пасквино был Марфорий (Marforio), с которым они частенько переговаривались. Вот пример их диалога о папе Сиксте V. Папа был крестьянских корней, и после его избрания сестра понтифика сделалась знатной дамой. Марфорий спрашивает у Пасквино: «Эй, Пасквино! Почему ты такой грязный? Твоя рубаха черна как у какого-нибудь угольщика!» На что Пасквино отвечает: «Что поделаешь? Моя прачка стала принцессой!».

Марфория можно навестить во дворе Нового Дворца, что на Капитолийской площади. Он родился в I веке до нашей эры, и римляне уверены, что статуя изображает бога Тибра, их любимой реки. Некоторые, правда, утверждают, что это Нептун, Юпитер или Океан, но те по большей части стоят (как в фонтане «Треви»), а вот реки лежат (как на перекрестке Четырех фонтанов).

Что же это за имя такое, Марфорιο? Статуя была обнаружена на Форуме Августа неподалеку от античного храма Марса Мстителя, в районе, который в средние века назывался Марсовым форумом (Martis Forum). Есть, правда, и другая гипотеза, утверждающая, что дело в ныне утерянной табличке на статуе, гласившей “Mare in Foro” (Море на Форуме).

Буквально через дорогу, в уголке между дворцом Венеции и базиликой Сан-Марко пристроилась Мадам Лукреция (Madama Lucrezia) – единственная «говорящая» статуя-женщина. Странное имя для трехметровой статуи, да? Но в Риме ничего не называют просто так, всему есть причина (просто некоторых мы не знаем). Дело в том, что на этой площади проживала Лукреция д’Аланьо, любовница короля Неаполя Альфонса V Арагонского. То есть сначала она, разумеется, была «прописана» в Неаполе, но после смерти короля кардинал Пьетро Барбо пригласил красавицу пожить у себя.



Это об имени. А о самой статуе известно лишь то, что она стояла в античном храме богини Изиды, культ которой был очень популярен в Древнем Риме.

«Изречения» Мадам не уступали мужским. В 1591 Папа Григорий XIV, чувствуя приближение смерти, в надежде поправиться переехал во Дворец Венеции, расположенный в двух шагах от Мадам Лукреции. Высоченная ограда вокруг дворца изолировала понтифика от людей и производимых ими звуков. Когда он все-таки умер, Мадам Лукреция холодно заметила: «Смерть нашла калитку».

В прошлом народ собирался перед базиликой Сан-Марко на всяческие демонстрации и праздники, особенно популярным из которых был «бал бедняков», проводившийся 1 мая. Кого только не было на этом балу – не самая образованная, но очень бойкая молодежь, калеки, убогие, нищие, но веселые в этот день обитатели Рима. Мадам Лукреция в честь праздника получала бусы из лука, чеснока и острого перца.

Неподалеку от Мадам, на тихой улочке Лата, безвылазно торчит в буквальном смысле – барельеф – Носильщик (Faschino). Этот фонтан, действующий и сегодня, – работа Якопо дель Конте, хотя некоторым историкам очень хочется приписать его Микеланджело. Придумали тоже, разве «Носильщик» похож на «Давида»? Не очень, прямо скажем. Он похож на Аббондио Рицио, того самого носильщика, в честь которого и сооружен. Очень, кстати, прибыльная была профессия – носильщики, они таскали воду из Тибра и из фонтана Треви и продавали ее прямо на улицах или с доставкой на дом. Это продолжалось почти до конца XVI века, когда, наконец, починили античные акведуки, и ремесло потеряло всякий смысл.

Раньше фонтан красовался на соседней улице Корсо, но там его задевали проезжающие мимо экипажи и обстреливали камнями мальчишки, поэтому в XIX веке Носильщика сдвинули с фасада на торец того же здания. Правда без таблички, которая ранее возвещала, что Аббондио Рицио «таскал груз, какой хотел; жил, сколько мог; но однажды, с вином в бочке на плече и внутри себя, умер против собственного желания».

Ну, главное, что жил как хотел!

Идем дальше, на площадь Видони, в гости к Аббату Луиджи (Abate Luigi). Разве это аббат, скажете вы, ведь он больше напоминает одетого в тогу консула или оратора Древнего Рима. Да, прототипом для античной статуи, безусловно, послужил благородный консул или оратор... который как две капли воды походил на аббата по имени Луиджи, жившего через несколько веков. Сходство было трудно не заметить – аббат служил в церкви Плащаницы, возле которой статуя обитала некоторое время – ее часто переносили с места на место. Но судьба не баловала «Аббата Луиджи». Где бы он ни стоял, постоянно какие-то вандалы лишали его головы. Неясно, почему они выбрали именно статую Аббата Луиджи. Может, хотели, чтобы он сменил имя на «Аббата без головы», но статуя не разделяла их планов, и в 1966 году обратилась к неизвестному вандалу со словами на римском диалекте: «O tu che m'arrubasti la capoccia vedi d'ariportalla immantinente sinn?, v?i v?de? come fusse gnente me manneno ar Governo. E ci? me scoccia.» Что на русский язык переводится так: «О ты, кто украл мою голову, верни ее немедленно обратно, а если нет, знаешь что случится? Меня пошлют в правительство! И это меня беспокоит.» Надеюсь, вы уловили тонкий юмор Аббата Луиджи.

На постаменте Аббата Луиджи высечено:

«Я был гражданином Древнего Рима  
Сегодня каждый зовет меня Аббатом Луиджи  
С Марфорио и Пасквино  
Снискал я вечную славу в городской сатире  
Я пережил обиды, унижения и погребение  
Но здесь обрел новую жизнь и наконец в безопасности».

Последняя говорящая статуя – Бабуин (Babuino) – живет на улице имени себя, via del Babuino. Сейчас там располагаются модные бутики и отели, а в XV веке улица делилась на две половины, одна из которых звалась «Неапольские сады» – поскольку там проживала община из Неаполя, а вторая – улица Кобылы. Нет, не той, которая лошадь, а той, которая орудие пытки, – заостренная сверху деревяшка на двух опорах. На нее сажали жертву с привязанными к ногам грузами. Вес грузов

определялся степенью проступка, конечно же. Вот на этой прекрасной улице папские органы порядка и практиковали данную кобылу. С этим знанием ваш шопинг точно будет незабываемым!

Потом улицу пару раз переименовывали в честь пап – Клементина в честь Климента VII, Паолина в честь Паоло III, даже неинтересно. И вот, наконец-то, в 1571 один из обитателей оной улицы, коммерсант Алессандро Гранди, решил провести в свое жилище водопровод. Чтобы получить папское разрешение пришлось пообещать соорудить фонтан для общественных нужд. В прошлом коммерсанты были не чета нынешним, так что Алессандро пообещал – Алессандро соорудил! Для общественных нужд даже статую древнегреческую не пожалел!

А вот почему коммерсант выбрал именно Силену – воспитателя бога виноделия Диониса – история умалчивает. Может потому, что все приличные статуи, откопанные к тому моменту, уже разобрали. А может, потому что в эллинской мифологии силены считаются духами источников и фонтанов.

Внешний же вид подарка обществу не смущал образованного синьора Гранди – он знал, что силены всегда изображались старыми, толстыми и с овечьей шерстью. Но окрестный народ был не очень в курсе эллинской мифологии, поэтому решил, что это такая обезьяна, бабуин. Так статуя и получила свое имя – Бабуино – и подарила его улице.

Но не все похожие на обезьян статуи начинают говорить. Этой повезло, потому что кардинал Децца, который жил неподалеку, каждый раз, проходя мимо, снимал шляпу и кланялся. Наверное, потому что был близорук... По Риму поползли смешки о кардинале и обезьяне, и статуя сделалась «говорящей». Ее изречения, по аналогии с пасквинатами, которые рождал Пасквино, назывались «бабуинаты».

**Эдуард Бормашенко**

## **МУЗЫКА НА ШПИЛЬКАХ**

Мы присутствуем при рождении нового жанра, представляющего собой смешение концерта классической музыки и стриптиза. Самым ярким представителем этого жанра служит Лора Астанова, представляющая слушателям, и что не менее важно зрителям, синтез Рахманинова и порнографии (как известно, очень трудно в точности определить порнографию, но все наверное знают, что это такое). Одежды на Лоре Астановой совсем немного, но непременно футовые шпильки-каблуки. Как и во всяком ином жанре в нем уже появились оттенки и градации. Прекрасная пианистка Хатия Буниатишвили менее откровенна нежели Лола, но щедро дает зрителям насладиться и Листом и своим незаурядным бюстом. Об этом ярко и эмоционально, как и положено пианистке, писала Елена Кушнерова в очерках «Концерт Рахманинова или Bikini-party» и «Эффект Ланг-Ланг».

Мы попробуем снизить эмоциональный накал и следовать завету Спинозы «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать». А задуматься есть, о чем, ибо мы присутствуем при невероятном, катастрофическом цивилизационном сломе, в первую очередь, вызванному изменением нашего восприятия действительности, определенным асимметрическим устройством головного мозга. 1-3 Правое и левое полушарие головного мозга, заведуют различными функциями, и по-разному обрабатывают поступающую в них информацию. Тысячелетиями мировая культура (уточним, то, что принято называть иудео-христианской культурой) была левополушарной. Хорош или плох был до-телевизионный, левополушарный мир, но он держался на слове, устном и писанном. «Согласно традиционным выводам нейро-

физиологии, у взрослых людей (в подавляющем большинстве случаев правой) левое полушарие считается доминантным, главным. Оно управляет движениями главной правой руки и речью (... некоторые важные функции, связанные с речью, исполняет другое полушарие; в этом смысле термин «доминантный» несколько условен). Функции правого полушария, которое у правой ведаёт левой рукой, до последних лет оставались неясными, хотя удивительная для того времени догадка о них, теперь подтвердившаяся, была высказана английским неврологом Х. Джексоном ещё 100 лет назад. Джексон полагал, что правое полушарие занято прежде всего наглядным восприятием внешнего мира, в отличие от левого полушария, которое преимущественно управляет речью и связанными с ней процессами».1

В левополушарную эпоху, ключевой фигурой был человек наделенный необычайным даром речи: шаман, колдун, пророк, заговаривавшие массы; в Новое Время колдун-говорун мутировал в писателя и поэта. Иногда дар речи был столь велик, что этот медиум выдумывал и язык (Данте, Пушкин). До XX века школа учила в основном, читать, писать и говорить (искусство риторики, заметим, сегодня отмерло вовсе). Реформаторы, затеивавшие переход от классического образования к реальному, воистину не ведали, что творили, запуская механизмы перехода от левополушарного мира к правополушарному. Ведь в ремеслах, инженерии, физике визуальное восприятие мира играет ключевую роль.

С начала XX века, с изобретением кинематографа и трансляции изображения, главнейшим искусством, как верно угадал своим звериным инстинктом Ленин, становится кино. Братья Люмьеры-телевидение-смартфон этапы большого пути превращения мира во все более правополушарный. Наше восприятие мира становится все более визуальным и все менее книжным. Груды книг, подпирающие мусорные баки, – тому свидетельство. Появление в самой большой политике обворожительных деятелей-красавчиков типа Зеленского, отнюдь не случайно; сегодня то, как выглядит политик, отнюдь не менее важно, чем то, как и что он говорит. Гибель умения говорить, вполне естественно повлекла за собой отмирание умения слу-

шать. Да, что политика: отбирая физика-теоретика, отдел humanresources университета при прочих равных условиях, не таясь, предпочтет более лощеного и обаятельного кандидата.

Почти синхронно с кино росла и крепла оглушающая роль музыки. Битлз, РоллингСтоунз и Фредди Меркьюри стали культовыми фигурами в самом точном смысле этого слова, еще более определяя доминирование правого полушария. Действительно, «наблюдения над многими музыкально одаренными людьми в норме позволили прийти к выводу, что правое полушарие ведаёт музыкальным творчеством».1 Как же было объявиться обнаженным скрипачкам и пианисткам, Классическая музыка – эротична, но ее эротизм, скрытый, потаенный, литературный; эротизм темного, мерцающего фона, на котором разворачивается ее таинство. Моцарт – эротичен и без прелестей Лоры Астановой и ХатьиБуниатишвили. И мне и Елене Кущеровойобнаженка мешает слушать музыку. Наше восприятие напоминает поведение больных, перенесших комиссуротомию – операцию, разделяющую два полушария головного мозга, у которых правая рука борется с левой. «Один больной, в частности описывал такой случай: однажды он обнаружил, что его левая рука борется с правой при попытках надеть брюки. Одна рука тянула их вверх, в то время как другая вниз».2 Левое полушарие велит нам одеть пианисток-стриптизерш, а правое хочет слушать музыку и ничего не имеет против их округлостей. Заметим, что очень строгие еврейские кодификаторы равно против Моцарта и обнаженки. Менее строгие не возражают против Моцарта.

Отнюдь не верно думать, что правое полушарие вовсе не имеет отношения к речи. Оно заведует произвольным произнесением междометий, восклицаний, непристойностей.3 Поток обценнойлексики и воплей «вау», заполонивший информационное пространство, свидетельствует о том, что правое полушарие определенно берет верх.

\*\*\*

В связи с вышесказанным заметим, что поперечность евреев современной культуребудет только нарастать, ибо левополушарные евреи навсегда останутся народом Книги.

Впрочем, герметически отгородиться от всего мира – невозможно. Детишки в моей синагоге читают кошерные комиксы, отупляющие и развеселые, по образу и подобию окружающего информационного пространства.

1 Иванов, В. В. Чет и нечет, М. 1978.

2 Спрингер С., Дейч И. Левый мозг, правый мозг, М. 1983.

3 Манин Ю. И. Математика, как метафора, М. 2008.

## СЛОВА И СЛОВА

*Но почему же тогда наши научные статьи по-прежнему выглядят как неорганизованная смесь слов и формул.*

Манин Ю.И. «Математика как метафора»

По неумной, неутолимой и ненасытной своей любознательности я недавно осведомился у толкового профессора, биолога: скажите, коллега, а чем вы, собственно говоря, занимаетесь? В чем предмет ваших научных изысканий? У приятеля по-разбойничьи засветились глазки, было ясно, что прекраснейшая из магометовых гурий не доставит ему удовольствия, сравнимого с предстоящей беседой. Хотите безошибочно выявить, настоящий ученый ваш знакомец или липовый? Спросите профессора о его науке. Суррогатный, волосатухий профессор переведет разговор на другое, непременно сославшись на нежелание мучить собеседника скучнейшими подробностями; настоящий научный маньяк примет стойку гончей на охоте, вздрогнет и заговорит, и как заговорит... И коллега зажурчал.

Рассказ был увлекателен, но еще интереснее было о рассказе рефлексировать. Я быстро сообразил, что о своей работе, я бы так говорить не смог. Мне пришлось бы рисовать и писать формулы. А диалоге с биологом решающее значение имели слова. Слова прекрасно выстроенной, отточенной, литературной, метафорически расцвеченной, русской речи.

Физика, например, давно разучилась говорить человеческим языком. Один из моих учителей Яков Евсеевич Гегузин, еще пытался писать живо, и нас к тому склонял. «Вскоре я принес ...

рукопись своей статьи. Я. Е. прочел рукопись... «По существу замечаний нет, а по форме... Написано бездушно, суконным языком. Не вижу отношения автора к основным результатам. Ты пишешь: «наблюдалось то-то и тот-то». А ведь «то-то» обнаружено впервые. Вот послушай, как прекрасно писали раньше: «Стояла солнечная погода. После утреннего кофе моя помощница мадемуазель Моника приготовила растворы. И, вдруг, о чудо, в первой колбе я увидел долгожданный голубой осадок. А у тебя?» (А. С. Дзюба, Исповедь трудного ученика, в сборнике «Я. Е. Гегузин. Ученый и Учитель. Харьков, Фолио, 2005).

Нет, так сегодня физики не пишут. Со времен Галилея естествоиспытатели знают, что книга природы написана языком математики; Кант не в шутку говорил мне за завтраком о том, что в каждой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Что означает сегодня для физика понять явление? В первую очередь понимание сводится к выявлению скрытой математической структуры, прячущейся за феноменом. Заметим, эту математическую структуру необходимо знать заранее, иначе, как же узнаешь? Ибо «увидеть дерево «ашока» можно лишь после того, как его придумаешь, а кто не знает, что видит синее пятно, его не увидит» (Г. Соколик, «Огненный лед»).

Биологам все еще нужны слова. Биология, между тем, математизируется, превращаясь из описательной науки в количественную, но пока все еще ей необходимы слова. Физикам они нужны в меньшей мере. А математикам почти (это «почти» – чрезвычайной важности) совсем не нужны. Эзотерической секте математиков слова с прислоненным к ним миром нужны менее всего. Им остается только позавидовать. Или посочувствовать. Некоторым, заметим, с миром расстаться легче, чем со словами. Среди них коммунисты и другие верующие.

Как говорит Ю. Манин: «математика – метафора», а метафора есть «соединение похожего с непохожим, при котором, одно не может превратиться в другое» (Дж. Карс «Конечные и бесконечные игры»). Мне кажется, всякая наука – тройная метафора, ибо скрещивает слова, символы и вещи. Просто в математике слов и осколков вещей – менее всего. «Между вещами и идеями навсегда останется бездонная, иррациональная про-



пасть, через которую человек то и дело перебрасывает, ненадежный, качающийся висячий мост из слов и символов» (А. Воронель, «Качающийся мост»). И метафор.

Всякая наука – язык, «а своей основе язык имеет характер метафоры, поскольку независимо от своих намерений он всегда остается языком и тем самым совершенно непохожим на то что он описывает (Дж. Карс)». Для языка математики это и верно, и неверно. Число 5 совершенно непохоже, на обозначаемых им баранов или чашек, а вот прямая линия в геометрии все еще похожа, на линию, проведенную под линейку карандашом. Впрочем, современная геометрия может быть переформулирована так, так, что вместо прямых линий она будет говорить о баранах и чашках. В этом смысле алгоритмические языки программирования – еще не вполне языки, ибо метафоры им пока недоступны. На следующем этапе своего развития они (взгрустнем) заговорят метафорически. Тут, нам двуногим и крышка.

Метафора науки погружена во время. Вещи меняются медленнее чем слова. Атом, о котором говорил Демокрит и атом современной науки – разные объекты (впрочем, атом и электрон уже и не вещи, а математические конструкторы). Клетка для кролика и клетка современного биолога имеют между собой общего лишь то, что ограничивают нечто. Но делящаяся клетка еще вещь, и для ее описания нужны слова. Словосочетание «делящаяся клетка» можно понимать и в лоб, а можно и метафорически: клетка делится со средой энергией, информацией, материей. Рождение новых слов меняет и старые добрые вещи. Слова «ген», «генетический» изменили в биологии многое, привычное и устоявшееся. Слово «квант» изменило и взгляд на знакомые явления. «Квант света» – метафора, куда более сложная и далекоидущая, чем навязший в зубах со школьных времен «носик чайника».

Появление в человеческом языке метафоры – революция, по сравнению с которой, изобретение колеса – ничто. Лингвисты предполагают, что на ранней стадии развития языков, метафоры в них отсутствовали, разумно говоря о том, что у метафоры две функции: художественная и познавательная. Математика стремясь к предельной однозначности, избавляется от слови метафор, в некотором смысле, проходит ее обратное развитие к пра-языкам.

Прочитайте навскидку статью из современного математического журнала. Редкая птица долетит до ее середины, ибо она написана для посвященных, знающих, что именно означают символы и кванторы. Однако, плотность информации на квадратный сантиметр текста в ней максимальна, у физиков она пожиже, а у биологов пока еще пореже, нежели у физиков. Слов у биологов побольше. Замечательный физик и мыслитель Ю. Вигнер, говорил о непостижимой эффективности математики в точных науках, так ли уж она непостижима? Математика избавляется от слов их расплывчатостью и неоднозначностью. В математических статьях символы перемигиваются с символами. Но пока слова еще у математиков встречаются, связывая математику с миром и сознанием математика. Заметим, что символы меняются медленнее слов и вещей, поэтому математика бессмертнее других наук.

В современной компьютерной цивилизации мы по старинке запаковываем слова в двоичный код, а потом распаковываем. На следующем витке компьютерной цивилизации этот явно ненужный этап будет исключен; слова будут выкинуты за ненадобностью. Программы будут в тишине общаться с программами. Впрочем, это уже и происходит. Возможен и другой сценарий (мы уже фантазировали на эту тему), в компьютерных языках появятся метонимии и метафор.

Впрочем, статьи по теории струн уже тоже написаны для посвященных. Предметный мир струнникам не надобен. Хотя они полагают себя физиками. Математика, оказавшись агрессивным знанием, выдавила из современной физики слова и вместе с ними вещи. Теория струн – очаровательный математический монстр, столь же математически прекрасный сколь и физически бессмысленный. Статьи по теоретической химии постепенно приближаются к экзерсисам по физике, потихоньку становясь доступными узкому кругу начетчиков. Скорбный путь физики и химии должен бы насторожить биологов, но пока они восхищенно впитывают новейшие математические веяния. С интересом узнал об интенсивном проникновении топологических идей в биологию. Если дело пойдет в том же темпе, клетки организмы биологам вскорости не понадобятся.

\*\*\*

*... возникновение языка и сознательных рассуждений позволило человечеству повысить уровень бессознательных вычислений и здравого смысла, а в дальнейшем до уровня теоретического мышления.*

Манин Ю.И., «Математика как метафора»

Возникновение речи – величайшая революция в истории человечества. Слова реализуют первое упорядочение, разбиение мира. Математика возникает позднее и переупорядочивает мир. В научном творчестве слова играют все меньшее значение, а математика все большее. Эйнштейн писал в письме Адамару: «Слова или язык, как в устной, как в устной, так и в письменной форме, по-видимому, не играют никакой роли в механизме моего мышления. Психические сущности, которые, по-видимому, и являются элементами мышления – это определенные знаки и более или менее отчетливые образы, которые могут «произвольно» воспроизводиться и комбинироваться по собственному желанию... В моем случае, упомянутые элементы носят визуальный и моторный характер. Общепринятые слова или другие знаки мне приходится подбирать только на второй стадии, когда упомянутые ассоциативные связи приобретают отчетливые очертания и могут быть воспроизведены по моей воле».

Еще более определенно высказывался генетик Френсис Гальтон «Для меня серьезную трудность представляет письмо, а еще большую словесное изъяснение... Часто случается, что проделав большую работу и получая результаты, которые мне абсолютно ясны и вполне меня удовлетворяют, при попытке выразить их словами я сталкиваюсь с необходимостью переводить себя в совершенно иную интеллектуальную плоскость. Мне приходится переключать свои мысли на язык, который не слишком-то хорошо им соответствует».

С Гальтоном вполне согласен Жак Адамар (в это трудно поверить, но скончавшийся в 1963 году Адамар успел побывать «дрейфусаром»). Крупнейший математик и механик, Жак Адамар, писал так: «Я утверждаю, что слова полностью отсутствуют в моей голове, когда я действительно предаюсь раздумьям ... и

я полностью согласен с Шопегаузром, когда он пишет: «Мысли умирают, в момент, когда воплощаются в слова» (цит. по Р. Пенроуз, «Новый Ум Короля», УРСС, Москва, 2005). О том же писал и Моцарт. Сочинение музыки происходит вне языкового слоя сознания.

В моем мышлении слова неистребимы, наверное, поэтому я не слишком хороший физик. И оттого же меня манит философия. Ибо убедительность философии не в ее соответствии действительности, и отнюдь не в ее логичности. Убедительность философии – убедительность текста, метафоры, слова.

1. Елоева Ф. А., Перехвальская Е. В., Саусверде Э. Метафора и Эвристическая функция языка (бывает ли язык без метафор?), Вопросы Языкознания, 2014, 1, 78-99.

## **Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”**

Возможна ли философия в современном мире?

Как сложить мозаику, включающую узор заповедей  
и паутину уравнений современной физики?

Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?

Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,  
предлагает запись своего духовного опыта

и размышления о текстах,

сформировавших его внутренний мир.

Книгу открывают автобиографические зарисовки.

Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц.

Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.

Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко  
пересылать по адресу:

Ariel, 40700, P.O. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.

Электронный адрес автора: [edward@ariel.ac.il](mailto:edward@ariel.ac.il)

**Виктор Бен-Ари**

## **ЗАПИСКИ ТЮРЕМНОГО ЭСКУЛАПА**

Как я дошёл до жизни такой?!

Судьбе было угодно, чтобы на одном из этапов своей профессиональной карьеры я стал безработным. Диплом о высшем образовании автоматически причислял меня к категории “безработных интеллигентов”, имеющих “свою”, отдельную биржу труда. Исполнив необходимые формальности, я попал в руки мастера своего дела: смысл жизни этой дамы состоял в изыскании для безработных докторов таких должностей, на которых их профессиональный талант смог бы раскрыться во всей красе. С этой интеллигентной, не лишённой чувства юмора дамой мы быстро нашли общий язык. Наше еженедельное общение (как того требовала инструкция) было обоюдно приятным. Мы обменивались свежими анекдотами, обсуждали кинопремьеры, спектакли и выставки, иногда вскользь касались политики, но ни разу не заговорили о медицине.

На одной из таких встреч моя кураторша как бы между прочим сказала:

“Кажется, ты когда-то был психиатром?”

Сказано это было больше утвердительно, чем вопросительно, поскольку ей были хорошо известны все подробности моей небогатой трудовой биографии.

“Было дело “ – легкомысленно ответил я, не предполагая, что это признание повлечёт за собой так далеко идущие и в чём-то роковые последствия.

“Вот и отлично – сказала она. Сходи – ка ты в гости к тюремным психиатрам. Им как раз нужен врач. А вдруг что-то и выгорит”.

В течение 5-ти минутной беседы в отделении судебной психиатрии всем стало ясно, что я абсолютно не тот человек, которого здесь ищут. Когда я уже собирался уходить, доктор, которой всего несколько минут назад не удалось приютить меня в психушке, неожиданно вспомнила:

“Постой-ка. Кажется, нашим соседям тоже нужен врач. Пойдем я тебя им представлю. Может быть, там тебе повезет больше “.

Она взяла меня за руку и перевела через узкий коридор. Сделав этот маленький шаг, я оказался в совершенно ином мире.

Не утруждая читателя техническими подробностями, скажу только, что через неделю после той “исторической” беседы я стал частью медицинской службы тюремного ведомства Израиля. А через полгода, надев погоны, превратился в равноправного члена семьи “гулаговских лепил”.

\*\*\*

Все годы, проведённые “в неволе”, я старался, как мог: по мере сил и ограниченных профессиональных возможностей лечил “мальчиков и девочек”, стремясь хоть чем-то облегчить их душевную и физическую хворь.

Пациенты приходили и уходили. Большинство из них, рано, или поздно, возвращались на очередной виток. Я же терпеливо ждал их на том же месте. Они меня помнили, я их, естественно, нет. Ведь заключенных много, а доктор один.

На одном из бесконечных приемов прибывший со свежей партией заключённых незнакомый мне молодой человек заметил:

“А ты, доктор, когда служил на юге, курил отечественные сигареты. А теперь куришь американские”.

Сказано это было не в упрек, не из чувства ущемленного патриотизма, а просто так, как констатация факта. Я был поражён, хотя виду и не подал. Сам же для себя сделал вывод: окружающие меня люди, хоть и мелькают, как картинки в детском калейдоскопе, видят и слышат многое из того, что не предназначено для их глаз и ушей. Находясь за рабочим столом, я, в отличие от моих подопечных, мало что вижу, почти ничего не

слышу, а из того, что непосредственно не связано со здоровьем пациента, почти ничего не допускаю в сознание. В такой структуре, как тюрьма, невозможно постоянно находиться в сознательном контакте с окружающим миром. Для того чтобы удержаться на плаву, нужны хорошие фильтры, прочные заслонки и умение абстрагироваться от окружающей реальности. И, тем не менее, несмотря на выработавшийся с годами иммунитет, кое-то из увиденного, услышанного и пережитого всё-таки просочилось внутрь, застряло занозой в памяти, оставило шрамы в душе и синяки в сознании. Любой, даже ничтожный эмоциональный довесок к этой ноше делает ее еще более обременительной и менее пригодной для восприятия.

Прошли годы. Наступил момент, когда, я почувствовал, что уже не в силах тащить на себе эти неподъемные тюки человеческой злости и агрессии. Надежда избавиться от внутри-тюремной реальности и потребность в ассенизации души и мозга и привела меня за письменный стол.

\*\*\*

Стандартное утро в “моей” тюрьме – начало обычного рабочего дня внутри замкнутого пространства, не похожего ни на какой другой мир. Внешне здесь все дни схожи между собой, как однояйцевые близнецы. На самом деле, они отличаются друг от друга абсолютной непредсказуемостью событий, нестандартностью ситуаций, несхожестью проблем и неординарностью решений. Здесь ярче, чем где бы то ни было, проявляется диалектический принцип единства и борьбы противоположностей.

Мой рабочий день открывается отработанным до автоматизма ритуалом вступления в тюремные ворота, когда по коридору разносится громкий голос:

“Дверь, пожалуйста”. (Почти, как: “Сезам, откройся!”).

Голос принадлежит мне, но слышу я его так, как будто он доносится откуда-то издалека. Хочется верить, что этот феномен вызван только акустикой тюремных коридоров, а не “голосами”, обитающими в моем сознании. В ответ на мое искреннее желание поскорее попасть внутрь заветной обители, слышен громкий щелчок электрического замка. Еще миг – и я уже внутри.

Усевшись в рабочее кресло, я в первую очередь достаю из тумбы стола ёмкость с надписью “Пиво Маккаби”. Работающий в амбулатории зек, не говоря ни слова, забирает этот сосуд и скрывается во “внутренних покоях” амбулатории. Через несколько минут он возвращается, бережно неся перед собой полулитровую кружку, до краёв наполненную тёмной жидкостью. Воздух в амбулатории моментально наполняется запахом свежеприготовленного кофе. Всю первую половину дня этот сосуд будет неотъемлемой частью натюрморта на моем рабочем столе. К концу утреннего приёма кофейная жидкость в бокале уже холоднее воды в озере в конце осени, а ее объем едва покрывает дно кружки.

Всё, что произошло внутри тюремных стен за время отсутствия врача, обязательно должно пройти через его руки. Любая бумажка медицинского содержания с нетерпением ожидает автографа эскулапа. Глупость, но написанная и заверенная кем бы то ни было, становится юридическим документом, способным в дальнейшем спасти, или погубить любого работника системы. Эту гору бумаг следует внимательно прочесть, рассортировать по срочности и важности, подписать, а потом вывалить на стол к помощнику. Зарегистрированная в толстом журнале, каждая бумага навечно исчезает в предназначенной ей архивной ячейке. В этом замкнутом пространстве всё развивается циклично, как в диалектике: я – им, они – мне обратно. Вся деятельность персонала амбулатории наполнена ощущением, что каждый из нас постоянно пытается ухватить зубами собственный хвост, прекрасно понимая, что все эти усилия тщетны.

Бывает момент, когда мой стол на несколько минут пустеет от бумаг. Это зрелище создает мимолетную иллюзию отлично выполненного задания. Но этот не больше, чем фикция. Еще миг – и всё начинается сначала. Бумаги, подписи, типы, лица, рожи, образы и образины.

Не выходя из-за стола, тюремный эскулап может проводить ежедневные конкурсы на звание:

“Рожа сегодняшнего дня”.

Их победитель получит право на участие в соревновании “Рожа месяца”, в надежде выйти в финал, тем самым став участником конкурса: “Рожа года”.



Апофеозом этой коллекции, несомненно, будет “Самая Рожистая Рож” моей тюремной карьеры. Но это уже не в моей компетенции. Этот титул сможет присвоить лишь читатель, познакомившись с героями моих очерков.

### Мои подопечные.

За более чем полтора десятка лет, проведенных “в неволе”, мне редко встречались лица. В основном это были “типы”, “типичики”, “субъекты”, “образы” и “образины”. Эти существа нетвердо стоят на нижних конечностях. Их руки направлены исключительно на захват всего, что находится в пределах досягаемости. Слуховой аппарат этой категории индивидуумов настроен на единственную звуковую волну: они умеют слышать только самих себя. Их глаза видят лишь то, что плохо лежит. Они постоянно заняты поисками тех, кому можно безнаказанно нанести ущерб. Их осязание безошибочно воспринимает только запах крови. Из всех чувств, присущих любому живому организму, здесь превалируют чувства злобы, агрессии, неудовлетворённости, удачно сочетающиеся с жадностью, садизмом и садомазохизмом. Рядом с этими извращенными рефлексами успешно уживаются чувства любви и глубокой жалости, но исключительно к самим себе. Поступками преступников движут моральная ущербность и духовная нищета.

Люди, обладающие физической неполноценностью, как правило, преодолевают этот недостаток и остаются здоровыми членами общества. Лица с душевной ущербностью всю жизнь проводят в преступлениях и умирают в тюрьме или под забором, накаченные наркотиками и алкоголем. Иногда смерть настигает их в разборках, освобождая близких от тяжкой необходимости контакта с такими родственниками. О таком человеке все стараются забыть уже на второй день после похорон. С уходом из жизни каждого из них воздух становится чуть-чуть чище, позволяя остальным дышать немного легче. Но, к сожалению, ненадолго. Где-то рядом уже рождается новый преступник. Он, правда, ещё не знает, что ему уже приготовлено место в преступном мире нового поколения, но его мать-заключённая чётко представляет себе тот путь, который пройдёт

её “чадо”. Ведь ничего другого ни ей, ни ее младенцу на планете не ведомо. Таких людей Ломброзо объединил в группу “врождённых преступников” – лиц, постоянно ищущих возможность совершить преступление. А этих возможностей вокруг нас великое множество. Были бы генетика и среда.

Офицер.

*Оборотень – в мифологических представлениях, сказках – человек, обращенный или обладающий способностью обращаться с помощью волшебства в какого-нибудь зверя или в какой-нибудь предмет.*

Д.Н. Ушаков. «Толковый словарь русского языка»  
т. 2. стр.153 М. 2001

*Склонность к агрессии является первичной врожденной инстинктивной чертой человеческого характера.*  
Зигмунд Фрейд

Глава первая. Тронная речь

«Не смотрите, что на мне форменная рубашка с этими железяками на плечах. Я такой же, как и вы. Я только случайно оказался по другую сторону стены.»

Этой фразой имел обыкновение начинать свою речь заместитель начальника тюрьмы всякий раз, когда ему приходилось принимать под свою опеку новую партию заключенных. Лишь хорошо знавшие его люди могли оценить, до какой степени этот человек был искренен с подопечными. Новички еще не до конца осознавали, что на несколько долгих месяцев (или лет) хотят они того, или нет, этот офицер станет для них “роднее отца родного.” Ведь только он наделен правом в любой момент наказать или поощрить заключенного. Когда встанет вопрос о досрочном освобождении, выведенная корявым почерком этого малограмотного человека подпись сыграет решающую роль в

судьбе каждого из них. Но все это будет еще очень нескоро. Пока же нужно постараться прижиться на новом месте, отыскать ту нишу, где можно будет сносно пережить срок, отпущенный каждому из них законом на перековку души.

Старший офицер в отличие от подневольных обитателей тюрьмы, сохранил за собой право относительно свободного передвижения по зоне и выхода за ее пределы. Однако, у него почти не было надежды на досрочное освобождение или амнистию. В отличие от этого “монстра в погонах,” его подопечные, отмотав срок, выходили на свободу. Попав в следующий раз за решетку, они заставляли его, как и прежде, на боевом посту. Каждая новая лычка на рукаве (а позднее звезда на погонах) оставляли свой четкий след на походке этого человека, интонациях голоса, лексиконе, а главное – на мировоззрении. Преступникам, помнившим его еще молодым, бросались в глаза залысины на черепе, морщины на лице, выпадающий из брюк живот. С каждым годом усиливались одышка при ходьбе, тяжесть во взгляде, нетерпимость и вспыльчивость по отношению к окружающим. Не человек красит место, а место делает человека уродливым, кромсает душу, иссушает мозг и притупляет чувства. Обычно это происходит по отработанной схеме, верной для большинства работников такой специфической структуры, как тюремная.

\*\*\*

Сегодня любой, кто хочет сделать карьеру на поприще охраны и перевоспитания заблудших душ, обязан представить документы, доказывающие его положительный ментальный и эмоциональный потенциал. Здесь даже не станут разговаривать с теми, у кого нет законченного среднего образования со сносными оценками в аттестате зрелости. Нечего надеяться быть принятым на работу в тюремное ведомство, предварительно не отслужив три года в армии. Если у “соискателя” на должность тюремного охранника кто-нибудь из родственников побывал за решеткой, его шансы получить работу резко падают. Помимо всего прочего, для того, чтобы “попасть в тюрьму,” нужно сдать экзамены. Цель такого тестирования – выявление скрытой душевной агрессии, готовности идти на неблагоприятные

сделки, гнуться и ломаться под влиянием уголовной среды. Стремление к легкому обогащению, алчность и страсть к наживе исключают возможность надеть голубую форму и получить в руки связку ключей.

Однако, так было далеко не всегда. Охрана в израильском тюремном ведомстве 80-х годов прошлого века выглядела иначе. Любого, готового идти служить в это ведомство, здесь принимали с распростертыми объятиями. Охранник, приведший на работу друга или родственника, получал премиальную неделю отпуска. Умевшие бодро читать и писать без вопиющих грамматических ошибок, быстро продвигались вверх по служебной лестнице, занимая просторные апартаменты начальников тюрем. В их рабочих кабинетах в рамке под стеклом, на самом почетном месте, обычно красовалась бумага, свидетельствующая, что ее обладатель прослушал курс средней школы. Документ скромно умалчивал о том, что его хозяин не был допущен к выпускным экзаменам по причине плохой успеваемости, разгильдяйства или низкой, стремящейся к абсолютному нулю посещаемости. С годами у таких тюремных старожилов наряду с привычкой одним росчерком пера решать судьбы людей, росла и крепла внутренняя агрессия. Нормальных, некогда здоровых людей тюремная жизнь ломает, а обладателей душевных изъянов делает сильными, уверенными в себе и счастливыми. Ведь каждый охранник по роду службы является вершителем человеческих судеб. Вместе со связкой ключей он получает право наказать заключенного, лишить его привилегий, свиданий с родственниками, или, наоборот, пристроить в “хорошую” камеру и дать “хлебную” должность. Нигде, кроме тюрьмы, морально исковерканные личности не чувствуют себя полноценными хозяевами жизни.

Во всем мире тюрьмы “открыты” круглосуточно, без выходных и праздников. Следовательно, и охрана здесь постоянно при деле. Заступив на смену, охранник оказывается в непрерывно бурлящем котле: 4 часа на посту, 4 часа передышки. И снова работа, затем опять короткий отдых. Лишь спустя сутки можно передать вахту коллеге и отправиться домой. Это в теории. На практике же этот “идеальный” режим работы почти никогда не выдерживается. В часы, отведенные для отдыха,

охраннику всегда найдется, чем заняться. Нужно отвести заключенного к врачу, адвокату, поприсутствовать в комнате свиданий – переделать массу мелких, необременительных, но необходимых дел. На свою следующую четырехчасовую вахту в барак или на вышку он должен заступить вовремя, чтобы сменить товарища. И неважно, успел ли он хоть часок соснуть, или что-то перекусить. Охранник, заступивший на суточное дежурство, может рассчитывать в лучшем случае на четыре часа сна за смену. Такая возможность может представиться утром, днем или, если повезет, ночью. В любое время нужно быть готовым упасть на койку и провалиться в сон. С годами привычка ментально засыпать на месте превращается во вторую натуру.

Наконец смена закончилась. Тяжелые железные ворота “родной” тюрьмы остались за спиной на целых двое суток. Отпущенное для отдыха в лоне семьи время наш герой проводит весьма своеобразно. Когда члены семейства, намаевшись за день, сладко спят, охранник “несет вахту” у телевизора с чашкой кофе, не выпуская изо рта сигарету. Ведь вести себя по-иному он не в состоянии: находясь на смене в тюрьме, в этот час он делал бы то же самое. Утром же, когда домочадцы расходятся по своим делам, на него опускается сон: там, на работе, ему чаще всего удастся поспать именно по утрам. Отдохнув, наш служака отправляется проветриться в город. Встретив товарища, они живо обсуждают за чашкой кофе или бокалом пива тюремные новости.

С годами семья научается справляться своими силами: жена ведет хозяйство, дети же растут под присмотром матери, без вмешательства отца. Время от времени тюремный охранник пытается повлиять своим авторитетом на воспитательный процесс и навести порядок в семье. Как правило, это ни к чему хорошему не приводит. В лучшем случае его ремарки остаются без внимания. Такое непочтительное отношение вызывает в душе бурю, поднимает пласты гнева и агрессии. Каждый семейный скандал углубляет пропасть между главой семейства и домочадцами. Непомерно выросший на хлебе, рисе и картошке живот давит, мешает дышать и свободно передвигаться в пространстве. Кровяное давление скачет, как подстреленный заяц. Голова раскалывается от беспрерывных криков подопечных и

коллег. Любой взгляд, резкий телефонный звонок, неожиданный окрик или звук сирены вызывают волну злости, гнева и агрессии. С трудом удается подавить нарастающее желание припечатать орущего к стене, растоптать раскаленный от звонков телефон, оборвать провода, по которым из динамиков обрушиваются на его голову команды начальства. Чтобы сохранить остатки здоровья, нужно срочно уносить ноги. Уход на пенсию, обычно, проходит гладко. Опытный психиатр, взглянув в глаза такому служаке, не колеблясь ставит диагноз: “профессиональный душевный износ” и с легким сердцем отправляет тюремного ветерана на заслуженный отдых.

Казалось, что может быть лучше наступившей свободы? Но тут из глубины жизненного водоворота появляется двуглавый монстр, имя которому “невостребованность” и “ущербность.” Там, где он провел столько лет, все было “правильно.” Четко прочерченная линия делила всех находящихся под одной крышей на блюстителей порядка и его нарушителей. Роли в этой пьесе жизни распределялись режиссером, имя которому “закон.” Внутри тюремных стен всем ясно и понятно: кому следует бузить, а кому – умирять. Любой надевший форму юнец вкупе с голубой рубахой и связкой ключей моментально обретает силу. Этой, пусть пока незначительной крупницей власти он может распоряжаться по своему усмотрению. Ему дано право решать чужие судьбы. Хоть эти решения мимолетны, сиюминутны и не влекут за собой видимых последствий, они создают ощущение причастности к клану “сильных мира сего.” Чем продолжительнее тюремная карьера, чем выше по служебной лестнице удастся вскарабкаться вчерашнему тюремному “сагаге,” тем сильнее растет и крепнет в этом человеке ощущение могущества и абсолютного всевластия. “Опытные воспитатели” ежедневно выливают на головы заключенных ушаты своей внутренней агрессии, освобождая место для новых порций садизма и злости, в изобилии продуцируемых их душами. Поданная на заключенного кляуза расценивается тюремным начальством как акт проявления бдительности и служебного рвения. Синяки и кровоподтеки, оставленные тяжелыми ботинками на теле “воспитуемого”, являются свидетельством серьезного отношения охранника к попытке преступника подорвать

тюремные устои. Очень важно успеть за смену насытить свое садистское начало. Тогда можно будет уйти домой со спокойной душой и чувством выполненного долга. Ведь дома не очень-то покомандуешь. Не стукнешь жену тяжелой связкой ключей по затылку (в крайнем случае, отвесишь оплеуху), не лишишь детей прогулки (уйдут сами и не спросят), не запрешь наглого соседа в карцер. Как ни крути, а дома приходится вести себя по-иному. Хорошо, что есть куда вернуться. Вновь прийти туда, где ты “хозяин и вершитель правосудия.”

\*\*\*

Но всему в жизни приходит конец. Ставший с годами опытным охранником, умеющим виртуозно крутить на кончике мизинца тяжелую связку ключей, научившийся в считанные доли секунды артистично открывать любой замок, бывший для одних “душкой,” для других – грозой и извергом, такой работяга однажды оказывается не у дел. Нет, он не выброшен за борт жизни по воле злого рока. Он ушел на заслуженный отдых. Заработанной в поте лица пенсии ему вполне хватает, чтобы жить безбедно. Ветерана проводили с почетом, вручив на память эмблему тюремного ведомства, пожелав долгих лет здоровья и счастья в лоне семьи на радость близким. Впереди этого заслуженного работника тюрьмы ждет спокойная жизнь, полная неги и наслаждений.

Все было бы хорошо, если бы не было так плохо. Сняв форму с погонами, этот страж закона в одночасье перестает быть “всеим,” становясь “никем.” За время нескончаемых дежурств дети незаметно выросли и перестали нуждаться в его опеке и наставлениях, жена научилась управляться без него. Сейчас его присутствие в стенах родного дома и вмешательство (по большей части неуместное) в дела семьи раздражает домочадцев. Каждый час, проведенный в “застенках семьи,” превращается в пытку. Его власть, сила и статус “справедливого вершителя судеб” остались за высокой тюремной стеной. С каждым днем, проведенным на свободе, этот вчерашний борец за справедливость все явственней ощущает, что жизнь кончилась.

Для людей, ищущих занятие по душе, рынок рабочей силы может предложить немало интересного. Но полистав документы о скудном образовании, взглянув на послужной список, мало кто из работодателей проявит интерес к его особе. Здесь никому не нужна его луженая глотка, никого не соблазняет зычный рык, от которого еще вчера тряслись тюремные стены. Его несомненно уникальный талант виртуозно открывать любой замок настораживает, а рассказы о тюрьме не собирают больших аудиторий. Сильно поубавив амбиций, вчерашний охранник нанимается сторожить машины на стоянке. Нарядно одетые, распространяющие вокруг себя запах дорогих духов, дамы элегантно покидают свои авто. Их спутники небрежно бросают ему ключи. За “труды” ему полагаются “чаевые.” И он их исправно получает. Однако с каждой заработанной монетой настроение у некогда бравого служаки лишь ухудшается. Так и чешутся руки съездить по роже такому “господину,” а его даму извалить в песке, чтобы с них раз и навсегда слетела спесь. Но сейчас он прислуживает свободным, состоятельным людям. Они, скорее всего, даже не видят его лица. Для гостей ресторана и дискотеки он представляет собой говорящий придаток автомобильного загона.

В первые недели свободы он еще по привычке выходит в город и усаживается в кафе на автостанции. Его тянет покалякать со вчерашними коллегами, услышать новости из родного тюремного мира. Но проходит время, и бывшие сослуживцы уже не проявляют при встрече с ним бурной радости. Говорить с пенсионером не о чем, он ведь уже “не в деле.” Он тоже все больше слушает и молчит. А когда вставляет слово, задает вопрос, уточняет подробности, наталкивается на недоуменный взгляд:

“Кто, мол, это тут вмешивается в разговор старших?”

Кто-нибудь из бывших коллег, снизойдя до уровня несмышленного пенсионера, растолковывает, какие изменения произошли в тюрьме после его ухода. Это обижает еще больше. Очень скоро кипучая жизнь некогда бравого служаки становится в тягость всем и, в первую очередь, ему самому. С каждым днем растет и крепнет желание: или покончить побыстрее с этой ли-



шенной смысла жизнью, или начать новую, которая будет похожа на ту, прежнюю. Начать жизнь, в которой он чувствовал бы себя полноценным, необходимым обществом человеком, властелином человеческих судеб, хозяином положения.

## Глава вторая. Семейная хроника

Семья Букобза прибыла в страну из Северной Африки 4 марта 1952 года. Как они обживались на новом месте, как добывали хлеб насущный, как строили жилища, расспросить некого. Большинство из репатриантов тех лет были неграмотны, и семейные анналы почти не сохранили письменных свидетельств. Глава семейства, названный родителями в честь еврейского пророка Моше, появился на свет засушливым летом 1935 года. Пока семья жила в тех местах, где мусульманское население составляло (и составляет по сей день) абсолютное большинство, называть сына библейским именем было неосмотрительно и чревато. Ребенок с детства отзывался на имя Муса. Будущая супруга Моше Букобза, хотя и была наречена при рождении Тамар, многие годы звалась в семье Тамрой. С ранних лет Муса вертелся в семейной портняжной мастерской, познавая секреты ремесла. Мастерская, пользующаяся в городе хорошей репутацией, обеспечивала семье Букобза безбедное существование. Никто не сомневался, что с годами юноша приобретет необходимые навыки и унаследует семейный бизнес.

Семья Тамар Азулай считалась в городе зажиточной. Доход ей приносила торговля золотом и драгоценными камнями. Но дочери в семейный бизнес не допускались. В обязанности девушки входило учиться у матери вести хозяйство и вкусно готовить. Выйдя замуж, она будет потчевать мужа его любимыми яствами. Даже сменив место жительства, скакнув почти на столетие вперед, Тамар так и осталась неграмотной до конца жизни. Мусу Букобза сосватали к Тамар Азулай, когда юноше исполнилось 16 лет. К этому времени девушка едва достигла 14-летнего возраста. Спустя два года молодые люди создали семью. 18-летний юноша еще не был готов стать ни мужем, ни отцом, ни главой семейства. Тем не менее, он не посмел противиться воле отца. Свадьба состоялась в назначенный срок.

За первые 5 лет супружества в семье родилось трое детей. Но не прожив и года, они умирали один за другим. Казалось, семье так и суждено остаться бездетной. Однако спустя три года после переселения в Землю Обетованную, у супругов родился сын. Счастливые родители нарекли его Авраамом, вознося этим благодарность Господу за долгожданное потомство. И Господь не забыл благодарных родителей. Когда Аврааму исполнилось четыре года, в семье родилась дочь Аува. А через два года – сын Эфраим. На этом логично было бы и остановиться. Но случилось почти чудо: 36-летняя Тамар родила своему 38-летнему супругу очередного наследника. Младенец был наречен библейским именем Нафтали.

На новом месте Моше Букобза пошел работать на швейную фабрику. На работе он был тихим, покладистым, исполнительным, немного застенчивым. Но переступив порог родного дома, этот человек моментально преобразался. Всю неудовлетворенность, приниженность, ущербность, которые приходилось заталкивать глубоко внутрь на службе, Моше Букобза выплескивал на головы близких. Нетерпеливый сердитый звонок оповещал семью о приходе хозяина. Моше требовал, чтобы ко времени его возвращения домой, у двери дежурил кто-нибудь из детей. Если отцу приходилось ждать больше десяти секунд, первая оплеуха доставалась тому, кто открывал дверь. Достать ключ из кармана и самому отпереть замок он считал ниже своего достоинства. Ведь это он кормит и одевает семью бездельников, великодушно позволяя этим дармоедам существовать вместе с ним под одной крышей. Первая оплеуха открывала шлюзы агрессии. Накопившиеся за день злость и ярость беспрепятственно выплескивались наружу, обрушиваясь тяжелым валом на головы домочадцев. Больше всех доставалось Тамар. Если, вернувшись с работы, Моше находил дверь в детскую закрытой, это не только не избавляло детей от “положенной” им порции затрещин, а, напротив, усиливало злобу и ярость отца. Запертая дверь давала волю его черным фантазиям. Воображение рисовало картины заговора, предметом которого был он.

Вечерняя трапеза была обязательной для всех членов семьи. Исключение делалось лишь больному ребенку, да и то

только в том случае, если температура подбиралась к сорока градусам, и он не мог держаться на ногах. Отец самолично мерил больному температуру, а затем решал, позволить ли ребенку во время ужина находиться в постели. На этих ежевечерних семейных сборищах абсолютное право голоса имел лишь глава семьи. Жене и детям позволялось напрягать голосовые связки только, когда требовалось ответить на вопрос отца. Любая попытка “пофилософствовать,” или, упаси Господи, выразить свое мнение, сомнение или несогласие с отцовской “аксиомой,” бесила Моше. Нередко мирно начавшийся ужин заканчивался синяками на лице Тamar, шишками на детских макушках и горой битой посуды. На какое-то время настроение главы семьи улучшалось. Но это динамическое равновесие было очень зыбким. Чтобы добиться состояния душевного комфорта, ему необходим был новый ураган злости и агрессии. Детям следовало идти спать не позже 11 вечера. Жена, уставшая за день, отправлялась в постель и тут же проваливалась в сон. Но у мужа на ее счет были совсем иные планы.

“Подумаешь, заснула! Не велика важность! Не принцесса! Все равно целый день болтается без дела. Завтра выспится.”

Нет никакой причины, чтобы не получить немедленно то, что ему причитается по брачному контракту. Он не принимал никаких просьб, доводов, убеждений, шедших вразрез с его сиюминутными желаниями. Чем упорнее Тamar противилась выполнению своего супружеского долга, тем сильнее это распаляло садиста-мужа. Ярость сдавливала горло, вызывала ощущение удушья. Обделенный кислородом мозг переставал четко воспринимать происходящее вокруг. Перед глазами начинали плясать черно-красные круги. Букобза чувствовал, что, если немедленно, сию минуту, не получит женского тела, сперма, смешавшись с кровью, ударит в мозг. Затуманенным от злости взглядом он с трудом различал лицо лежащей перед ним женщины. Сейчас перед ним находилась не Тamar, а неодушевленный сосуд для удовлетворения звериного полового инстинкта. Любая, даже неосознанная попытка жены оказать сопротивление, приводила его в неистовство. Оставив на ее лице отпечаток своего грозного кулака, он наваливался сверху

всей тяжестью грузного тела. Горячий маховик начинал грубо двигаться по сухому шершавому туннелю. Каждое движение вызывало боль, приводящую к инстинктивному стремлению уклониться от этих неприятных ощущений. Еще удар кулаком, женский крик, и тишина. Наконец-то сперма изливается наружу и наступает долгожданное облегчение. Сейчас можно спокойно заснуть до утра. Завтра снова нужно идти туда, где следует быть тихим, прилежным, вежливым и дисциплинированным. Ведь в глазах сослуживцев Моше Букобза спокойный, воспитанный человек и исполнительный трудяга.

### Глава третья. Яблоко от яблони

Внешне в этом доме все было благополучно. Каждую субботу по утрам семья Букобза отправлялась в синагогу. Впереди шел отец. Его тяжелая поступь и сосредоточенный взгляд из-под насупленных бровей не оставляли сомнений, что идет глава клана. За отцом по старшинству шли сыновья. На полшага позади семенила Тамар. Она шла, опустив голову, устремив взгляд под ноги. Ее глаза шарили по земле, будто старались отыскать утерянную семейную реликвию. Замыкала шестие дочь. Несмотря на то, что Аува была в семье вторым ребенком, она не могла идти впереди братьев: место женщины в семейной иерархии всегда остается на задворках.

Аува первой разбила семейную скорлупу. Собрав в старую хозяйственную сумку скромные пожитки, не попрощавшись ни с кем, дочь навсегда ушла из дому. Такой шаг был равносителен предательству. Отец громогласно проклял дочь, запретив матери и братьям не только пытаться вернуть беглянку в лоно семьи, но и, вообще, пытаться наладить с ней контакт. Одна из соседок как-то рассказала по секрету Тамар, что видела, как Аува работает маникюршей в парикмахерской на автовокзале в соседнем городе. Сама Аува, стремясь побыстрее забыть кошмары родного дома, никаких контактов с семьей не искала.

Старший сын после службы в армии в семью не вернулся. Он уехал в Иерусалим и посвятил себя изучению Торы. Теперь этот малограмотный портной не посмеет поднять руку на своего ученого отрока.

Эфраим, второй сын, рано прибился к миру уличной шпаны. Для юноши это был единственный способ почувствовать себя человеком. Мальчику импонировало, что старшие ребята считают его своим. Он с готовностью выполнял мелкие поручения братвы: сгонять с пакетиком на другой конец города, принести записку или посылочку. Прошло совсем немного времени, и юноша “сел на иглу.” Многолетние чувства страха и приниженности исчезли. Место застенчивости и нерешительности заняли грубость и стремление доказать любому, на чьей стороне сила. В одной из уличных стычек Эфраим пырнул ножом полицейского. Результат – две серьезные статьи, общим сроком на восемь лет. Отец громко и проклял сына, опозорившего доброе имя семьи. Моше Букобза строго-настрого запретил домочадцам навещать Эфраима в тюрьме и, вообще, упоминать в доме имя преступника.

#### Глава четвертая. Судьбоносное решение

Эта сцена врезалась в память Нафтали навечно. Маленького роста, полноватый, с противным, скрипучим голосом, полицейский по-хозяйски разгуливает по комнатам. У него на плечах погоны с одной маленькой звездочкой. Нафтали не знает, что означает это звание. Но по всему видно, что этот человек наделен властью. И властью нешуточной. Полицейский выбрасывает из шкафа вещи, вытряхивает на пол содержимое ящиков стола, роется потными руками на полках с нижним бельем. Даже отец, который на голову выше непрошенного гостя, молча стоит в углу, не пытаясь прекратить этот произвол. Через час, очевидно умаявшись, офицер уходит. Надев на Эфраима наручники, полицейские уводят брата с собой.

Окончив 10 классов, Нафтали решил бросить школу и идти служить в полицию. Но для того, чтобы надеть полицейскую форму, нужно было иметь аттестат о среднем образовании. О том, чтобы продолжать учиться, не могло быть и речи. Решив получить власть над людьми, юноша уже не мог думать ни о чем другом. Перекантававшись три года в тыловых частях, Нафтали Букобза стал обладателем законного документа, подтверждающего его “армейское прошлое.” Несмотря на это,

служба в полиции так и осталась для него недостижимой мечтой. Зато тюрьма приветливо распахнула перед Нафтали свои двери.

Скоро Нафтали Букобза уже числился на хорошем счету у начальства. Он добросовестно исполнял возложенные на него обязанности, тщательно следил за поведением подопечных, спешил довести до сведения руководства тюрьмы каждую мелочь, которая, по его мнению, выходила за рамки “нормального” тюремного быта. Вохровец Букобза не проявлял сантиментов ни к коллегам, ни к подопечным. Он не считал себя ни ябедой, ни доносчиком, ни подонком. Тем не менее, став свидетелем обычных человеческих отношений между коллегой-охранником и заключенным, Нафтали, как того требовала инструкция, спешил сообщить об этом начальству. Сочувствие к заболевшему или получившему травму заключенному было ему неведомо. Власть, данная этому человеку всего на сутки, возносила его в собственных глазах на недостижимую высоту. Сейчас в стенах родного дома Нафтали тоже стал чувствовать свою весомость, значимость и силу. Исчезли тихий, заискивающий голос и устремленный в землю взгляд. Ушел многолетний страх перед отцом-тираном, хотя до поры до времени Нафтали старался этого не показывать.

Первая отсидка, как это бывает в большинстве случаев, оказалась для Эфраима далеко не последней. За годы пребывания в тюрьме он стал тяжелым наркоманом, готовым отдать душу дьяволу за порцию зелья или пару таблеток снотворного. Выйдя из тюрьмы, он вернулся в мир “братвы”. Сейчас он был среди шпаны уже не мальчиком на побегушках, а “отмотавшим срок” уважаемым уголовником. Наркоман со стажем, Эфраим сегодня сам гонял мелюзгу с пакетиками по городу, поощряя их таблеткой или несколькими кристаллами порошка за быстро и удачно выполненное поручение. Каждый “настоящий” наркоман знает, что пребывание на воле – это всего лишь передышка перед следующей отсидкой. Эфраим нисколько не сомневался, что и его ждет такая судьба. Когда полиция в очередной раз явилась в дом Букобза с обыском, Нафтали еще надеялся, что это ошибка или недоразумение. Ему хотелось верить, что скоро все прояснится и брат вернется. Но на деле все оказалось не так.

Как того требовала инструкция, Нафтали незамедлительно поставил в известность тюремное начальство о факте ареста брата. Его вызвали на инструктаж, где он подписал бумагу, что не будет навещать брата, находящегося под следствием. Надежды Эфраима на помощь и поддержку не оправдались. Заключенного Букобзу поместили в тюрьму на другом конце страны. Но внутри-тюремный телеграф работает быстро. Информация, которая идет по этому каналу связи, как правило, хорошо проверена. На вопрос, каким образом сокамерникам Эфраима стало известно, что его родной брат служит в тюремном ведомстве, комиссия, разбирающая дело об убийстве заключенного, ответить не смогла.

### Глава пятая. Не хлебом единым

“Голь на выдумки хитра.” А тюремная – тем более. Особенно, когда этой голи в камере, как селедок в бочке, а в пустых головах шаровой молнией гуляют злость и агрессия. При небольшом полете фантазии буханка хлеба может стать роковой.

Камера, в которой заключенный Эфраим Букобза стал двенадцатым сожителем, ничем не отличалась от сотен клеток, в которых тюремное ведомство держало своих подопечных. Состав населения был пестрый и часто менялся. Сущность же всегда оставалась одной и той же. Неизменный распорядок дня, повторяющиеся в одни и те же часы переклички. Время от времени в камерах проводятся спонтанные обыски. Во время шмона у заключенного можно найти и изъять много интересного. Но чтобы забрать хлеб, основу повседневного рациона, такое никому в голову не придет. И буханка хлеба оставалась открыто лежать на столе, не привлекая к себе внимания охраны.

Если извлечь из хлебной буханки мякоть, образуется полость, стенками которой являются тонкий слой мякиша и пропеченная хлебная корочка. Слегка подгнившие, мелко нарезанные, засыпанные сахаром фрукты заполнят эту хлебную полость до отказа. Процесс брожения в такой естественной емкости идет быстро. Спустя несколько дней уже начнет образовываться новый продукт. Немного терпения, и эта бродящая полужидкая масса наберет крепость. Процесс пойдет ве-

селее, если время от времени добавлять в суррогат ломтики свежих фруктов и сахар. Чем большим терпением запасутся тюремные алхимики, тем крепче будет брага. Полученный таким незамысловатым способом напиток будет чем-то средним между крепленным вином и фруктовым самогоном. Он отвратителен на вкус, зато бьет в голову, развязывает языки и руки.

В ночь, когда Эфраим Букобза впервые оказался на новом месте, обитатели камеры дегустировали зелье. Из двенадцати жильцов к столу были приглашены только восемь. Остальные “крепко спали и ничего не слышали.” Неизвестно, сколько браги было выпито до того, как кровь, разбуженная алкоголем, закипела, а мысли заволокло кроваво-красным туманом. “Базар” стал громче, тон беседы – угрожающим. Чтобы выпустить пар и дать душе развернуться, не хватало лишь повода. Оглядевшись, кто-то из подвыпивших искателей приключений уткнулся взглядом в фигуру спящего на полу новенького.

Сквозь сон Эфраим почувствовал резкую боль в боку. Чья-то сильная рука сдавила горло, отчего приток воздуха в легкие почти прекратился. Ощувив острую нехватку кислорода, Эфраим попытался вдохнуть сильнее. Но это не помогло. Вокруг было темно. Букобза попробовал встать на ноги, позвать на помощь, но, получив сильный удар кулаком в лицо, вновь оказался на полу. Нависшая над ним раскрасневшаяся злобная рожа к общению не располагала, маленькие глазки извергали потоки злобы. Эфраима парализовал ужас. Новая попытка обрести свободу лишь усугубила положение: от удара ногой по ребрам явственно послышался хруст костей. Затем из носа хлынула кровь.

“Смотри, не переусердствуй, – раздался в темноте хриплый нетрезвый голос – еще нужно будет с ним покалякать.”

Эфраима подняли с пола и прислонили к стенке. “Беседа” началась. Пьяные, окутанные перегаром слова вываливались изо рта говорящего. От запаха слезились глаза и першило в горле. Время от времени речь “оратора” прерывалась приступами сильной икоты.

Отпираться и отрицать не имело смысла. Эфраим признался, что его родной брат служит охранником в тюрьме. По-



пытка убедить собеседников, что Нафтали поступил на работу совсем недавно и не имеет никакого отношения к судьбам этих людей, потерпела фиаско.

Чьи-то грязные рваные трусы временно превратились в кляп, которым Эфраиму заткнули рот, а сдернутая с постели простыня – пеленкой, крепко связавшей ему руки и ноги. Это было сделано исключительно из добрых побуждений: не хотелось, чтобы Эфраим своими криками нарушил сон сокамерников. Им ведь с утра на работу. Не гуманно из-за мелкой склоки мешать отдыху честных тружеников. Нехорошо портить настроение и охране: намаявшись за день, они тоже должны соснуть часок-другой. Завтра их ждет тяжелая работа (возня с трупом, дача показаний, и другие малоприятные, но неизбежные процедуры). И вообще, мало ли что еще может произойти за ночь. Пусть отдохнут бедолаги, пока тихо.

Когда дежурный офицер утром открыл дверь камеры, ее обитатели мирно спали. Внутри царил обычный бедлам, присущий перенаселенному пространству после ночи. В воздухе стоял странный запах, но охранник не придавал этому значения. Не досчитавшись одного заключенного, он откинул занавеску, за которой помещались туалет и душ. Взгляд охранника натолкнулся на человеческое тело. Труп лежал на животе, уткнувшись лицом в унитаз. В глаза бросался порез на шее. Шрам хотя и был глубокий, рана уже не кровоточила. Голова свободно болталась на чудом сохранившемся лоскутке кожи. Ни первую, ни последнюю помощь оказывать здесь было уже некому.

Проведенное расследование не выявило прямого виновника убийства. Эфраим же заплатил жизнью за карьеру брата, став жертвой квинтэссенции человеческой злости, помноженной на тюремную скуку, хроническое безделье и смекалку местных производителей алкоголя.

## Глава шестая. Пылкая страсть

Убийство брата неожиданно сослужило Нафтали Букобза хорошую службу. Стремясь хоть как-то компенсировать смерть близкого человека, начальство направило этого молодого охранника на офицерские курсы. О такой удаче вчерашний салага

не мог и мечтать. Вся школа знала, как оказался здесь этот грубый, ограниченный, агрессивный человек. Тем не менее, все окружающие постоянно делали ему маленькие поблажки. Преподаватели сочувствовали юноше, не требуя от него высоких показателей в учебе, а сокурсники терпеливо вдалбливали в безмозглую голову сухие параграфы тюремного кодекса.

Став офицером, Нафтали, наконец, получил долгожданную власть над людьми. Молодой офицер остервенело, расталкивая локтями сослуживцев, оговаривал и чернил коллег в глазах начальства. Ему ничего не стоило подставить ножку вчерашнему приятелю. В тюрьме не было заключенного, на которого Букобза не собирал бы компромат. Несмотря на малограмотность, Нафтали научился ловко строчить доносы. Руководство тюрьмы всегда внимательно относилось к информации с “переднего края.” Каждая следующая клеюза укрепляла в этом ничтожестве в погонах ощущение власти над людьми. Давно исчезли клоунские ужимки, заискивающая улыбка и постоянный страх в глазах, бывшие столько лет неотъемлемой частью его жалкой натуры. Грубая, граничащая с истерическим криком речь стала для офицера Нафтали Букобза одним из символов принадлежности к “сильным мира сего.”

Офицерское жалование позволило Нафтали навсегда покинуть семейную клоаку. Он снял комнату в квартире недалеко от тюрьмы. Во второй комнате обитал его коллега, тюремный охранник, а в третьей – незнакомая дама. Большую часть суток соседка отсутствовала. Долгое время Нафтали даже не знал ее имени, не говоря уже о том, чтобы познакомиться с этой представительницей прекрасного пола поближе.

В этот субботний вечер Нафтали был свободен от службы. Он очень не любил такие вечера. В тюрьме по пятницам заключенных и охрану потчуют осьмушкой курицы с рисом. Набив до отвала брюхо рисом и хлебом, можно было долго переваривать съеденное, оглашая пространство громкой отрыжкой удовольствия. Эта “благородная” отрыжка считалась здесь неотъемлемой частью кулинарного праздника. Ее не только не стыдились, а, напротив, соревновались, у кого это получается громче и смачнее. После ужина работники субботней смены удобно устраивались с чашкой кофе, закуривали и начинали

“мыть кости” коллегам. Делалось это не по злобе, а исключительно от скуки, по привычке беспрерывно молотить языком. Для особей из породы тюремных надзирателей самое страшное наказание – остаться наедине с самим собой, а самая мучительная пытка – пытка тишиной. Какофония звуков защищает их от самих себя, от внутренней пустоты и никчемности.

Сосед Нафтали сегодня дежурил, так что даже перекинуться парой слов было не с кем. Бить ноги по улицам пустого города было лень. Не зная, как убить время, Нафтали сидел на диване, упершись пустым взглядом в голую стену.

За дверью послышались шаги. Нафтали оторвал тело от продавленного дивана и высунул голову через дверной проем. Огромная мясная туша двигалась по коридору, натываясь на стены. Стоптаннные до предела домашние туфли наполняли пространство звуками, подобными скрежету неотесанных каменных глыб, методично раскачиваемых циклопом-великаном. Талия у этого создания отсутствовала напрочь. Spина переходила в то, что по замыслу Создателя должно было быть элегантною женскою попочкою. Из прорези между ягодицами торчал хвост халата. На звук открывающейся двери дама оглянулась, и ее заплывшие жиром щелочки глаз уперлись в Нафтали. Внешне эта женщина годилась ему в матери. Большой и гладкий лоб, без признаков происходящего за ним мыслительного процесса, был пропорционален ее слоновьим габаритам. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что лицо этой дамы с незапамятных времен не посещали ни улыбка, ни сомнения, ни тревоги. 32-летняя Сара по многу часов в день мыла посуду в дешевом ресторане. Возможно, в этом была часть секрета ее необъятных размеров. Взгляды обитателей коммуналки встретились. Неизвестно, что прочел каждый из них в глазах незнакомца, но между ними моментально возник контакт.

Через полчаса Нафтали и Сара, уставившись на экран, внимательно следили за судьбами героев очередного душещипательного мексиканского сериала. При своей абсолютной жестокости к окружающим, эти люди становились сентиментальны до слез, когда дело касалось героев “мыльных” опер. Они старались не пропустить ни одной серии, долго обсуждая поступки героев, искренне болея душой за своих любимцев. До-

смотрев очередную серию, соседи вместе поужинали и, не сговариваясь, отправились в постель. Под тяжестью тел молодой пары диван в комнате у Сары издавал звуки в диапазоне от жалобного мышинного писка до злобного рыка голодного тигра. Не-растратченная сексуальная энергия обоих партнеров, наконец, выплеснулась наружу. Умаявшись, любовники заснули лишь под утро.

На второй день Нафтали переселился к Саре. Ни один из них не питал иллюзий относительно внезапно вспыхнувшей страсти и чистой любви. Каждая из особей нашла в партнере не более, чем удобный сосуд для сливания гормонов.

### Глава седьмая. Осечка

Прошло пять лет. Букобза неустанно карабкался вверх по служебной лестнице. Сейчас плечи Нафтали гнулись под тяжестью большой звезды майора, что должно было свидетельствовать о его неоспоримых заслугах перед тюремным ведомством. Месяц назад он занял кресло зам. начальника тюрьмы. Его беседы с подчиненными на неслужебные темы прекратились. Для них в его лексиконе остались лишь приказы, да угрозы. С каждым днем Нафтали все внимательнее прислушивался к словам начальства: ведь его карьера полностью зависела от благосклонности старших по званию. Он ни на минуту не сомневался, что в жизни нет ничего важнее, чем взобраться на верхушку служебной лестницы. Удачное продвижение по службе не могло не отразиться на отношениях Нафтали с Сарой. Она так и осталась простой посудомойкой, а значит должна была беспрекословно подчиняться командам старшего офицера, выполнять любые его желания и прихоти. Он шел по стопам отца, оставляя своей сожительнице роль матери.

В основном Нафтали и Сара жили мирно. Между ними не было ежедневных скандалов, из окон квартиры не вылетало душераздирающих призывов о помощи. Полицейские не держали эту пару на заметке, как социально опасную. Правда, время от времени Саре доводилось почувствовать на своей шкуре властную руку сожителя. Мощный кулак приземлялся на ее голову или оказывался у нее между глаз не по злобе, а просто так, для

профилактики. Чтобы помнила, кто здесь старший, кто хозяин, кого нужно слушаться, кому подчиняться. И Сара помнила и не сопротивлялась. Вообще-то с партнером ей повезло. Нафтали был мужик не злой, не деспот, не садист, не избивал до полусмерти, как это бывало в других семьях. Ведь он был не какой-нибудь бродяга-наркоман, а настоящий офицер. Майор Букобза даже дома не снимал форму. Прохаживаясь по квартире с сигаретой в зубах, он время от времени останавливался перед зеркалом, чтобы полюбоваться блеском эполет. А что до того, что иногда поколотит, так с кем не бывает. Дело житейское.

Лучшие часы совместной жизни Нафтали и Сара проводили у телевизора. Они наизусть знали в какой день и в котором часу пойдет очередная серия любимого телесериала. С каждым днем таких сериалов становилось все больше. Уже приходилось напрягать память, чтобы вспомнить, чем закончилась предыдущая серия и не спутать судьбы героев мексиканской “мыльной оперы” с жертвами судебного произвола в аргентинской теленовелле. Если очередная серия заканчивалась благополучно, партнеры отправлялись в постель в хорошем настроении, где с удовольствием предавались физиологии. Когда на экране богатая донна не желала признавать в нищем оборванце своего сына, брошенного ею 30 лет назад, сердца Сары и Нафтали наполнялись гневом. В такую ночь оба долго не могли заснуть, ворочались и тяжело вздыхали.

В то дождливое зимнее утро Сара проснулась от сильной головной боли. В горле першило, дышать через забитый нос было трудно. Налетавший волнами легкий озноб свидетельствовал о поднимающейся температуре. Встать с постели оказалось не так-то просто: голова кружилась, ноги предательски гнулись от слабости. Отхлебнув несколько глотков горячего чая, с трудом протолкнув в глотку таблетку жаропонижающего, она отправилась на работу. Занятая по горло, Сара целый день старалась не обращать внимания на сигналы, которые посылал ей больной организм. Но к концу смены она уже еле держалась на ногах. Появившийся утром легкий сухой кашель усилился. Сейчас он донимал ее непрерывно, выворачивая наизнанку все внутренности. Вернувшись домой, Сара застала своего сожителя в привычной позе. На столе в большой чашке остывал

кофе, в зубах дымилась сигарета. Его взгляд был устремлен на экран. На звук открывающейся двери Нафтали слегка повернул голову. Не обращая внимания на больной вид подруги, он бросил через плечо:

“Садись быстрее, сейчас начнется” – не сомневаясь, что Сара поняла, о чем речь и тут же присоединится. Начиналась очередная, 641 серия бесконечной мексиканской теленовеллы. Сегодня суд должен был вынести вердикт о том, кому из двух женщин будет отдан ребенок. От этого решения будет зависеть развитие событий в следующей сотне серий этой мыльной оперы.

Разбитая вконец, Сара прошла в спальню. С трудом стянув пальто и сбросив туфли, она, как была в рабочей одежде, повалилась на постель. Не успев закрыть глаза, больная провалилась в пустоту. Но буквально спустя несколько минут всплыла из забытья: громкие, бухающие удары сотрясали тело, как будто где-то под ухом стреляли из пушки. С каждым вздохом дышать становилось труднее. Разлепив набухшие веки, Сара огляделась вокруг. Прошло несколько минут, прежде чем она сообразила, что источником этого необычного шума был ее громкий кашель. Приподнявшись на локтях, Сара села. В этой позе дышать стало немного легче.

“Нафтали” – позвала она слабым голосом. Ответа не последовало. Ее сожитель был полностью поглощен судьбами мексиканских матерей. Сейчас ему не было никакого дела до болезни сожительницы. Крикнуть громче у Сары не было сил. Подняв с пола тапок, больная запустила им в Нафтали. Не достигнув цели, туфель угодил в лампочку под потолком. Раздался взрыв, и в комнате наступила темнота.

Такой наглости майор Букобза не ожидал. Пока Сара, изображая из себя больную, скулила в соседней комнате, это, хотя и раздражало, но не мешало наслаждаться шедевром киноискусства. Но когда в ответственный момент на голову посыпались осколки, а за ними полетел потрепанный башмак, пришло время принимать меры. Оторвав обрюзгшее тело от дивана, Нафтали направился в спальню. Нужно было поскорее задать трепку подруге, чтобы успеть вернуться к экрану, не потеряв нить драматических событий.

Взгляд майора Букобза уперся в лежащую в ногах у Сары подушку. Одним движением офицер, привыкший умирять подопечных, накрыл ею лицо женщины. В комнате сразу стало тихо. Какое-то время через пуховый барьер еще доносились приглушенные стоны, но Нафтали уже ничего не слышал. Он был полностью поглощен драмой, разворачивавшейся в эти минуты в далекой Мексике.

К большой радости Нафтали на этот раз все закончилось благополучно. Справедливость восторжествовала. Суд постановил отдать ребенка той из матерей, за которую Нафтали болел всей душой. Счастливый конец фильма привел его в прекрасное расположение духа. Букобза решил повести себя как настоящий офицер и не устраивать подруге выволочку за неблагоприятный поступок. Он собирался лишь разок опустить ей на черепушку кулак и сразу помириться. Такой хороший вечер должен был закончиться по-хорошему.

Но не тут-то было. Нафтали громко позвал Сару, но она не откликнулась. Решив, что подруга заснула, он прошел в спальню. Тело его сожительницы мирно покоилось на постели, рот был по-прежнему закрыт подушкой. Букобза подошел ближе и потряс Сару за плечо. Но безрезультатно. Еще не до конца осознав размер катастрофы, Нафтали начал бить Сару по щекам, пытаясь привести в чувство. Но она была мертва. Угол подушки перекрыл дыхательные пути, и больная задохнулась. Если в далекой Мексике на этот раз все кончилось благополучно, в доме у Нафтали Букобза случилась трагедия. Он убил женщину.

## Глава восьмая. Поступок настоящего офицера

Для чего человек изобрел огнестрельное оружие? Хотелось бы верить, что это было сделано исключительно в целях самообороны. К сожалению, многовековая история человечества показала, что это достижение инженерной мысли направлено, в основном, на истребление себе подобных. От такого вывода на душе становится пакостно, а прогресс теряет смысл.

Как офицер тюремной службы, Нафтали Букобза имел право на ношение оружия. И он с гордостью пользовался этим

правом. Пристегнутая к широкому ремню кобура с тяжелым маузером делала этого человека еще значимее в собственных глазах. Нафтали очень любил возиться с оружием. Когда у майора было плохое настроение, он доставал пистолет, разбирал его, бережно протирал, смазывал каждую деталь, потом так же любовно собирал. К сожалению, за все годы службы ему ни разу не представилась возможность воспользоваться им в деле. Зато на стрельбах на учебном полигоне Нафтали отводил душу. Он испрашивал себе двойной набор настоящих (не холостых) патронов и самозабвенно палил по “врагу.” Умение хорошо владеть оружием было отмечено начальством. Этот “комплимент” делал Букобза абсолютно счастливым.

Прошло какое-то время, пока Нафтали, стоя над бездыханным телом подруги, осознал, что случилось непоправимое. Этот грубый, ограниченный офицер как мог, по-своему любил свою женщину. Ее смерть подкосила Нафтали. Впереди возникла перспектива мучительного одиночества. Букобза еще не осознал, что это он виноват в ее смерти, а, следовательно, именно ему, а не кому-то другому придется отвечать за содеянное перед законом. Сейчас его пугала потеря единственной близкой души, бывшей рядом с ним уже не первый год. Поняв, что сожительницу не вернуть, Букобза решил отправиться вслед за ней.

Пристально глядя на холодное умиротворенное лицо Сары, Нафтали достал пистолет и приставил к виску. Потом, отложив оружие в сторону, подошел к телефону и набрал номер. Звонком в полицию он известил власти об убийстве Сары. Покончив с этим, майор Букобза вновь взял оружие и нажал на курок. Раздался легкий щелчок. Нафтали окунулся в мир, в котором властвовали темнота и тишина.

Прибывший наряд полиции обнаружил на постели труп женщины, а на полу – тело мужчины. У мужчины, рядом с пулевым отверстием около правого виска, четко прослеживались следы свежей крови. Прибывший врач “Скорой помощи” сумел прощупать у самоубийцы слабый нитевидный пульс. С пулей, застрявшей где-то между извилинами мозга, майор тюремной службы Нафтали Букобза был срочно доставлен в ближайшую больницу.



## Глава девятая. К счастью, он не Эйнштейн

Открыв глаза, Нафтали долго не мог восстановить в памяти ход событий. Он не понимал, где находится и как тут оказался. Майор Букобза не мог знать, что пребывает на больничной койке уже пятые сутки. Ощущение времени стерлось. Время осталось там, за стеной травматической амнезии. (Амнезия – потеря памяти, происходящая обычно в результате травмы головного мозга).

Нафтали попытался встать, но не тут-то было. Нога, прикованная кандалами к остоу кровати, описав в воздухе короткую дугу, вернулась в исходное положение. Амплитуда движения руки была ограничена наручниками, соединяющими запястье с рамой койки. Через несколько секунд в поле зрения больного появилось мужское лицо, а вслед за ним рубаха так хорошо знакомого ему цвета и покроя.

Не проявив никаких эмоций при виде вчерашнего коллеги, раненый закрыл глаза и погрузился в сон. Когда арестованный вновь открыл глаза, палата была залита солнцем. Нафтали почувствовал на себе чей-то взгляд. Глаза незнакомца смотрели серьезно и внимательно. В них не было ни злости, ни злорадства, так присущих ему самому и его коллегам. Раненый был еще слишком слаб для серьезного разговора, и беседу с врачом пришлось отложить. Лечащий врач навещал пациента по несколько раз в день. Хотя прямая опасность для жизни миновала, вероятность развития осложнений после такой тяжелой мозговой травмы продолжала оставаться реальной. Вчерашние коллеги Нафтали круглосуточно дежурили у его постели, сменяя друг друга каждые восемь часов. Это делалось вовсе не из теплого отношения к бывшему майору: так требовала инструкция. Убив подругу, Букобза перешагнул ту грань, которая все годы отделяла его от его же подопечных. Еще совсем недавно он сам навещал арестованных в больнице, контролируя, бдительность охранников. Обнаружив погрешности, Букобза никогда не упускал случая устроить выволочку подчиненным.

Когда состояние больного стабилизировалось настолько, что он уже мог адекватно реагировать, доктор поведал Нафтали о случившемся. Букобза был доставлен в больницу практиче-

ски в безнадежном состоянии. Его череп украшали два входных и одно выходное пулевые отверстия. Одна пуля прошла навывлет, учинив сквозняк в черепной коробке, вторая застряла в сером веществе мозга. Стреляные гильзы полиция обнаружила на полу недалеко от тела самоубийцы. Чтобы докопаться до застрявшей в мозгу пули, нейрохирургам пришлось немало попотеть. К счастью, ни один из жизненно важных мозговых центров выстрелами задет не был. На месте операции зиял кратер внушительных размеров, прикрытый тонкой полоской кожи и стерильной марлевой повязкой. Нафтали придется перенести еще не одну операцию, чтобы придать черепу вид и форму, близкие к первоначальным. Но об этом говорить было еще очень рано. Сейчас следовало беречься, чтобы не застудить и не засорить мозги, отделенные от внешнего мира лишь тонким лоскутком кожи, пришитым на живую нитку.

Для науки давно не секрет, что чем примитивнее живой организм, тем выше его способность к регенерации. Жизнестойкость простейших поражает. Чем сложнее живое существо, тем после каждого катаклизма оно медленнее приходит в норму.

Нафтали Букбза можно было с легкостью отнести к той категории счастливцев, у которых деятельность ментальной, интеллектуальной и эмоциональной сфер отнимали так мало энергии, что его физическое тело сохранило почти первозданную (близкую к одноклеточным) способность к восстановлению. Он поправлялся так хорошо, что через месяц врачи уже могли думать о выписке.

## Глава десятая. На своем месте

До чего же надоело Нафтали лежать бревном на удобной больничной койке, часами разглядывая чистую голую стенку палаты. Ни послания собрата, ни матерной надписи, ни картинки девицы в соблазнительной позе на этой свежесмытой плоскости не было. Шаги персонала, обутого в мягкие тапочки, были почти не слышны. Человеческие голоса доносились откуда-то издалека: и больные, и врачи общались между собой почти шепотом. Иногда, правда, кто-нибудь из круглосуточно охранявших его бывших сослуживцев, ненароком обращался к

коллеге “как принято.” Но, натолкнувшись на укоризненный взгляд сестры, или врача, это громкое, не к месту сказанное слово, моментально ретировалось. В этих стенах “тюремщики” не хозяева. Здесь они гости, и далеко не самые желанные. Охранников терпят по необходимости, не выказывая должного почтения ни форменным рубашкам, ни нашивкам, ни погонам. Окажись эти анемичные морды медиков сейчас у него дома, в тюрьме, он быстро объяснил бы им, как ведут себя в “приличном” обществе.

Нафтали поправлялся быстро. Температура, подскочившая в первые сутки после операции, начала медленно снижаться и через неделю уже пришла в норму. Операционная рана была чистой. Шов на черепе не гноился. Сейчас его донимали частые головные боли, а в том месте, где отсутствовала кость, мозгам было холодно и неудобно. Любое случайное дуновение отдавалось в черепной коробке сквозняком. Ветер гулял в голове, наддувая парусом тонкий листок кожи над раной. Врачи запрещали Нафтали носить головной убор, объясняя это тем, что на свежем воздухе под лучами солнца рана заживет быстрее. Букобза смотрел на врачей исподлобья, но не перечил. Когда же доктор выходил из палаты, больной доставал из-под подушки тюбетейку и напяливал ее на макушку. Какие же они наивные, эти вольные доктора! Им ни разу не пришлось в голову устроить шмон. Охранявшие его вчерашние коллеги молчали: головной убор не входил в перечень недозволенных предметов, и до тюбетейки им не было никакого дела.

Нафтали хотел вернуться в тюрьму и вновь ощутить себя полноценной личностью, в руках которой находятся судьбы других, более слабых индивидуумов. По привычке он видел себя в форме с офицерскими погонами и маузером на боку. Он еще не осознал, что сейчас его повезут в застенки в кандалах и наручниках.

После очередной перебранки с лечащим врачом по поводу затянувшегося лечения, подследственный майор Нафтали Букобза был выписан из отделения. Он был счастлив, что эта “пытка медициной,” наконец, завершилась. Первое понимание новой ситуации стало проникать в его травмированный мозг, когда, освободившись от больничной пижамы, вместо привы-

чной рубахи с погонами он получил коричневые брюки и куртку со штампом тюремного ведомства, а охранник ловким движением защелкнул на его лодыжках и запястьях кандалы. Близкие сердцу предметы сейчас ограничивали не чью-нибудь, а его жизнь. Нафтали стал понемногу осознавать, что все, чем он еще недавно жил и дышал, осталось в иной, прошлой, ставшей недостижимой для него жизни.

Состояние здоровья не позволяло поместить Нафтали в тюремную камеру, и его отправили под наблюдение эскулапов в погонах. Месяц, проведенный вчерашним майором в тюремном лазарете, стал для него тяжелой пыткой. Вначале он смотрел на всех свысока, по инерции причисляя себя к “сильным мира сего.” Когда один из соседей попытался доходчиво объяснить бывшему офицеру, что сейчас его место “у парашаи,” дело чуть не кончилось рукопашной. Майор продолжал чувствовать себя вершителем судеб “этой рвани” и не был готов мириться с фактом, что стал одним из них. Букобза стал оборотнем – человеком без прошлого и, скорее всего, без будущего. Хотя его травмированный мозг и осознавал факт убийства Сары и неизбежности наказания, душа Букобза не могла примириться с этим. Подругу, конечно, было жалко (не со зла ведь он ее кончил, сама виновата), но главная трагедия была для него в другом. Нафтали в момент перемахнул через ту черту, которая отделяет “власть имущих” от тех, о ком эта власть постоянно печется, охраняет, кормит и лечит.

Непростой диагноз и тяжелая операция требовали продолжения медицинского наблюдения. Время от времени Нафтали Букобза следовало вывозить на проверку в “вольную” больницу. Для любого заключенного каждый такой выезд за пределы тюрьмы – событие. Это возможность хотя бы на короткое время разорвать серый тюремный быт, насладиться солнцем не через решетку, а свободно, как это делают люди, не ограниченные статьями Уголовного Кодекса и не обремененные долгами совести. Для бывшего майора Нафтали Букобза каждый такой выезд превращался в душевную пытку.

Когда Букобза сообщили о предстоящем “выходе в свет,” он невольно представил себе, как, одетый в форму, устроится рядом с водителем и будет сопровождать преступника. Затем

наступило отрезвление. А где же преступник? Оказалось, что убийца тут, рядом. Следовало лишь натянуть на себя коричневые брюки и куртку и дать сковать руки и ноги кандалами. Отпечатанная в голове матрица “властелина” не готова была уступить место новому образу “подопечного этой власти.” После двух выездов за пределы тюрьмы Нафтали наотрез отказался от дальнейших проверок. Не помогли ни уговоры врачей, ни задушевные беседы с социальным работником. Он был непреклонен.

“Нечего мне там искать. Все равно новые мозги не поставят” – заявил он в ответ на очередную попытку старшего врача убедить его в необходимости продолжить наблюдение и лечение. Никто из окружающих не догадывался об истинной причине столь категоричного отказа. Держать такого заключенного в больнице не имело смысла, и Нафтали Букобза был переведен в тюрьму.

\*\*\*

Хотя колеса судебной машины крутятся медленно, дело, тем не менее, все-таки двигалось вперед. Время от времени его возили на заседания окружного суда, где он хоть и внимательно слушал ораторов, но с трудом вникал в смысл речей защиты и обвинения. Когда на горизонте возникли контуры приговора, он, наконец, до конца осознал, что стал убийцей. Та жизнь, в которой он был хозяином положения, безвозвратно ушла в прошлое. Убив Сару, Нафтали стал преступником. Даже если он и выйдет из тюрьмы через полтора десятка лет, вернуться к прошлой жизни ему уже не светит. Впереди его ждет многолетнее унижение, с которым лучше было покончить прямо сейчас.

Учитывая “героическое прошлое” майора Букобза на nive перековки заблудших душ заключенных, в тюрьме его содержали отдельно от остальных. Те, кто еще недавно находился у него “под каблуком,” вполне могли попытаться посчитаться с этим вчерашним блюстителем порядка. Содержание в камере-люкс позволяло Нафтали неспеша и тщательно подготовиться к уходу из жизни. Никто не обратил внимания, что последнюю неделю он был не в духе, почти не разговаривал, мало ел, ночами сидел на койке, устремив пустой взгляд в стену, смоля

одну сигарету за другой. Социальный работник, приставленный следить за душой арестованного, не потрудилась расспросить своего подопечного о мучавших его проблемах. Он ведь у нее не один. Дай Бог успеть отбиться от тех, которые наседают и требуют от нее доброго слова, сигарет и кофе из тюремного фонда. Если подопечный молчит, очень хорошо. Пусть и дальше молчит. Не может ведь она (несмотря на свое “верхнее” образование) пробиться в чужие мозги (даже через открытый череп) и выудить оттуда суицидальные мысли. Чужие души и мозги потемки, особенно, когда не очень хочется в них плутать, а душевного тепла и света с трудом хватает, чтобы обогреть и осветить свою жизнь.

Сирена в стенах тюрьмы всегда звучит неожиданно и тревожно. При первых звуках этой рвущей барабанные перепонки и натягивающей нервы “музыки” персонал бросает свои дела и устремляется к месту происшествия. Обычно в первых рядах оказываются фельдшер и врач: в такие моменты центральная роль отводится именно медикам. Помощь следует оказать как можно быстрее, пока еще есть надежда вернуть человека к жизни. Это удается далеко не всегда, но стремиться к этому следует постоянно.

Увидев болтающееся на штанине тело заключенного, фельдшер моментально приступил к делу. Один конец этой импровизированной виселицы был привязан крепким узлом к торчащей из стены трубе, второй – нежно охватывал шею висельника. Подпрыгнув, фельдшер изловчился и повис на удавке. Полотно затрещало и порвалось. Оба тела грохнулись на пол. Чьи-то ловкие руки полоснули ножом по импровизированной петле, освободив шею. Отработанными до автоматизма действиями фельдшер приступил к оживлению висельника.

Подоспевший врач и прибывшая по экстренному вызову реанимационная бригада “скорой помощи” присоединились к фельдшеру. Благодаря (а возможно и несмотря на) усилиям медиков, Букобза был возвращен к жизни.

Когда к неудавшемуся самоубийце полностью вернулось сознание, и он вновь стал адекватно воспринимать окружающую действительность, фельдшер собрал инструменты, намереваясь покинуть место событий. Перед тем, как оставить

пациента одного, он цинично, но популярно объяснил ему сущность его проблемы:

“Зря старался. Видишь, и там тебя не хотят...”

\*\*\*

P.S. Бывший тюремный майор, а сейчас заключенный Нафтали Букобза, осужденный судом на 16 лет тюремного заключения за непреднамеренное убийство сожительницы, до сих пор пребывает в родных тюремных стенах. Он прилежно трудится, не бузит, не нарушает режим, находится на хорошем счету у начальства. Лишь зимой время от времени приходит к врачу с жалобой на то, что у него “мерзнут мозги.” Когда ему становится совсем скучно, заключенный Букобза пишет жалобы в Высший суд справедливости, требуя заставить медиков тюремного ведомства направить его на пластическую операцию за государственный счет, поскольку он, как и все остальные заключенные, находится на полном государственном обеспечении.

**Роза Ляст**

## **НАСТАВЛЕНИЕ ПО СОИСКАНИЮ КОНСУЛАТА**

Конец 64 года до н. э. Рим готовится к очередным ежегодным выборам двух консулов на 63 год. Сохранился уникальный документ “Краткое наставление по соисканию” высшей должности в Риме. Наставление написал знаменитому оратору Марку Туллию Цицерону его младший брат Квинт Тулий Цицерон. Квинт при поддержке старшего брата легко продвинулся по лестнице высших магистратур и дошел до должности претора. Претор занимал второе место после консула и совершал правосудие по гражданским делам.

Предлагаю читателю несколько впечатляющих отрывков из этого исторического памятника. Цитирую текст по книге “Письма Марка Тулия Цицерона”, Издательство Академии Наук СССР, 1949 год в переводе В. О. Горенштейна.

Итак, выборочные места из текста Горенштейна.

“Квинт шлет привет брату Марку.

Ввиду нашей взаимной любви, я счел не лишним подробно написать тебе . . . что я думал дни и ночи о твоём соискании.

Подумай, в каком государстве ты живешь, чего добиваешься, кто ты. Вот о чем должен ты размышлять чуть ли не каждый день, спускаясь на форум: “Я – человек новый (homo novus), добиваюсь консульства, это – Рим.”

Затем позаботься о том, чтобы было ясно, что у тебя есть многочисленные друзья из разных сословий. Постарайся, чтобы те кто перед тобой в долгу, поняли, что не будет другого случая отблагодарить тебя. Соискание должностей требует действий двоякого рода: одни должны заключаться в обеспечении помощи друзей, другие – в снискании расположения народа.



Теперь я не могу обойти молчанием предосторожностей, необходимых в этом деле. Все преисполнено обмана, козней, вероломства.

Приобретение благосклонности народа требует обращения по имени, лести, постоянного внимания, щедрости, распространения слухов, надежд на тебя как на государственного деятеля. Наконец, заботься о том, чтобы о твоих соперниках распространялись соответствующие их нравам позорные слухи – либо о преступлении, либо о мотовстве, либо о разврате.“

Прошу прощения у читателя за длинную цитату. Но приведенный текст малая часть сочинения Квинта.

60 годы до н. э. отличались особенной остротой в предвыборной борьбе за консульскую власть. Главные противники Люций Сергий Катилина и Марк Тулий Цицерон. Напомню, коротко, как развивались события.

Все началось с так называемого “Первого заговора Катилины”. Катилине не удалось стать консулом на выборах 65 года, и он решил пойти на преступление. По плану Катилины новые консулы в день вступления в должность 1 января 65 года должны быть убиты. Заговор был раскрыт, Катилина был привлечен к суду, на котором в качестве адвоката собирался выступить Цицерон.

Квинт Туллий уверил Цицерона не опасаться Катилины и не выступать в его защиту. Из-за судебного процесса Катилина не смог участвовать в выборах на 64 год до н. э. Но он не отступал. И снова выдвинул свою кандидатуру на 63 год до н. э. При этом его лозунгом стала “Отмена всех долгов” (*tabulae novae*). Этот лозунг привлек самые широкие слои римлян: промотавшихся аристократов, обремененную долгами золотую молодежь, обезземеленных крестьян и просто бездельников.

8 ноября 63 года до н. э. Цицерон произносит на заседании сената свою знаменитую первую речь против Катилины. Кто из нас не помнит “Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?”

Блистательная речь Цицерона так напугала Катилину, что он поспешил покинуть заседание сената. Консулами на 63 год до н. э. были избраны Гай Антоний Гибрида и Марк Тулий Цицерон.

Несколько слов о Гае Антонии. Гай происходил из плебей-

ского рода Антониев. В молодости был одним из сторонников Суллы. Из-за грабежей в Греции привлекался к суду. О нем и Катилине Квинт Тулий писал: “Оба с детства убийцы, оба развратники”. Тем не менее Гай смог пройти лестницу высших магистратур и в 66 году до н. э. стал претором.

После всей этой истории невольно возникает вопрос, нуждался ли Цицерон в советах брата? Думается, что Квинт и сам это понимал. “Ввиду нашей взаимной любви я счел не лишним подробно написать тебе то, что мне приходило на ум, когда я размышлял дни и ночи о твоём соискании, – не для того чтобы научить тебя чему-нибудь новому, но чтобы изложить с единой точки зрения, по плану и порядку, то, что в жизни оказывается разбросанным и неопределённым”

Создается впечатление, что Квинт понимал или, скорее, чувствовал, что он оставил человечеству на вечные времена трактат “По соисканию” высшей должности в период предвыборной компании. На самом деле Квинт стал первым в истории стратегическим технологом соискателей.

## **РОЗА ЛЯСТ “ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”**

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: [isidore@post.tau.ac.il](mailto:isidore@post.tau.ac.il)

ХРОНИКА ПТЕКУЩИХ СОБЫТИИ  
В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман

**ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ**

**“Неуловимая реальность:  
Сто лет русско-израильской литературы”**

Эта книга родилась из предположения, а позже и уверенности, что вопрос идентичности эмигрантских, странствующих, гибридных и рассеянных литератур, к которым относится и русско-израильская литература, неразрывно связан с вопросом существования и осмысления реальности, становящейся все более неуловимой. К осознанию проблемы неуловимой реальности меня вели три пути. Первым было философско-антропологическое учение Эрика Ганса, известное как «*originary thinking*», основы которого были заложены еще в 1980-е годы и которое объединяет сегодня ученых разных стран, занимающихся вопросами происхождения и функционирования означивания и культуры в том или ином аспекте. Другим было выросшее из теории хаоса и информационно-сетевой концепции мышления представление о смыслообразовании как сложной динамической системе, начиная с 1990-х годов получившее воплощение в трудах Кэтрин Хэйлс. И наконец, третьим путем стала сформировавшаяся в 2000-х годах группа философских воззрений под общим наименованием «спекулятивный реализм», и прежде всего работы Квентина Мейясу и Грэма Хармана. В то время как первые два пути давно стали важными

Выход книги ожидается в издательстве Academic Studies Press (Бостон) в 2019 году. © Все права защищены

элементами моих исследовательских методов, спекулятивный реализм в последние годы ярко высвечивает суть того, что является глубинным объектом научного интереса, а именно реальное. Психологическая теория Жака Лакана о реальном стала своего рода растворителем, в котором слились воедино антропологическая, физическая и философская точки зрения на проблему.

Все пути сошлись в одной точке – в идее о том, что всякий объект реален постольку, поскольку он не схватывается жёсткими присвоения и свидетельствования и поскольку его существование хаотично и контингентно, что и делает возможной его репрезентацию. Такая теоретическая конфигурация позволяет преодолеть трудности, стоящие сегодня на пути всякого гуманитария и вызванные неомарксистским трендом, сохраняющим свою гегемонию от Жюль Делёза до Славоя Жижека. Идеи борьбы и жертвы уступают сегодня место идеям эмерджентности и генеративности, концепция материального – концепции имматериального, а неопределенность идентичности превращается из знака нехватки в сфере социологического дискурса в позитивную сложность живой системы.

Русско-израильская литература представляется одним из наиболее интересных и содержательных случаев такой системы, что, в частности, побудило меня избрать именно этот наиболее общий и неопределенный термин для ее обозначения. Он включает в себя весь спектр возможных подходов: израильская литература на русском языке, русская литература в Израиле, русскоязычная литература и т. д. Она была и остается «облачным хранилищем» странных аттракторов национальных, географических, стилистических и языковых идентичностей, и это ее качество должно рассматриваться как норма, а не как явление маргинальности или минорности. По-видимому, наиболее полно это качество воплотилось в литературе последних трех десятилетий, в особенности в творчестве репатриантов 1990-х и 2000-х, которому посвящена большая часть книги. Но тем более интересно наблюдать сходные феномены реального и в творчестве писателей предыдущих поколений. В результате сложилась картина, пусть и не цельная, но вполне представительная, того, как вместе с объемом и сложностью русско-из-

раильской литературы увеличивался в ней и простор для определения и поиска реального, как углублялось и расширялось восприятие реальности и, следовательно, менялась поэтика литературного реализма. Обсуждению этих и других теоретических вопросов посвящена первая глава книги.

История столетних исканий русско-израильской литературы берет начало в 1920 году, когда в Палестину приехал Авраам Высоцкий. Вторая глава посвящена краткому размышлению о нем, в особенности о его романе «Суббота и воскресенье» и о том срезе его творчества, в котором заметен растянувшийся на два десятилетия переход от упорядоченной структуры реальности к хаотической. Роман Марка Эгарта о его «одиссее» в Палестине, вышедший в 1930-х годах и рассмотренный в третьей главе, служит любопытным образчиком реализма как многосоставного стиля, отражающего различные структуры реальности, в различной степени позволяющие свидетельствовать о ней. В конце 1940-х вышедший на свободу узник ГУЛАГа Юлий Марголин пишет свое знаменитое «Путешествие в страну Зэка» как живое историческое свидетельство, но при этом, как будет показано в четвертой главе, глубоко погружает свой «нелитературный» проект в сказочно-мифическую поэтику. Тем самым усиливается вектор поисков реального в глубинах эстетики и психологии неочевидного.

В пятой главе я разбираю несколько примеров из произведений Якова Цигельмана, хотя и отстоящих от романа Марголина на несколько десятилетий, но в какой-то мере подхватывающих эту линию. Цигельман создает уникальный стиль метареалистической притчи, в котором литература и жизнь, миф и история неразделимы. В шестой главе на примере романа «Десятый голод» Эли Люксембурга я разбираю некоторые составляющие этой мифо-исторической тенденции в интеллектуальной литературе. Роман служит свидетельством высочайшего напряжения всех духовных сил в поиске исхода из лживых (советских) симулякров в обетованную землю реального. В романе Люксембурга, как и в романах Давида Маркиша, рассмотренных в седьмой главе, реальное понимается как еврейское. Но если у Люксембурга оно окружено ореолом неопределенности и таинственности, то у Маркиша оно, хотя и

определенно, скрыто от посторонних глаз в психологических и культурных подвалах миниатюрных «сообществ судьбы». Сравнивая романы писателя, написанные в 1980-е и 2000-е годы, можно обнаружить как эволюцию авторского метода, так и единое ядро: сцену жертвоприношения в основании структуры реальности.

Дальнейшее развитие темы жертвы как основы существования и творчества прослеживается в произведениях Александра Гольдштейна, рассмотренных в восьмой главе. Его неповторимые поэтика и ход мыслей направлены на поиски реального за пределами виктимной парадигмы. То, что не вполне удалось Гольдштейну, во многом из-за его пристрастия к социально-политическому дискурсу, удалось Денису Соболеву, совершившему подлинный онтологический поворот в русско-израильской литературе. В его романах-архипелагах, обсуждаемых в девятой главе, реальное обнаруживается в недостижимой глубине бытия – в тишине и отказе, в свободе и непричастности языкам всевластия. Соболев превращает мифо-историческую сказочность в над-идеологическую и не нарративную диссипативную структуру реальности, в которой мысль свободно скользит между непредсказуемо уходящими под воду и снова всплывающими островами бытийности и объектности. Такая структура поднимается до уровня цельного сетевого мировоззрения в романах Елизаветы Михайличенко и Юрия Несиса, которым посвящена десятая, последняя, глава. Выходящие с начала 1990-х и до сего дня, они выводят на литературную сцену нового героя – «человека скользящего», для которого реальность, история, миф и сознание – одно, а именно – сеть. Отказываясь окончательно от виктимной парадигмы, от нарративов героизма и жертвенности, от релятивистского конформизма интеллектуальных элит, от наивности гуманизма и от цинизма постгуманизма, писатели оказываются яркими представителями того, что можно назвать реализмом-4.0 – нового импульса поисков реального, вызванного к жизни четвертой индустриальной революцией, свидетелями и участниками которой мы ныне являемся.

Десяти глав недостаточно, чтобы охватить все или хотя бы многие перипетии столетней истории поисков реального в рус-

ско-израильской литературе. Помимо уже упомянутых авторов, я в той или иной мере касаюсь в книге творчества Эфраима Бауха, Гали-Даны Зингер, Некода Зингера, Леонида Левинзона, Виктории Райхер, Дины Рубиной, Алекса Тарна, Анны Файн, Якова Шехтера, Михаила Юдсона и других. За эти годы десятки писателей, поэтов и драматургов оказывались, кто на всю жизнь, кто ненадолго, в том хаотическом, вечно исчезающем, но живом русско-израильском облаке неочевидности, непринадлежности и нереальности, которое только и может быть сетью реального.

Новая книга **Михаила Юдсона**  
**ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ**

(Сказка для эмигрантов в трех частях)  
Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

*"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливое голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".*

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48  
Цена 120 шекелей с пересылкой.

**Михаил Юдсон**

## **ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧЕЙ**

Яков Шехтер, «Самоучитель каббалы»  
(комментарии и пояснения Анны Файн) –  
«Астропринт», Одесса, 2019 г. – 292 стр.

Как бы общеизвестно, что каббала управляет ангелами, источает чудеса и обладает многообразными полезными свойствами. Но в своей книге (а это проза, сборник рассказов) Яков Шехтер утверждает, что сие лишь внешние, «диковинные и удивительные происшествия – не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности».

Оксюморонная ирония брезжит уже в названии – «Самоучитель каббалы». Само понятие этого искристого слова, глубинная, икрная его суть – «получение». Каббала обязательно передается учителем и получается учеником, который «нахватывается искр» и духовно прозревает, в одиночку же, самопально сделать это невозможно.

В своих комментариях Анна Файн называет этот сборник-сосуд книгой исчезновения: «Можно сказать, что книги, которую вы держите в руках, просто не существует. Она пригрезилась, она нереальна... Борхес придумал вечно текущую книгу песка. Нечто подобное вы видите перед собой».

Яков Шехтер нынче наверняка наиболее еврейский писатель, пишущий по-русски, этакий кириллицын сын Шмуэля Агнона и Башевиса Зингера. Он ежедневно живет, неустанно обитает в обетованном мире Талмуда, периодически погружаясь в эзотерику каббалы – и затем эти знания переносятся в его прозу, рассказы и романы Шехтера образуют для читателя своеобразные «ступени постижения», книжную лестницу Якова.



Аннотация отмечает: «Отличительная особенность его прозы – отыскание и вскрытие незримых связей между случайным словом и его отдаленными последствиями – область на границе филологии и теологии. Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее неведомые литературе, и здесь Яков Шехтер, пожалуй, новатор».

Каббала как поиск искр, получение лучей, постоянно присутствует в прозе Шехтера, которая видится мне серьезной, бисерной и неизменно занимательной интеллектуальной игрой, где прилежному читателю положено набирать баллы. Здесь и теология живописна, словно всеобщие письма к «брату Тео» – романы, посланные на вселенскую деревню, для тех, кто понимает и стремится понять больше, подняться выше, копать глубже. Не зря израильскую мифологию Шехтера сегодня привечают и читают повсюду – в России и Одессе, Германии и Нью-Йорке...

Главное, что Яков Шехтер умеет писать интересно, захватывающе – происходит некое «закабаление» читателя. Причем текст, несмотря порой на явную изысканность, поглощается, я бы сказал, легко и радостно, вот кусочек стиля Шехтера: «Впрочем, слово “съедались” плохо отражает сущность полного совпадения ожидаемого с достигнутым, неуловимого перетекания из тарелки в рот, мгновенного всасывания, неизъяснимого блаженства нёба, ликования языка, счастья вкусовых рецепторов и безудержного наслаждения желудка». Воистину – ликование языка!

При всей трансцендентности проза Шехтера соблюдает традиции – персонажи тут живут и умирают, женятся и страдают, влюбляются и питаются, четко прослеживаются (красная ниточка!) сюжет и фабула. Автор, будто всеведущий балагула-колесничий, управляет возом прозы, приваживая попутных читателей, подсаживая их «на каббалу».

Книга Шехтера с комментариями Файн, словно фаршированный Левиафан, полна цимесно напичканного знания, перекрученной линейности мира – он многомерен и необъятен, надо только внутренне взглянуться, настроить душу на получение лучей.

Яков Шехтер попросту повествует нам о раввинских текстах неизмеримой сложности, например, о таких, что «полностью состоят из аббревиатур, каждое слово, на самом деле, представляет собой почти предложение». Неприступная сокровищница сокращений – и какая могучая энергия высвобождается при распаде слов!

Шехтерова «каббала» также осуществляет духовное облечение читателя – и он послушно яко колобок катится за книгой Якова. Кто-то, конечно, недоверчиво пробормочет, что вся каббала делается в Одессе на Малой Арнаутской улице, но ведь и луна, как научно установлено, таки делается если не в Гамбурге, так на мысе Канаверал во Флориде...

Анна Файн, комментируя тайные течения прозы Шехтера, приводит пелевинскую метафору из «Затворника и Шестипалого» – упражнения с гайками, накачивание духа, то есть медитации, без всякой циновки ведущей к просветлению и самосовершенствованию.

Однако мне в своем тель-авивском чулане при получении лучей, сиречь при чтении Шехтера, вспомнился и Рэдрик Шухарт из «Пикника на обочине» – еще задолго до пелевинских духоподъемных цыплят он тоже упражнялся с гайками – разбрасывал их в Зоне, искал опасные области «повышенной гравитации», образно говоря, места особенной обывательской тяги к земному, низменному, а не возвышенному, духовному.

Жизнь человечья, как неоднократно и расхоже отмечалось – дорога дорог, садок разбегающихся тропок, многостраничное странствие, паломничество в Иерусалим небесный.

И пишет Яков Шехтер: «Эта книга предназначена для тех, кто делает первые шаги по пути духа, тех, кто готов всмотреться в себя – ужаснуться, восхититься, успокоиться и понять. Понять, кто он такой. Понять для того, чтобы начать движение». И напослед, нам остается вместе с автором упорно повторять – самоучиться, самоучиться и самоучиться!

## СЛИХИ И СПРУНЫ

**Ирина Морозовская**

### **О ПЕСНЯХ АЛЕКСАНДРА ДОВА**

Эту колонку писала дольше обычного оттого, что влипла по уши в записи на ютубе.

Оказалось, там целые концерты разных времён и стран выложены. А слушать Александра не надоедает никогда. Хуже того – для меня в его голосе, тембре, манере что-то настолько наркотическое, что стоит начать – и всё, влипла, попалась, пропала на пару суток. С тех пор, как ютуб завёлся в телефоне – хана мне. Сегодня дозвонилась провайдеру и перешла на тариф подороже, но с таким интернетом, чтоб дослушать, где б ни оказалась, всё, на что уже закатала губу. Страшно то, что ничего осмысленного в это время делать невозможно уже. Бывают исполнители, в которых проваливаешься, а Саша – захватывает и завораживает. И вот опять я захвачена, не осталось и сантиметра каким-то простым действиям под песенки – готовке там или уборке. Всё это прекращаешь, поняв, что еда рискует превратиться в угли, а бардак в доме – в полный хаос. Лучше сдаться и слушать, слушать, слушать... Вы хотите убедиться? СИРЕНЬ, ВРУБЕЛЬ

<https://www.youtube.com/watch?v=OORjsWkIAek>

Знакомы мы с Александром давно, уже не помню откуда (лагерь ли в Барзовке или слёты песенные). Фамилия тогда у него была – Медведенко, а кличка – Рыжий. С тех пор утекло столько воды, что хватило бы на три-четыре реки достойных размеров – кстати, с этой песни

**ЕЩЁ РАЗ О РЕКЕ**

[https://www.youtube.com/watch?v=kXVO\\_e6uFX0](https://www.youtube.com/watch?v=kXVO_e6uFX0)

начните знакомство с ним, если вдруг ещё не слышали прежде. Фамилия сменилась на Дов, почти то же самое ведь, но гораздо короче. А рыжий цвет волос тоже уже не рыжий. Голос же стал только глубже и волшебнее. Годами, приезжая в Израиль обычным своим распорядком, я слышала его с радиостанции “РЭКА” – и было ощущение, что Саша где-то рядом, что я могу позвать его и попросить о чём-нибудь, если надо будет. И просто радостно, оттого, что слышу.

Александр – редкое в нашем жанре сочетание в одном человеке замечательного автора и великого исполнителя чужих песен. Как всякая магия дар его неподвластен описанию и непонятен, сколько ни пытайся потрогать ушами – звуки и руками – автора. Хотя, конечно, при каждой встрече автора норовлю коснуться и даже обнять. А потом подпевать за ним ЦЫГАНСКУЮ

<https://www.youtube.com/watch?v=HsmdhDXgiUc>

или всех нас коснувшуюся: ИРОНИЯ СУДЬБЫ, СИМПТОМЫ ВРЕМЕНИ

<https://www.youtube.com/watch?v=gUeFRxuZoRQ>

а вот когда Саша поёт Галича – подпевать невозможно, это – его собственная исповедь.

И сколько раз слушаю 136 псалом в переводе Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича – столько раз и плачу, ну никакого иммунитета не выросло.

Эта его песня стала, пожалуй, народной – и не одного-единственного народа, потому что она – про всех нас, про всегда и про надежду.

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА И НА ЛЮБОЙ ЗЕМЛЕ

[https://www.youtube.com/watch?v=HPiwF0oD\\_Eg](https://www.youtube.com/watch?v=HPiwF0oD_Eg)

А здесь – очень хороший концерт в Днепре, откуда он родом:

<https://www.youtube.com/watch?v=-KRDyaV94QI>

и прекрасный концерт в Нью-Йорке:

<https://www.youtube.com/watch?v=wTo6R2ZelBs>

и интервью, где он не только поёт, но и рассказывает о себе:

[https://www.youtube.com/watch?v=gpzYZy\\_GB6U](https://www.youtube.com/watch?v=gpzYZy_GB6U)

Раздел «Стихи и струны» можно увидеть на сайте журнала

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

София Синицкая – литературовед, прозаик. Живет в Санкт-Петербурге.

Рина Гонсалес Гальего – юрист, прозаик, живет в Ашкелоне.

Лариса Ратич – прозаик. Живет в Санкт-Петербурге.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик. Живет в Ориегуде.

Мордехай Файнберштейн – историк, прозаик. Живет в Ришон Ле-Ционе.

Узи Вайль – писатель, сценарист, журналист, переводчик. Живет в Тель-Авиве.

Александр Крюков – дипломат, переводчик. Живет в Москве.

Денис Соболев – исследователь культуры, прозаик. Живет в Хайфе.

Яков Шехтер – прозаик. Живет в Холоне.

Лия Киргетова – театровед, писатель, поэт. Живет в Москве.

Екатерина Полянская – поэт, переводчик. Живет в Санкт-Петербурге.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор. Живет в Беэр-Яакове.

Наталия Елизарова – юрист, литератор. Живет в Москве.

Татьяна Литвинова – поэт. Живет в Северодонецке.

Галина Ицкович – психотерапевт, радиожурналист, поэт. Живет в Нью-Йорке.

Елена Тверская (псевдоним Милена Марк) – поэт, переводчик. Живет в Калифорнии.

Григорий Марговский – поэт, журналист, переводчик. Живет в Бостоне.

Валентина Бендерская – хормейстер, музыкальный теоретик. Живет в Тель-Авиве.

Леонид Колганов – поэт, прозаик, эссеист. Похоронен в Кирьят-Гате.

Игорь Губерман – поэт, прозаик. Живет в Иерусалиме.

Илья Корман – литературовед. Живет в Тель-Авиве.

Владимир Рудерман – поэт. Живет в Израиле.

Анна Файн – прозаик, кolumnист. Живет в Бней-Браке.

Александр Мелихов – прозаик, литературный критик, публицист. Живет в Санкт-Петербурге.

Ольга Ксендзюк – психолог, публицист. Живет в Одессе.

Ольга Гершанова – писатель, гид, сценарист. Живет в Риме.

Эдуард Бормашенко – эссеист, философ. Живет в Ариэле.

Виктор Бен-Ари – врач-терапевт. Живет в Ришон ле-Ционе.

Роман Кацман – писатель, филолог, историк культуры. Живет в Гиват Шауле.

Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

**ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ**

**Яков Шехтер  
Михаил Юдсон**

**Ответственный секретарь**

**Михаил Сидоров**

**Редколлегия:**

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел  
“Стихи и струны”), Анна Мисюк,  
Эдуард Бормашенко, Денис Соболев (раздел литературной  
критики), Давид Шехтер (раздел публицистики)**

**Компьютерная обработка:**

**Амнон Пасхин**

**Почтовый адрес:**

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,  
Tel-Aviv 61440, Israel**

**Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)**

**(972)-50-908-03-48 (для заграницы)**

**Электронный адрес редакции:**

**[articreda@gmail.com](mailto:articreda@gmail.com)**

**Сайт журнала:**

**<http://www.sunround.com/club/journal.htm>**

**Фейсбук:**

**<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtiki>**

**Стоимость годовой подписки (с пересылкой):**

**в Израиле – 200 шекелей,  
за рубежом – 100 долларов.**

